

The background of the entire cover is a vibrant photograph of a tropical scene. Several tall palm trees with green fronds are silhouetted against a bright blue sky with wispy white clouds. The perspective is looking upwards, making the trees appear to converge towards the top of the frame. The overall color palette is dominated by the blues of the sky and the greens of the palm leaves.

Георг Даль

Дикие
дороги

А С Т Р Е Л Ь

Зеленая

серия

В краю таиров



Последняя река



Дикие горы

Георг Даль



Перевод со шведского

Л. Жданова

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
Москва 2002

УДК 821.113.6-31
ББК 84 (4Шве)-44
Д 15

Оформление
Дизайн-студия «Дикобраз»
Иллюстрации *О. Келейниковой*

Подписано в печать 15.09.2002. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура «Ньютон». Бумага газетная. Усл. печ. л. 23,52.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1899.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001

Даль Г.

Д 15 Дикие дороги: В краю мангров; Последняя река; Дикие дороги/ Пер. со шведск. Л. Л. Жданова; Худож. О. А. Келейникова. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2002. – 442, [6] с.: ил. – (Зеленая серия).

ISBN 5-17-016426-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-05028-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Битвы со скатами, крокодилами и анакондами; открытие неизвестных науке рыб, черепах; полные опасностей путешествия по одиночким дорогам Колумбии... Все это выпало на долю известного шведского зоолога Георга Даля.

Его книга наполнена любовью к этому малоизученному уголку земного шара и пронизана теплым юмором.

УДК 821.113.6-31
ББК 84 (4Шве)-44

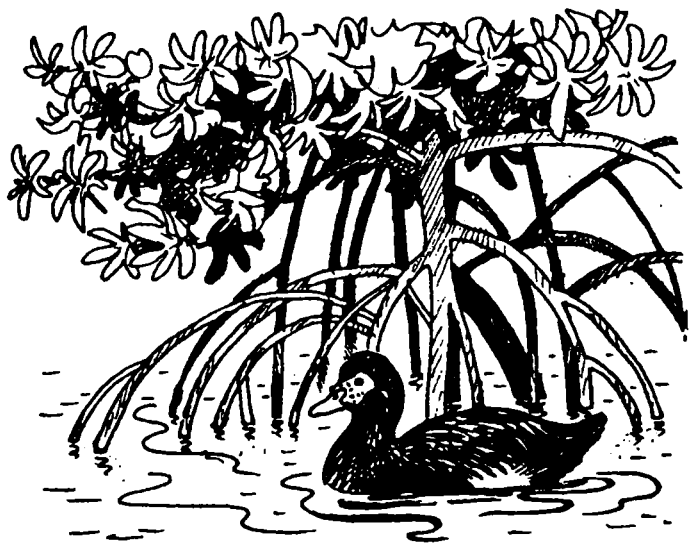
ISBN 5-17-016426-2
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-05028-9
(ООО «Издательство Астрель»)

© Перевод, Жданов Л.Л., 1993, 1995
© Иллюстрации, Келейникова О.А., 1999
© ООО «Издательство Астрель», 2002

В краю паштров



Georg Dahl MANGROVELAND Stockholm, 1963



ИСКРИСТАЯ НОЧЬ

Тихо отворяю дверь и выхожу на пыльную, заросшую сорняком деревенскую площадь. Половина первого. Ночь безлунная, зато звезд на небе видимо-невидимо.

Мимо проносится сова, из очковых, со светлым оперением. Промелькнула — и нет ее, словно и не было вовсе. Под альмендроном возле церкви мигает светлячок. Другой отвечает ему короткой вспышкой. И не видно их больше, погасли. Должно быть, встретились.

Спускаюсь к берегу. Под ногами мягкий морской песок, в ушах звучит рокот волн. Длинные глянцевиые валы роняют свой гребень на песчаные отмели, и Карибское море вспыхивает бледно-зеленым пламенем.

Безлунная ночь — пора ночесветок.

Черным прямоугольником возникает передо мной домик Агустина с крышей из пальмовых листьев.

Стучусь.

— Вставай, пора!

— Си, сеньор, вой!

Через две минуты Агустин выходит.

— Буэнос диас, дон Хорхе! Дай-ка фонарик, пойду товарищей подниму.

Три-четыре раза в неделю мы вместе ловим рыбу. Невод мой, сам связал, лодку берем напрокат. Мои темнокожие помощники работают за половину улова. Вторая половина — хлеб насущный и кров мне и моей семье на время каникул. На преподавательском жалованье далеко не уедешь, к тому же его выдают с двухмесячным опозданием. Такой уж трудный выдался год.

Сажусь на бревно и закуриваю, ожидая ребят. Хоть бы все пришли. Если не хватит рук, не справиться нам с неводом.

Через полчаса моя артель в сборе: Агустин, Хуанчо, Блас и Бальдуин. В темноте я вижу только рубахи да брюки, словно наполненные сгустками тропической ночи. Если бы не светлая одежда, людей и вовсе не разглядишь.

Трое несут невод, у четвертого на плече покачиваются шесты и весла. Лодка стоит на берегу как раз за чертой прилива.

Это самая настоящая чалупа. Ее выдолбили из ствола огромной сейбы и нарастили борт в одну доску. Хорошая лодка, на ней можно идти и на веслах, и под парусами, и с шестом; именно такая нужна здесь, в открытом мелком заливе у Толу.

На катках из кокосовой пальмы спускаем чалупу к воде, среднюю банку убираем и кладем на дно невод. В лодке для каждой вещи — от шестов до гарпуна и черпалки — есть свое место. На одном шесте насажан длинный четырехугольный железный наконечник с шипами, им можно бить акул.

Входим в воду. Теперь чалупа на плаву, и Бальдуин швыряет катки на берег. Еще несколько шагов — и вода

по колено, можно забираться в лодку. Мои друзья занимают свои места и налегают на шесты; я поправляю на поясе нож и фонарь и усаживаюсь на невод.

На носу чалупы вспыхивает желто-зеленый огонь, жидкое пламя стекает вниз по шестам. На фоне звезд четко выделяется темный торс Агустина, и видно, как вздуваются мускулы его обнаженных рук и плеч.

Мы прошли прибой, и ритм налажен — четырнадцать толчков в минуту. Ребята могут идти так часами, спокойно и ровно; их движения размеренны, как дыхание спящего. С шестами идешь быстрее, чем на веслах, поэтому мы придерживаемся мелководья. Вдоль берега километр за километром тянутся кокосовые пальмы, обозначая рубеж между морем и болотистой равниной.

Смотрю вниз на море, смотрю вверх на небо, и цепочка минут размыкается. Как раз за головой Агустина Южный Крест. Косо сечет небо широкая золотая лента Млечного Пути. На горизонте, над морской дымкой, которой окутан мыс Сан-Бернардо, мерцает маленькая звездочка, которую легко найти, если мысленно провести прямую через задние лапы Большой Медведицы. На нее-то мы и правим. Но здесь все иначе, и это не Полярная звезда, а трепетное световое пятнышко, золотистая дырочка во вселенной, окошко в бесконечность.

С берега повеял легкий ветерок. Он пахнет кокосовой пальмой и тамариндом, он доносит пение цикад — нежное, едва уловимое, на грани регистра, который может уловить наше ухо, вроде писка летучих мышей или звездной песни стрижей.

Крохотные огоньки мелькают под пальмами и на опушке мангрового болота — будто танец с факелами или бал метеоритов в миниатюре. Это светлячки, то есть всего-навсего жуки. Но мне это совершенно безразлично, важно то, что их свет перебрасывает мостик между светящимся морем и звездами.

Идем дальше сквозь синий мрак, а в небе, в море, в лесу роятся, переливаются искры, и светящаяся клетка равна далекой туманности, потому что для меня сейчас не существует ни времени, ни пространства.

Пронзительно свистя, пролетают утки. Их не видно, мы только слышим их, и трудно определить, с какой стороны звук.

— Писингу, — говорит Блас.

Я знаю, что он прав. Но для меня это не древесные утки, а голоса из космической бездны, одни голоса, летящие в бесконечности.

Пальмы справа уходят в сторону, впереди на отмели рокочут буруны.

— Устье Гуакамаи, — говорит Агустин. — Который час, дон Хорхе?

— Половина третьего. Можно начинать.

Здесь мелко, по колено. Двое прыгают за борт, взяв по урезу, а мы сворачиваем в море. Пропускаю между руками верхнюю кромку невода с большими бальсовыми поплавками. Тех двоих уж и не видно, их одежда сливается со светлым песком, лица — с темными зарослями.

Нет-нет да и сверкнет что-то под водой. Это уходят спугнутые лодкой рыбы. Многих мы узнаем: тусклое световое облачко — мохарра, яркая полоса — робало, короткая вспышка — морская щука.

А вот целый подводный Млечный Путь, будто светится само дно на три сажени в ширину.

Это манта, скат-великан. Наше счастье, что она идет мимо невода, нам бы ее никак не удержать! Ни одна рыба не сравнится силой с разъяренной мантой. Вот эта, к примеру, весит не меньше тонны, а может прыгнуть так высоко, что накроет нашу лодку.

За вспыльчивость да еще, пожалуй, за смахивающие на рога головные плавники манту прозвали «рыба-дьявол».

Так, пошел за борт сетный мешок. Понемногу свора-

чиваем к берегу, огибая край бара, у которого величавые поблескивающие валы превращаются в каскады сверкающих бурунов.

Все, обметали. Агустин и я идем вброд к берегу, держа урезы, и начинаем подтягивать невод. Причалив лодку, Хуанчо сменяет меня; теперь я могу проверить, как дела у первой двойки. Они уже подтянули к берегу свой конец, и один из них кричит:

— Пунта эн тьерра!

— Пунта эн тьерра! — отзываются с другого конца.

Тяжелые рукава послушно выползают на берег, а я становлюсь посередине и свечу на сетный мешок — смотрю, ровно ли идет.

Вон они, белые бальсовые поплавки, все три на своих местах. На миг выключаю фонарь, чтобы полюбоваться скользящим к берегу полукругом зеленого пламени. Рыбы выскакивают из воды, разбрасывая капли холодного огня.

Снова свечу фонариком. Левая двойка поспешила. Невод перекосялся, мешок скребет дно. Кричу Бласу и Бальдуину «агуантар ун покито» — «потихше». Пусть правая двойка вытянет еще метра два мокрой тяжелой сети.

Сетный мешок у самого берега. Мелкая юркая кефаль прыгает через него, робало быстро отступают. Сейчас окажутся на мели! Нет, в последнюю секунду поворачивают.

Вот когда надо следить, чтобы невод шел правильно, нижним подбором вперед. Да не задрать бы его кверху, не то вся рыба уйдет.

В одном рукаве уже засверкало серебро: полуметровая макаби наполовину пролезла в ячею да и застряла.

А вон еще, еще: робало, мохарра приета, мохарра бланка, корбината... Или, если хотите: *Centropomus undecimalis*, *Eugerres plumieri*, *Diapterus rhombeus*, *Menticirrhus martinicensis* и так далее. Шведских названий не могу привести по той простой причине, что их нет.

Вода кипит, бурлит вокруг длинного мешка из толстой двойной бечевки. Кефаль размером с руку до локтя взлетает в воздух и в последний миг уходит на волю. Другая прыгает не так удачно и попадает прямо в сетный мешок. Вот и он на берегу. Тащим все, дружно. Вдруг один из моих помощников выпускает невод и бежит к воде: две чудесные рыбы остались на песке позади сети. Это робало, каждая килограмма на два, не меньше, толстобрюхие, жирные. Хочешь — продай, хочешь — сам съешь.

В сети барахтается светлая песчаная акула с черными по краям грудными плавниками. Она небольшая, от силы метр с четвертью, но пасть у нее огромная; острые треугольные зубы могут поспорить с любой пилой. Вон как злобно кусает она сеть, уже не одну нитку порвала!

Акула — наш смертельный враг. Сколько сетей она нам изорвала, сколько хорошей рыбы мы потеряли из-за нее! А брат Бальдуина, Хосе, остался по ее милости без правой руки: нырнул за лангутом и встретил рыбу-молот.

Бальдуин расправляет невод, я просовываю в ячею длинный острый нож и вонзаю его в загривок акуле, перерезая спинной мозг. На светлый песок льется темная кровь. Оттаскиваем тушу подальше от воды и бросаем на съедение грифам. Акула нам ни к чему: у нее безвкусное мясо и никто ее не купит.

Агустин складывает улов в мешок и задумчиво взвешивает на руке.

— Немного. — Он качает головой. — От силы двадцать пять либр (колумбийская либра — это полкилограмма).

А по-моему, двадцать. Акулу мы, конечно, не считаем, не в счет и большой колючий сом либры на три, который бьется на берегу, растопырив острые шипы спинных и грудных плавников. Он-то на вкус ничего, но в Толу его не продашь. В других же местах, скажем, в Эль-

Дике под Картахеной, — это чуть ли не самая любимая рыба.

Интересно размножается колючий сом (по-научному *Agius assimilis*). Самец вынашивает оплодотворенную икру во рту, там и выводятся мальки. Икринки под конец становятся почти с орех величиной, в них хорошо видно свернувшихся калачиком сомят. Но даже после того как оболочка лопается и мальки выходят из икринок, они еще отсиживаются в ротовой полости отца: все-таки безопаснее. Вот пропадет желточный мешочек, тогда уж сомята станут самостоятельными и папаша, который все это время голодал, сможет наконец поесть.

Мои помощники собирают невод. Тут же заделываем небольшие дыры. Один светит фонарем, другой быстро орудует иглицей из твердого, как кость, дерева кайманчилю. Через сорок пять минут после первого замета мы готовы ко второму.

Весь вопрос в том, где его делать. Непонятно, почему в этом месте у нас такой скудный улов? Рыба любит устья рек — так вот оно, рядом. Может, река высохла и его занесло? Скоро четыре месяца, как не было дождя. Засуха...

Вместе с Агустином идем к устью. Впереди нас скользит круг света. Песок, сплошной песок, устланный раковинами... Тут и там торчат седые мертвые сучья, будто огромные, судорожно изогнутые ноги и крылья каких-то древних насекомых. А воды нет. Русло, вернее бывшее русло, высохло, и море уже воздвигло поперек него песчаный вал.

Река отступила на много десятков метров. Мы мажемся жидкостью от комаров и идем туда, где вода исчезает в песке.

Темная зеркальная гладь. Поодаль мангры с пучками воздушных корней, за ними угрюмая, малахитового цвета стена — девственный лес.

При свете фонарика видим серебристую кромку вдоль неподвижной черной заводи. Кромка уходит на несколько сантиметров под воду: это плотный слой мертвых сардин кончуда. Они первыми погибли, когда порвалась связь с морем, когда замерло могучее дыхание прилива и соленость упала почти до нуля. Хотели пробиться к морю, но песчаный вал не пустил их. А темная вода из лесных озер — обители крокодилов и белых ибисов — все шла, и рыбки погибли. Теперь здесь пируют большие крабы. Потрявоженные светом, они угрожающе поднимают шиповатые клешни.

Ближе к лесу в заводи снует стая длинных тонких рыб. В их вялых, медленных движениях чувствуется обреченность. Несколько рыб уже перевернулись белым брюхом кверху; скоро они опустятся на дно, где их дожидаются крабы и удивительные, словно голые, гимнотиды, эти странные первобытные рыбы с крысиным хвостом и анальным отверстием где-то около глотки. Вот они стоят на хвосте, и длинный плавник вдоль живота колыхается, точно морская трава. Они попали сюда с пресной водой из болота. Река и озеро — их стихия, а вот стаю, что мечется у поверхности, ждет верная гибель. У этих тонких, напоминающих морскую шуку рыб нижняя челюсть вытянута, как клюв вальдшнепа, а верхняя — короткая и заостренная на конце. Естествоведы называют их полурылами (*Hemirhamphus brasiliensis*). Они «прописаны» в бутылочно-зеленых морских волнах, и, хотя часто заходят в реки мангрового края, их будто связывает с морем незримая пуповина. Если она порвется, им конец.

Непонятный запах у этой темной, но прозрачной воды среди мангров. Долго стою неподвижно, стараясь определить его. Нельзя сказать, чтобы он был неприятным или раздражающим. Вместе с тем он словно будит в душе нечто такое, что обычно дремлет в самых глухих уголках подсознания. И чудится мне: черные безмолвные озера вложили в этот запах таинственную

притягательную силу, чтобы принудить меня войти в густой ил на опушке леса, нырнуть в воду и плыть, плыть с широко открытыми глазами среди корявых корней.

Одно видение сменяет другое. Удивительные рыбы выглядывают из нор между корнями причудливых, неведомых мне растений. Невиданные ракообразные с выпученными глазами переступают длинными, тонкими ногами. В донном иле копошатся покрытые толстой броней рыбоподобные существа с острыми как кинжал шипами на груди вместо плавников. А сам я — кистеперая рыба с крупной эмалевой чешуей и легким вместо плавательного пузыря.

Это запах первобытных времен, запах пересыхающего девонского болота, окруженного лесом из тайнобрачных, где ползают древние тараканы и примитивные скорпионы. В таком болоте некогда обитали и мы, тогда кистеперые рыбы. Остальные прарыбы и бесчелюстные панцирные остракодермы вымерли, когда озеро высохло, как сегодня ночью умирают полурылы и сардины. Но мое племя выползло из топи в заросли плаунов; наши щитовидные железы уплотнились, на грудных плавниках появились локти, запястья, лучи плавников стали пальцами.

Никто не назвал бы нас красавцами, наверное, мы выглядели неладно скроенными, зато мы прокладывали путь новому, были первыми наземными позвоночными. Орел и лебедь, райская птица и газель — все они побочные ветви нашего развития.

Я мог бы увидеть наш «дебют» даже сегодня ночью, если бы был способен перенестись достаточно далеко от нашей маленькой сумрачной планеты в другую галактику, за триста миллионов световых лет, и если бы мои глаза, которые несравненно слабее глаз сапсана или скопа, могли преодолеть иллюзорность пространства, подобно тому как моим мыслям порой удается преодо-

леть иллюзорность времени, во всяком случае обнаружить в нем прерывность, нащупать «складку» в измерениях.

В черной воде отражаются звезды, из-за леса, с болотного озера, доносится странный, точно вопрошающий крик кваквы. О чем она спрашивает? Быть может, о том, почему луч света от одной из этих блестящих точек там, вверх, этой космической искорки, поколебал законы наследственности и сделал одного из ее предков археоптериксом, а одного из моих — первобытным млекопитающим? Или о том, что же такое луч?

Волновое движение. В конечном счете, наверное, вся материя: энергия, песок, звезды, мысли — только лишь волновые колебания, ритмы. И наша вселенная, которую мы не можем представить себе ни конечной, ни бесконечной, есть сумма всех ритмов. Музыка сфер, говорили древние.

Вопрос кваквы все еще звучит в моих ушах, когда я шагаю по песку к лодке.

Отталкиваемся шестью и идем дальше вдоль берега. Пройдя километр-другой, делаем новый замет. Горка серебра и перламутра на носу чалупы с каждым разом становится все больше.

После четвертого замета сетный мешок особенно тяжелый. Вытягиваем его из воды и слышим своеобразный звук, будто рычание. В неводе лежит что-то плоское, блестящее, цвета ила. Угрожающе извивается длинный, как хлыст, тонкий хвост.

Один из ребят осторожно приподнимает сеть, другой хватает этот скользкий хлыст и выбрасывает на песок здорового хвосткола.

У основания длинного хвоста — два плоских зазубренных шипа. Один из них, сантиметров пятнадцать в длину, вздернут; другой, покороче, частью скрыт в тканях. Это запасное оружие. Когда сломается первый шип, второй поднимется и заменит его.

Если нечаянно наступишь на такого ската, притаившегося на дне в тине или песке, он обовьет ногу хвостом и вонзит в нее шип. Нередко шип так и застревает в ранке. Зазубрины не дают выдернуть его, а если попробуешь вытянуть, порвешь и мышцы и сухожилия. В крайнем случае остается только протолкнуть шип насквозь и вытащить с другой стороны. Слизь ската довольно ядовита, к тому же рана почти всегда загрязняется.

Ничего удивительного, что в прошлом индейцы полуострова Гуахира делали из грозных шипов хвосткола наконечники для своих отравленных стрел.

Здесь, в заливе Морроскильо, скатов порядочно, падаются величиной со стол. Мы убиваем их десятками во время ночного лова. Кое-где на побережье их едят.

Казалось бы, какие могут быть враги у хвосткола? Но враг есть, и нешуточный. Рыба-молот — любительница скатов. Когда препарируешь крупную рыбу-молот, частенько находишь в ее теле шипы хвосткола.

Один из моих помощников вытягивает за хвост ската и кладет его на корягу. Удар ножом — и плоская хрящевая рыба обезврежена. Второй удар перерубает позвоночник возле головы. Убитого хвосткола швыряют на песок подальше от воды.

Уже светает, когда мы делаем последний замет в маленьком заливе южнее Гуакамаи. Утки летят искать корм, парят пеликаны, в лозняке слышатся птичьи голоса.

Стая гудзонских кроншнепов потянулась домой, в канадскую тундру.

Даже если бы я не знал, где их родина, я бы тотчас сказал, что не в тропиках. У постоянных жителей тропиков другой наряд, оперение спинки не повторяет краски просторов Крайнего Севера. В тропиках родичи гудзонского кроншнепа обитают в Андах, на холодных суровых парамос.

Мои помощники тянут невод. Я стою напротив сет-

ного мешка, смотрю, есть ли рыба. Есть, вон рябь сморщила блестящую опаловую пленку, которой море затянуто сейчас, в перламутровом утреннем свете.

Еще рябь, да какая! Это уже, видно, крупная рыба. Хоть бы не нашла слабины, а то уйдет. Рукава не очень-то прочные, следующий невод надо будет связать из нити погрубее. Лучше всего из льняной, если смогу раздобыть, она крепче хлопчатобумажной.

Сетный мешок все ближе и ближе... Здесь, у самого берега, есть желоб — калета, как говорят рыбаки. В нем сейчас воды по пояс, а может, и больше.

Да, а где же та рыбина?

Вон она мечется, еще не вырвалась!

— Сабало! — кричит Хуанчо, заметив над водой длинный узкий плавник.

Теперь и я вижу, что это сабало, как в этой стране называют тарпона. Конечно, грех ловить его неводом, не давая ему проявить свою изумительную силу и быстроту. Но на крючок тарпон в море не идет, во всяком случае в здешнем заливе. Может быть, пойдет в устьях рек и в лиманах? Я еще не пробовал. Для спортивного лова тарпона нужна дорогая снасть.

Выскочит или попадет в мешок? Пять пар глаз устремлены на воду, четыре пары темных рук с удвоенной силой тянут невод.

Карамба, остановка! Сеть зацепилась на дне за корягу или еще за что-то.

Агустин сбрасывает рваную рубаху и брюки и идет отцеплять. У самого мешка останавливается и ощупью, пальцами ног, ищет нижний подбор. Вот он нагнулся, исчез под водой. И тотчас опять появился. Невод свободен! Я хватаюсь за канат.

— Тащи, ребята!

Осталось каких-нибудь десять метров.

Вдруг что-то взмывает метра на полтора над водой. Будто блестящий серебряный полумесяц размером с

человека. И на миг замирает в воздухе, как воплощение силы и красоты. Изящные линии, зеленые и серебристые, и огромные глаза, темные, как морская пучина...

В следующее мгновение великий тарпон падает... за сетью.

Рыбаки обескураженно провожают его взглядом. Воздух сечет испанская брань.

А я молчу. Мне не нравится жесткое мясо тарпона. Можно, конечно, продать серебряного короля морей за какие-то жалкие песо; местные женщины разрубят его, зажарят на свином сале и отнесут на рынок. Что ж, ведь продавал и впредь не застрахован, но радости мне это не приносит. К тому же в лодке уже полсотни килограммов рыбы, а больше нам и не сбыть в деревне.

Мешок на берегу, и мы опоражниваем его. Несколько полосатых исабелит — пухлых, как юные девушки, длинная, похожая на торпеду испанская скумбрия, желтый полиприон, корбинаты и здоровенный робало килограммов на пять. Ну конечно, он уже продырявил сеть. Зазубренные края его жаберных крышек остры как нож, а все-таки длинное рыло застряло в ячее.

Складываем невод и возвращаемся домой. Десять километров мимо кокосовых пальм, по светлой утренней глади тропического моря.

Небо чертят черные кресты. Фрегаты... Когда они пролетают над нами, можно различить красный зоб самца и белую грудку самки. Бакланы и стайки бурых пеликанов заняты ловом на отмелях.

Вот и деревня. Серые крыши из пальмовых листьев. Солнце взошло. Отворяются двери, черные и коричневые женщины с кастрюлями и деревянными корытами идут вдоль берега туда, где мы причалим.

В толпе на берегу стоит белая фигурка. Светлый чуб, худенькое мальчишечье тельце. Вот мальчик вбежал в теплую воду, с разбегу нырнул и поплыл к нам

навстречу. Карибское море будто гладит его руки и плечи, карие глаза восьмилетнего пловца взволнованно блестят.

Для него, как и для меня, море полно чудес и никогда не повторяется. Наверно, и сегодня в лодке есть для него что-то новое, удивительное...

Это мой сын. И сразу жизнь становится богатой и прекрасной, все вопросы разрешены.

СТАРАЯ ИСПАНСКАЯ ПУШКА

Прямо перед домом Реститутто Рикардо лежит наполовину засыпанная песком старая испанская пушка. В прилив ее захлестывает волнами. Никто не знает, сколько времени она пролежала в недрах вечно изменяющегося пляжа, но на прошлой неделе шторм откопал ее.

Раннее утро, море цвета топаза, медленно ползут лоснящиеся валы. Олуши пикируют за мелкой рыбешкой, порхают крачки.

Я поставил сеть у берега и теперь сижу на коряге возле пушки, жду. Скоро восход.

Пушка неказиста на вид. Вся изъедена ржавчиной, запального отверстия и не отыщешь, дуло забито песком, коралловой крошкой, обломками панцирей морских животных. Но в общем-то тип и калибр еще можно угадать. Такие длинные двенадцатифунтовки применялись во флоте его наикатолического величества в начале XVII века.

В ту пору Карибское море еще называлось Испанским, тогда серебро Потоси перевозилось на ламах и мулах в Лиму, переправлялось на судах в Панаму, затем перебрасывалось через перешеек в Портобелло или Номбре-де-Диос и наконец прибывало на галионах в Картахену, чтобы оттуда с другими сокровищами отправиться в Испанию.

Наша деревушка была тогда важным укреплением с

пирсом, с пристанью; теперь-то их уничтожило море. Площадь окружали каменные дома, две батареи защищали гавань. Из Картахены сюда заходили галеры и шлюпы, охраняющие путь «Серебряного каравана».

А охранять было от кого. Где добыча, там и коршун, а по берегам моря Колумба и Охеды в те времена было немало коршунов. Пираты Тортуги и Санто-Томаса, индейцы куна, населявшие побережье от Ураба до Сан-Блас (они даже раз два осаждали Картахену), вооруженные отравленными стрелами карибы... Не говоря уже об английских, французских и голландских флибустьерах с патентами на каперство от короля или генеральных штатов. В Европе хоть изредка, да воцарялся мир, но в Вест-Индии ожесточенная война между морскими державами не прекращалась.

«Серебряный караван» был, конечно, самой желанной добычей, но не всякий отваживался подобраться к такому большому и хорошо охраняемому куску. Если не считать «узаконенных» каперов, за которыми стояли богатые частные лица или зарождающиеся акционерные компании в Европе, пираты поначалу действовали скромно, да и суда у них были мелкие: шхуны, галеасы, шлюпы, просто лодки.

Кстати, чем отличался капер от пирата? На это не так-то легко ответить. Англичане считали сэра Фрэнсиса Дрейка капером, испанцы называли его пиратом. Генри Морган был то тем, то другим, пока не стал сэром Генри Морганом, вице-губернатором Ямайки.

Какое причудливое собрание человеческих типов и характеров представляли собой эти моряки, которые ходили на разбой, а потому не поминались в молитвах за «плавающих в море». У каждого было свое прошлое, но почти всех их объединяла ненависть к Испании.

Стоит внимательнее ознакомиться с историей пиратства в Карибском море, и ненависть эта станет вполне понятной.

Если не причислять к пиратам и разбойникам испанских конкистадоров (а большинство из них, бесспорно, заслуживают такого звания), то сомнительная честь называться первым пиратом Испанского моря принадлежит, пожалуй, Бернардино де Талавера.

Его история, вернее, то, что мы о ней знаем, не очень романтична. Он был одним из многих в Испании, кто воспользовался королевской амнистией, чтобы отправиться в Америку.

Дело в том, что после третьего и четвертого плаваний Колумба Вест-Индия перестала привлекать европейцев. Никаких сокровищ там не нашли, а лихорадка, голод, цинга косили людей; кто-то утонул во время кораблекрушения, кого-то убили доведенные до крайности индейцы.

Поэтому вербовать людей для новых экспедиций было трудно. И вот король Фердинанд, а точнее, его индийский наместник архиепископ Хуан де Фонсека (позже он стал счастливым обладателем весьма доходной королевской монополии на работоторговлю) придумал ловкий трюк. Преступникам предлагали на выбор: либо понести кару в Испании, либо отправиться на несколько лет в Вест-Индию. Впервые этот способ был использован, когда Колумб составлял команду для своей первой экспедиции. Но тогда речь шла всего о четырех матросах, а теперь так набирали сотни поселенцев.

Однако не все могли рассчитывать на амнистию. Прощения не получали повинные в оскорблении величества, фальшивомонетчики, еретики; выбор не предоставлялся евреям и маврам, а также жителям провинций Каталонии и Валенсии.

Зато верные сыны церкви, уроженцы областей, достойных монаршей милости, уличенные в краже и подобных провинностях, могли отделаться от наказания, согласившись поехать в новые колонии. И многие счи-

тали, что это лучше, чем расстаться с ушами у позорного столба или сесть на галеру.

К таким-то и относился Бернардино, бывший разбойник, который в начале XVI века попал в Испаньолу. Здесь он вскоре занялся старым ремеслом, но теперь Бернардино грабил лишь индейцев, а это считалось вполне законным. Вот только выгоды было мало.

Кроткие, добродушные индейцы сопротивлялись очень редко, да и чем у них поживишься? А если что и добудешь, то даже эта толика не доставалась предприимчивому испанцу целиком. Власти требовали королевскую пятину, нельзя было обойти и губернатора, коменданта, а также прочих должностных лиц. Словом, все посягали на доходы Бернардино, и ему это стало надоедать.

Кончилось тем, что он собрал шайку единомышленников, захватил небольшое гемуэзское судно, перебил команду и ушел к Алонсо де Охеде, который только что заложил свой «город» Сан-Себастьян — первое европейское поселение на Южноамериканском материке.

Как Бернардино похитил золото Охеды, как потерял и добычу, и судно у берегов Кубы — это уже другая история, слишком длинная, чтобы пересказывать ее здесь. Так или иначе, он не преуспел в морском разбое и кончил на виселице.

В ближайшие десятилетия каперством занимались преимущественно французы. Один из них захватил галион с сокровищами, которые Кортес награбил у ацтеков. Да и другим доставалась неплохая добыча, особенно в южной части Вест-Индии.

Но на первых порах только жители Иберийского полуострова серьезно интересовались заморскими областями. Другие народы Европы последовали их примеру после того, как не на шутку разгорелись религиозные распри. Впрочем, немалую роль тут сыграли уже авст-

рийские династические браки и вступление Карла V на императорский трон; хотя все последствия этого стали очевидными только через несколько десятилетий, когда император, очутившись в монастыре, проклинал ошибки своего сына.

Когда Филипп Католик стал королем Испании, а его супруга Мария Кровавая принялась немилосердно преследовать еретиков в Англии; когда выродившиеся отпрыски домов Валуа и Медичи подготовили во Франции резню гугенотов, когда штатгальтерша Маргарита Пармская развязала руки инквизитору Тительману и его приспешникам в Нидерландах, все, кто мечтал о свободе, естественно, стали посматривать на Запад.

Недовольные гнетом королей и пап думали о новом, вольном крае. А где же искать его, если не за океаном? Правда, на этот край притязали Испания и Португалия, опираясь на папские буллы и Тордесильяский договор. Что ж, в крайнем случае можно сразиться с ними. Вряд ли они сумеют надежно защитить побережье, протянувшееся на тысячи километров.

Английские протестанты, французские гугеноты, морские гёзы Голландии принялись тайно снаряжать небольшие суда, на первых порах скорее для колонизации и торговли, чем для пиратства.

Иным и на самом деле удалось основать на Американском материке маленькие колонии: во Флориде, в Бразилии, потом даже и в Панаме. Другие поселялись в Испанской Вест-Индии; на Гаити они кормились охотой, на Тортуге, Сан-Андресе, Провиденсии — ловлей черепах.

Но на новые колонии нападали сильные испанские отряды, а иногда их жителей истребляли индейцы, которые успели на горьком опыте узнать, что за народ эти бледнолицые. Уцелели преимущественно самые маленькие и бедные поселения охотников и рыболовов.

Кто-то из первых испанских колонизаторов привез на многие крупные острова рогатый скот и свиней. Хищных зверей тут не водилось, индейцы — если они были — не обладали ни подходящим оружием, ни снаряжением для охоты, а потому бывшие домашние животные быстро размножались и, разумеется, быстро дичали.

Белые охотники, вооруженные ружьями, скоро наловчились отлично коптить мясо и сало без соли. Возможно, их научили индейские племена, которые и поныне не забыли этого искусства. Такое копченое мясо называлось «букан» (старофранцузское слово, родственное английскому «бекон»), и поставщиков мяса стали величать буканирами.

Свою продукцию они сбывали капитанам кораблей, которые охотно делали небольшой крюк, чтобы запастись провиантом для дальних плаваний.

Жизнь закалила этих буканиров. Они редко беспокоили своих испанских соседей, да и то так, слегка, и те обычно их не трогали. Случалось даже, испанские поселенцы посредничали в сбыте заготовленного буканирами вяленого мяса и «суповых» черепах, за что получали свою долю прибыли.

Если бы так продолжалось и впредь, эти отважные и выносливые жители лесов и островного мира могли бы живительной струей влиться в население колоний. Но этому препятствовала колониальная политика испанцев (если тут вообще применимо слово «политика»).

С самого начала владыки Испании смотрели на Америку исключительно как на источник обогащения метрополии и ее праведных сынов. Развитие самих колоний не занимало правителей, подчас они даже тормозили его, заботясь о своей личной наживе.

Эрнану Кортесу удалось акклиматизировать в Мексике виноградную лозу и оливковое дерево и разбить обширные плантации. Внезапно ему повелели свыше все

вырубить и сжечь: ведь с купцами Севильи и Кадиса, которым принадлежала монополия на торговлю вином и оливковым маслом, соперничать возбранялось.

Ремесло, промышленность тоже были запрещены. Нужна вам шляпа или обувь — покупайте в Испании. И за все на свете надо было платить налог его наикатолическому величеству.

Ни о какой торговле между колониями и европейскими морскими державами, конечно, не могло быть и речи. Ограничивалось даже морское сообщение между испанскими владениями в Америке. С превеликим трудом, после долгой переписки, колонии добились наконец дозволения раз в год посылать один торговый корабль на Филиппины, которые тоже были подвластны испанской короне.

Но мало этого. Уроженцам колоний был закрыт путь к государственным должностям, во всяком случае — наиболее важным. Губернаторов присылали из определенных провинций Испании, куда они и возвращались, исполнив свой долг. Но и они не были застрахованы от ударов судьбы. Время от времени их деятельность проверяли королевские оидоры. Они отсылали губернатора куда-нибудь на месяц-другой, чтобы все недовольные могли, не опасаясь преследований, поносить и разоблачать его.

Если бы система торговых ограничений и монополий обеспечивала государству, которое прибегает к таким мерам, прочное благосостояние, Испания должна была бы неслыханно разбогатеть. Меньше чем за полвека после открытия Америки конкистадоры разграбили все сокровища инков, ацтеков и чибча, не говоря уже о том, что им удалось присвоить в других местах.

Полные трюмы золота и серебра, сундуки жемчуга и изумрудов, сказочные богатства шли через океан в Испанию. В Европе золото упало в цене.

Тем не менее в 1560 году Испания стояла перед крахом.

Это лучше всего видно из личной бухгалтерской книги Филиппа Католика, которая вошла в замечательный свод документов той эпохи, известный под названием «Документос Инедитос».

«Двадцать миллионов дукатов нужно только для того, чтобы покрыть мои долги и оплатить проценты, — писал король Филипп. — Но не будем даже говорить об этом: это просто невозможно».

И он подвел итог расходам за 1560—1561 годы. Расходам личным и государственным попеременно, в том числе на гвардию, которая три года не получала жалованья. Получилась сумма в десять миллионов девятьсот девяносто тысяч дукатов.

Разве это деньги для короля Старой и Новой Кастилии, Леона, Арагона, Гренады, Неаполя и Сицилии, герцога Фландрского и Брабантского, титулованного короля Англии, Франции и Иерусалима, графа Голландского, подеста Фрисландии, абсолютного доминатора Африки, а также Восточной и Западной Индии?

Но вот как выглядела статья доходов:

Налоги с Индии, большая часть уже израсходована вперед или заложена; можно еще выручить	420 000
Обычные налоги и таможенные поборы	200 000
Побор за папское разрешение есть мясо в пост и прочая королевская доля	500 000
Доход с лицензий на продажу рабов в Америку	50 000
Все прочие доходы, включая королевскую долю в конфискованном имуществе еретиков	160 000
Итого за два года	1 330 000

Потом король произвел вычитание — причем ошибся на какие-нибудь шестьсот шестьдесят три тысячи дукатов в свою пользу — и пришел к грустному выводу, что ему не хватает «девяти миллионов без трех тысяч дука-

тов, и остается либо извлечь их из воздуха, либо искать пути, которые уже использованы до предела».

И его величество принялся сочинять длинное письмо кардиналу Гранвелле в Брюсселе, призывая его поскорее казнить еретиков да проследить за тем, чтобы король Филипп получил все, что ему причитается. К письму прилагался длинный список простых граждан Голландии, подозреваемых королевскими шпионами в том, что они читали Библию, устраивали домашние богослужения и совершали другие ужасные преступления, караемые смертной казнью.

Торговать рабами или травить собаками непокорных индейцев преступлением не считалось, была бы лицензия.

Испанская империя выросла, как гриб после дождя, и, как гриб, она, разбросав свои споры, начала гнить. Немалая часть испанского народа, по сути дела, перестала трудиться. Куда легче быть воином, или монахом, или чиновником в заморских колониях.

Но после смерти Марии Кровавой, когда королевой Англии стала Елизавета, в испанские колонии зачастили новые гости. В Англии учреждались компании для торговли с Америкой, и корабли из Пяти Портов начали появляться у берегов Испанского моря.

Конечно, такого рода торговля была строго-настрога запрещена. Ведь монополия давала лишь некоторым привилегированным городам Испании право торговать с Америкой. Но многие креолы приветствовали ее, да и кое-кто из испанских чиновников смотрел сквозь пальцы на контрабанду еретиков.

Во-первых, англичане давали взятки, во-вторых, они поставляли дешевые и добротные товары, не в пример тем, которые поступали из Испании. «Ножи немецкие, худшие, какие только можно получить», — значится в списках товаров, которые брал с собой в плавание Магеллан.

Все были довольны, царило полное единодушие, пока у одного из испанских вице-королей жадность не взя-

ла верх над благоразумием. Нарушив слово, он предательски обстрелял в Сан-Хуан-де-Ульоа корабли англичанина Хоукинса. Много судов погибло, но некоторым удалось уйти. Капитаном одного из спасшихся кораблей был сын английского пастора, молодой блондин, которому предстояло стать знаменитым. Его звали Фрэнсис Дрейк.

На некоторое время еретики исчезли, затем они появились опять. Их было много, и они были вооружены. Джон Оксенхем, Хемфри Джильберт, два Хоукинса, Фрэнсис Дрейк, Уолтер Рейли, всех и не перечислишь.

Суда их частенько проходили вон там, где сейчас лежит с поникшими парусами галеас и полчища чаек кружат над косяком ставриды.

Английские каперы перехватывали испанские суда, совершали набеги и на сушу, когда это сулило выгоду. Даже такие города, как Номбре-де-Диос, Картахена и Санта-Марта, не могли считать себя в безопасности.

А потом настала пора, когда каперы уже не довольствовались грабежом приморских городов: они принялись захватывать острова. Со временем в Испанском море возникли французские, английские, голландские колонии, даже Дания и Швеция подчинили себе несколько островков.

Некоторые острова отвоевывались испанцами, но тут же опять переходили в чужие руки. Англичане, голландцы и французы ссорились из-за добычи, дело доходило до яростных схваток между ними, но в конечном счете проигрывала Испания. У нее не было необходимой напористости, к тому же правители страны были один хуже другого.

Теперь уже несколько европейских держав утвердилось в Вест-Индии, и можно представить себе, как процветали их каперы.

Но наряду с так сказать узаконенным каперством вскоре возникло другое, без патентов и королевских

благословений. В XVII веке началась «переквалификация» буканиров.

Эти люди без роду и племени стали создавать все более прочные союзы, своего рода братства, в которых все стояли друг за друга. Союзы береговых братьев вовсе не были преступными шайками и ни на кого не нападали, пока их не трогали. Они установили свои собственные законы и соблюдали их неукоснительно. Все доходы поступали в общий котел, и дележ происходил строго по правилам. Прежде всего получали возмещение пострадавшие на охоте или рыбной ловле, при этом учитывалась степень увечья. Если семья оставалась без кормильца, братство брало на себя заботу о ней. Только выполнив все обязательства такого рода, буканиры делили остальное.

Такая организация — один за всех, все за одного — была необходима тем, кто жил возле самой пасти акулы. Эти братства спланивали людей разных национальностей в единый фронт против враждебного окружения.

Поначалу братству в общем-то не мешали заниматься охотой на одичавший скот, ловить рыбу и черепах. Но в конце XVI века идилии пришел конец.

В Европе Испания терпела одно поражение за другим. Флот Хоукинса и Дрейка разогнал Непобедимую Армаду, словно стаю уток. В Нидерландах преследуемые протестанты, вооружившись пиками и мушкетами, пустили их в ход, да так, что у испанских полководцев глаза на лоб полезли. Французские каперы захватили «Серебряный караван», английские флибустьеры орудовали вдоль берегов Американского материка.

В неглубокой стеклянной воде стремительно идет косяк серебристой кефали. Рыба прыгает, и в утреннем свете рассыпаются жемчужные капли. Присмотрев до-

бычу, не спеша приближаются степенные бурые пеликаны.

Нырнули поплавки, сразу целый ряд. Бросаю потухший окурок и вхожу в воду. В зеленой ячее мелькает живое серебро. Две блестящие кефали и золотистая мохарра раяда оказываются в мешочке, который висит у меня на шее. Еще две-три рыбы — и завтрак для семьи готов. Сардину кончуду оставляю в сети: пусть приманивает крабов. Эти рыжие крабы — морские хулиганы, они так и норовят тебя ущипнуть, но зато хороши на вкус.

Взяв мешок в руку, возвращаюсь на свою корягу. Солнце взошло, оно как раз вровень с макушками деревьев, и понемногу море становится молочно-голубым.

Светлый береговой крабик скользит по песку и прячется в стволе старой пушки...

Однажды, много лет назад, я видел большого крокодила, который в погоне за стайкой рыб бокачико поднялся в лесной ручей.

Здесь крокодила застиг рассвет, и вскоре после восхода солнца его обнаружили рыбаки-индейцы. Как сейчас вижу бессильную ярость зверя, окруженного быстроногими людьми, которые пускали длинные стрелы с железными наконечниками в его незащищенные бока, ниже костного панциря.

Угрожающе разинув пасть, он кидался то влево, то вправо, ударами могучего хвоста сбивал воду в пену. Напрасно! Стрелы продолжали лететь. Самые смелые из краснокожих подбегали, выдергивали стрелу из тела дракона, увертываясь от хвоста, и снова пускали ее в цель.

Мне кажется, Испания после разгрома Армады и голландского восстания очутилась примерно в том же положении: слишком большой крокодил в чересчур мелкой речке. И со всех сторон спешили охотники...

Многие остро ненавидели Испанию — Испанию Торквемады и Хуана де Фонсеки, Испанию, которая опустошила Антверпен, разрушила солнечный храм в Куско, сожгла библиотеку майя в Паленке, замазала мавританские мозаики в Альгамбре, жестоко расправляясь со всеми, кто оказывался под ее владычеством.

Теперь настал черед буканиров. Ведь они были иностранцы, в большинстве еретики. Галерам Картахены нужны были гребцы, священной инквизиции — жертвы для аутодафе, чтобы держать народ в страхе и напоминать праведникам об их долге. К тому же сожжение еретиков было любимым народным зрелищем вроде боя быков.

И началась облава на братства. Она обошлась испанской метрополии ничуть не дешевле, чем война против какой-либо великой державы.

Вольные охотники и рыбаки не накопили никаких богатств. Выручки с продажи их товара — копченого мяса одичалого скота, вяленой рыбы, черепах — хватало лишь на то, чтобы приобрести самое необходимое. Кроме скудной одежды у них были только лодки и оружие. Правда, оружие доброе: тому, чей хлеб насущный составляли одичавшие быки и хряки, требовался надежный мушкет.

Рассказывают, что когда Генри Морган и его буканиры взяли Портобелью, губернатор Панама прислал им приветствие, добавив, что хотел бы взглянуть на образец оружия, с которым пираты одолели испанский гарнизон. Морган отправил ему один из своих пистолетов и передал, что сеньор губернатор может не затруднять себя возвращением пистолета, владелец сам его заберет при случае.

Губернатор посмеялся остроумной шутке, но через три года Морган и впрямь нагрязнул к нему. Развалины старой Панама до сих пор напоминают об этом визите.

Помимо лодок и оружия буканирам помогало вели-

колепное знание моря, островов и побережья, рек и болот, несчетных водных путей среди мангров.

Терять им было нечего. Куда лучше пасть в бою, чем заживо сгореть на медленном огне или сдохнуть на галере.

Ватаги отчаянных людей смазали свое оружие, наточили кортики, ножи и акульи копыя, привели в порядок баландры, пироги и вышли в море. Горсточка нищих авантюристов объявила войну самой могущественной империи той поры.

Прежде всего им были нужны более вместительные и мореходные суда — галеасы или шхуны. Хорошо бы с пушками.

Такие суда можно было тогда увидеть в большинстве испанских портов на Карибском море. На них приходились почти все перевозки, кроме трансатлантических. Команды были большие, вооружение — одна-две трехфунтовые пушки или короткие каронады. Подобные суда есть и в наши дни, правда без пушек; как и тогда, они перевозят грузы, а иногда контрабанду.

Обычно испанцы плавали только днем, а вечером бросали якорь в защищенной бухте, в устье реки или под прикрытием острова. Ночью плыли только в том случае, если надо было поскорее пройти участок открытого моря или убраться из опасного места.

...Темная тропическая ночь, шхуна стоит на якоре в устье реки, до мангров тридцать саженей, место как будто безопасное. Команда спит на своих койках. И вахтенный дремлет, прислонившись к мачте, или, сидя на бухте каната и подперев голову руками, мечтает о роме и девушках.

Погода отличная, никаких врагов и в помине нет, какого черта глаза таращить?

Вахтенный не слышит тихого всплеска — это две длинные пироги выскользнули из мангров. Не видит, как задрожало и расплылось отражение звезд в темной

воде. Пирогы медленно и бесшумно подходят к корме шхуны.

С воинственным кличем буканиры вскакивают на борт. В лунном свете при оранжевых вспышках из пистолетных и мушкетных дул тускло поблескивают кортики, копыя, секиры. Сонные моряки кое-как отбиваются вымбовками или в страхе прыгают в воду и плывут к берегу.

Несколько минут — и судно переменяло владельца.

Летят за борт нагие тела, и акулы чертят светящиеся дорожки в море, спеша к устью. У них чутье как у охотничьих псов, и, уловив запах крови, они стрелой пронзают волны, мчатся на пир, следя за прихотливыми извивами течения. Здоровенные белые акулы с серой каймой на плавниках, плоскоголовые донные акулы, чудовищные рыбы-молот, полосатые тигровые акулы с круглым пятнышком над вертикальной щелочкой зрачка...

Буканиры все чаще и чаще устраивали пир для акул; еще в прошлом веке в Испанском море ходили пираты.

Буканиры успешно освоили новую профессию. Через несколько десятков лет не горстки оборванцев атаковали маленькие шхуны — целые флотилии пиратских кораблей ходили, где им заблагорассудится, не пропуская ни одного испанца. У береговых братьев появился свой адмирал, грозный старик — голландец Эдвард Мансфельд и свой вице-адмирал — Генри Морган. Французский губернатор на Тортуге и английский на Ямайке наперебой добивались благосклонности буканиров и приглашали их предводителей на лихие попойки, а портовые лавочники удовлетворенно потирали руки. Немало добра доставалось им за бесценок, когда одолеваемые жаждой пираты рвались в кабаки.

Морган грабил поселения по берегам озера Маракайбо, взял штурмом Панаму. Пти-Пьер сжег Риохачу, Ма-

нуэль Португалец предал огню Санта-Марту, метис Луис Гарсиа так основательно разрушил Санта-Мария-дель-Дариен и Аклу, что теперь мы не можем точно сказать, где находились эти города.

Но из всех флибустьеров Испанского моря трое особенно волнуют воображение.

Первый — Фрэнсис Дрейк, морской орел из Девоншира, путешественник, объехавший вокруг света, человек, которому и океан был тесен.

За ним — благороднейший кречет елизаветинского двора, мечтатель, поэт Уолтер Рейли, не столько капер, сколько землепроходец, который всюду искал сказочное царство Париме.

Третий...

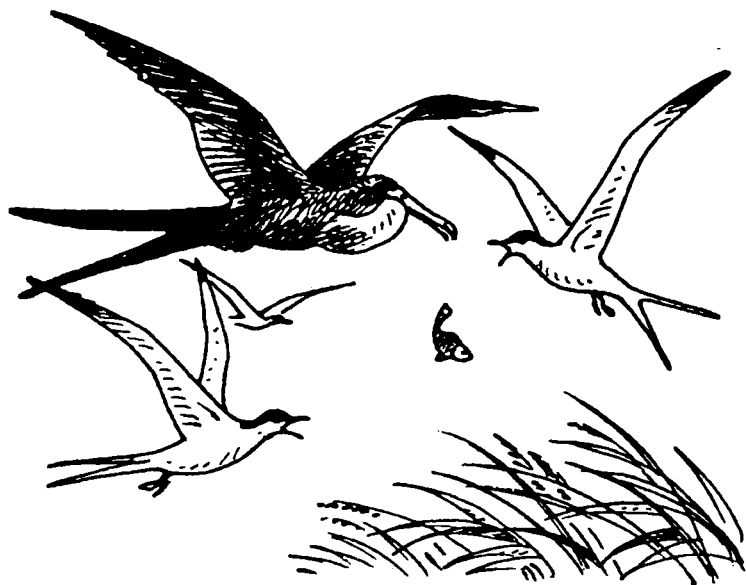
Косяк сардин стремительно идет у самой поверхности воды в тридцати саженях от берега. Наверное, спасается от крупной рыбы. Крачка пикирует и вновь взмывает, в желтом клюве зажат кусочек морского серебра.

Ее догоняет темный силуэт... Длинные, будто изломанные крылья, клюв острый, как вымбовка, кроваво-красное горло, черная грудь. Фрегат.

Бросок, крик!..

Крачка выпускает сардину. Рыбешка серебристым листиком падает вниз, но не долетает до моря. Фрегат мягко падает следом и хватает ее прямо над самой водой. Взмыл, скользнул по мне недобрыми пиратскими глазами и ушел дальше. Привет, сэр Генри Морган! Поплавки яростно пляшут. Кто-то попался... Вдруг вижу: чуть подалее рассекает волны бурый плавник. Держа наготове нож, я бегу по воде спасать свою сеть. Это песчаная акула, а их я не боюсь.

Взваливаю сеть на плечо, бреду к берегу и расстилаю ее на пляже. Теперь можно выбирать улов. Красные крабы с зеленоватой спинкой, изящная серебристая кефаль, крупный перламутровый помпано с золотистым брюхом.



Трепещущая рыба, розовые раковины, залитый солнцем песок... И тут же наполовину скрытая в земле старая, ржавая пушка.

Возможно, море опять скроет ее — на сутки, на месяцы, на несколько веков. Возможно, этот поселок будет городом, когда она выглянет вновь. А может быть, и поселка не будет, только море и небо, фрегаты и рыба да маленькие крабы-призраки, скользящие по солнечному берегу.

УТРО НА БОЛОТЕ

Еще темно. С плотного прибрежного песка сворачиваю на тропу под кокосовыми пальмами. Небо затянуто почти прозрачной пеленой. На западе, у горизонта, сквозь облако тускло просвечивает луна.

Ночной ветер с равнины затих, а морской бриз еще не

проснулся. Отлив. Что-то глухо бормочет дремлющий прибой, переваливая через отмели. Даже в зарослях за полоской пальм слышен басовитый шепот моря.

Тропа вьется светлой прядью между зелеными кустами. Секунду назад они были черными, но небо чуть посветлело, и сразу появился какой-то намек на краски.

Фонарик висит на поясе рядом с мачете. Пусть висит. Змей тут, у самого моря, мало, а больше здесь опасаться некого. Ягуар даже ночью уступит вам дорогу, если не сторожит добычу и если это не мать с новорожденным. Да и то чаще всего большая кошка пропустит человека.

В тиши сумрачного леса за рекой звучит голос птицы. Будто смычок коснулся струны. И опять тишина.

Останавливаюсь на краю мелкого озера, которое появляется тут только в пору дождей. В засушливое время — с января до конца мая или начала июня — оно пересыхает, остается лишь несколько бочагов.

Медленно вхожу в воду, затянутую ковром плавучей растительности. Здесь по колено. Ступня целиком уходит в мягкий, скользкий ил, в котором скрываются твердые и хрупкие шипы пальмы лата. Они тоньше и длиннее швейной иглы и легко могут пронзить резиновую подметку моих кед.

Еще сто метров по воде между кочками камыша и маленькими плотными кущами пальмы лата. Ни быстро, ни бесшумно тут не пройдешь. Утки уже слышали мои шаги — взлетели из зарослей и мечутся вокруг, посвистывая.

У писингу, как называют этих красивых тропических древесных уток, голос совсем иной, чем у их дальних северных родичей: они нежно, мелодично свистят. Писингу меньше кряквы, но побольше связи, весят от восьмисот граммов до килограмма. И любят сидеть на деревьях, предпочитая ветки потолще и посуше.

Но вот я у цели. Притаился в засаде возле одного из тех

причудливо изогнутых деревьев, которые окаймляют самую глубокую часть болота. Здесь дно потверже. Это очень кстати, особенно когда надо круто повернуться. Но трехстволка пока висит на плече: видимость еще плохая.

Небо проясняется, облака уплывают прочь. Над низким лесом на востоке медленно занимается бледная, призрачная заря. Шире, шире захватывает небо, набирается краски и вот уже горит чистым розовым цветом. Через полчаса сюда придет день.

Летучие мыши чертят затейливый узор в воздухе между редкими кронами мангров и над тростником. Смутными тенями проплывают мимо две кваквы. Слетаются полчища комаров и разочарованно отступают: я основательно намазался.

Вдруг в светлом небе возникают четкие силуэты двух птиц. Сам не знаю, как это произошло, но трехстволка уже наготове, курки взведены. Птицы свернули в западную сутемь, еще раз свернули, пропали за деревом... Вот они, надо мной!

Два выстрела пробивают тишину раннего утра. В бочаг шагах в двадцати от меня падает черный ком. Найду.. Вторая утка мчится прочь, словно подстегнутая. Перезаряжаю ружье, подбираю добычу, подвешиваю на патронташе и снова жду.

Свет все ярче, скоро появится солнце. Потянулись дневные цапли, преимущественно молодые флоридские — маленькие, изящные, еще совсем светлые; лишь кое-где у них появились перья шиферного цвета. У взрослых оперение иссиня-черное.

А вот и белые цапли, оба вида — крупная и мелкая — с желтыми ногами. Желтоногая — та самая, которую чуть не начисто истребили добытчики перьев. Теперь она опять развелась, найдя себе надежное прибежище в обширных мангровых болотах.

Летят три огромные сизые магдаленские цапли. Своеобразный у них полет — мягкий, плавный, и даже при

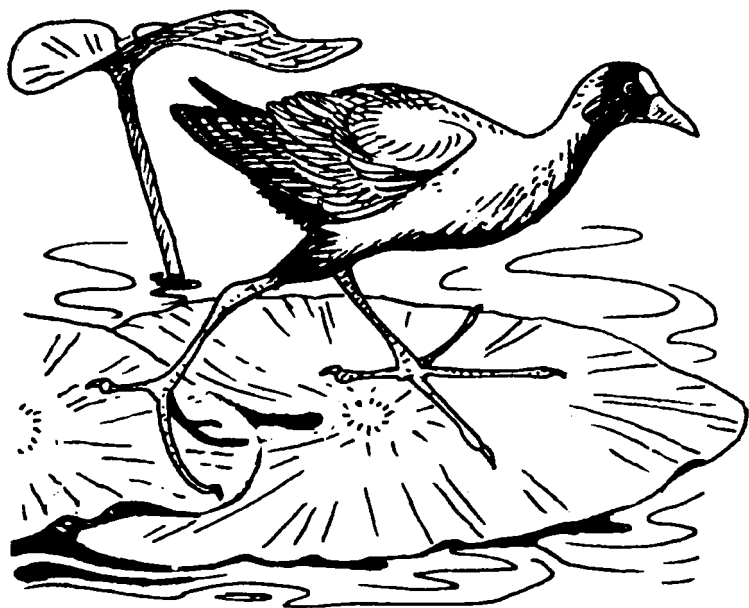
самом резком свете очертания крыльев как будто размыты.

Воздух полон птичьих голосов. Комары пропали, начинают свой танец стрекозы.

Похожие на юрких водяных курочек хакана с крыльями в желто-зеленую крапинку и на диво длинными пальцами расхаживают по сплетению водных растений или снуют в воздухе над самой водой.

Утки потянулись к рисовым полям, окружающим деревню. Писингу любят нежные зеленые всходы. Недаром крестьяне просят меня почаще отстреливать этих птиц.

Но они летят слишком высоко. А я и не расстраиваюсь: что за радость от утренней охоты, если только палить да палить!



Далеко в стороне от моей засады проносятся две огромные мускусные утки. Усаживаюсь на корни мангров и кладу ружье на колени. Хочется просто послушать и посмотреть.

Откуда-то появилась арама. Она с цаплю величиной. А как причудливо она летит: крылья чуть ли не встречаются над спиной, так что вся птица напоминает выгнутый кверху лук. Длинный, чуть изогнутый клюв направлен косо вниз, голова маленькая, до смешного круглая, а в глазах улыбка. Да-да, честное слово, глаза арамь насмешливо улыбаются! Это так же верно, как то, что сарыч глядит спокойно и величественно, а белая цапля — холодно и злобно.

Сейчас меня обвинят в антропоморфизме. Мол, птичий глаз ничего не выражает, я сам — умышленно или подсознательно — приписываю ему какое-то выражение. Возможно. Насмешливо, величественно, злобно — все это человеческие понятия, вряд ли приложимые к остальной фауне. И все-таки попробуйте, посмотрите в глаза птице, вольной, дикой птице, а потом проследите, как она себя ведет в своей среде.

Сарыч охотится, лишь когда голоден; цапля же вонзает свое «копье» в любого, кто подвернется.

Арама — добродушное создание, она кормится почти одними пресноводными улитками и отлично уживается с соседями.

Вот уселась на куст на расстоянии выстрела и хрипло кричит: «Каррао, каррао!» Это один из ее трех кличей, и так ее называют местные жители. Второй клич, напоминающий стук погремушки, — сигнал тревоги. Третий можно услышать, когда встречаются две арамь. Некрасивый звук, что-то среднее между свистом и поросычьим визгом. Печальных кличей я у арамь не слышал, хоть и читал о них в книгах. Видно, мне известен не весь ее репертуар. Пищут еще, будто она не убирает ног в полете. Это бывает, если арама спешит к ближайшему кусту, что-

бы спрятаться. А вообще она, когда летит, слегка поджигает ноги.

Местные жители уверяют, что у арамы нежное, очень вкусное белое мясо. Может быть. Все равно у меня не поднимется рука убить ее. Даже чтобы установить, действительно ли это *Agamus scolopaseus* или какой-нибудь близкий ей вид. Уж очень она симпатичная и бесстрашная.

Шелест крыльев... Поднимаю голову и вдруг метрах в двадцати пяти над собой вижу крупную черную птицу. Я и не заметил, как и откуда она появилась. Широкие, похожие с виду на гусиные крылья двигаются размеренно и будто неторопливо, но полет мускусной утки только кажется медленным.

Выношу мушку вперед... Выстрел... Птица будто пристает в воздухе и штопором падает в бочаг неподалеку. Убита наповал, дробь попала в голову и шею.

Взвешиваю селезня на руке, потом разглядываю. Он немолод, это видно по множеству красных выростов на голове, по большим белым пятнам на крыльях, по зеленому металлическому отливу спинки. Да и вес говорит о том же: в нем добрых три килограмма. А в молодом селезне чуть побольше двух.

Этот пато реаль, как в Колумбии называют *Cairina moschata*, перевесит четыре писингу, и вкуснее птицу трудно найти. Забрав добычу, возвращаюсь к своему дереву и сажусь на корень.

Арама «трясет погремушку», протестуя против выстрелов и шума на ее любимом болоте, но вскоре успокаивается.

Вот и солнце взошло. Мимо проносятся стаи голубей, все больше красавцы гуарумера величиной с европейского лесного голубя. Они очень хороши на вкус, но сегодня я их не трогаю. Голубей стреляют, когда нет другой дичи. И вообще лишний выстрел ни к чему: зачем настаивать мускусных уток? Писингу сейчас на рисовых

полях, они вернутся, когда солнце поднимется выше и начнет пригревать как следует. А большие утки могут появиться в любую минуту. Если соизволят.

На свой любимый куст опускается черный ястреб. Величественный такой, побольше орла-крикуна, и осанистый, как тот. Но разве его назовешь охотником? Раза два я заставлял его за едой, потом проверял, что осталось после трапезы. Хищник лакомился... улитками.

Утки не торопятся. В зарослях за болотом подняли шум гуачаррака. Собственно, кричит петух, курочка только иногда посвистывает.

Они очень забавны, эти маленькие подобия огромных, похожих на индейку пава, на которых я охотился, когда гостил в дебрях у индейцев. Но гуачаррака не любят могучий девственный лес, им по душе кустарники и не очень открытые берега рек. Они забираются в самые густые заросли и прыгают там с ветки на ветку, летают мало. Если бы не крикливый голос, их вообще нельзя было бы найти.

Заметно потеплело. Кувшинки — очень похожие на шведские, только поменьше и поизящнее — будто светятся на чистой воде, в которой играют стайки маленьких карпозубых рыб.

Уголком глаза замечаю какое-то движение. Осторожно поворачиваю голову.

Плывет маленький кайман, высунув над водой голову с характерным профилем. *Caiman sclerops fuscus*, если быть совершенно точным. «Бабиля» по-местному. Кайманом здесь называют настоящего, большого крокодила с широкими лопатками и длинным заостренным рылом. Рядом с ним бабиля кажется дешевой подделкой.

Маленькое чудовище подплывает к упавшему дереву и медленно, неуклюже взбирается на него. Вот оно влезло, ложится наискось, конец хвоста свесился в воду. Тупоносая голова поднимается, чтобы обзреть ок-

ружающее. Вот тут кайман и выдает свою породу. У крокодила шея толстая и короткая, он не способен на такое движение. Его сразу узнаешь: дракон, да и только. Бабиля скорее производит впечатление этакой допотопной таксы.

Этот экземпляр чуть больше метра в длину, не стоит тратить на него пулю.

Ну вот, так всегда бывает, когда зазеваешься! Мимо промчались две мускусные утки. Теперь уж стрелять бесполезно. Достаточно зоркие и чуткие, они, конечно, заметили меня. Больше я их сегодня так близко не увижу.

Бабиля видел, как я дернул головой, как схватил ружье, — и бултых в воду.

Опять я один. Наедине с болотом, лесом, кувшинками, солнечным светом, блестящими стрекозами. И как часто бывает, когда ты один, кажется, что боги видят тебя. Нет, не меня как такового, не человека, избранное существо и их подобие (смешная претензия!), а частицу здешней фауны, такую же, как цапля, стрекоза, крокодил.

Когда созерцаешь не двигаясь, и недвижимые боги ближе.

Что-то стучится в сознание. Что-то важное, неотложное, но мое маленькое «я» захвачено окружающим величием, божественным покоем. Зов продолжается, нарушая созерцание. Однако волшебная стена полной отрешенности не пускает его. А что-то все стучится, стучится, стучится...

Маленькое «я» переносится в мир обычных мыслей и действий. Ну конечно: это свистят писингу, возвращаясь с рисовых полей.

И опять я раб, раб сверкающих стволов моего ружья, раб спускового крючка, мгновенных прикидок расстояния... Вожак первой стаи падает чуть ли не у моих ног, еще одна утка — на кочку шагах в двадцати от меня.

Две стаи проносятся мимо, пока я перезаряжаю, но третью встречают выстрелы.

Пролетели. Теперь у меня полдюжины писингу и большая мускусная утка. Бреду по воде к опушке. Метров сто, сто двадцать — это пять-шесть минут ходу. У меня нет с собой часов. Зачем они в лесу?

Спору нет, часы необходимы в Европе, где жизнью человека все больше и больше управляет минутная стрелка. Да и здесь они нужны: в городе, во время учебных семестров, чтобы не опоздать на лекцию или в лабораторию.

Но в лесу и на море я обхожусь солнцем, луной и звездами. Здесь мои действия определяются не тем, что часы показывают 4.17 или 21.33, а тем, что древесные утки пролетают на рассвете, что бриз свежее, когда солнце высоко, что морской судак появляется с приливом. Все прочее только сбивает с толку; попробуйте походить с картой и компасом в дебрях дремучего леса. Когда я живу здесь, на побережье, мои старые часы лежат дома в ящике. Я щурюсь на солнце, или гляжу, как тень от пальца ложится на ладонь, или смотрю на Плеяды и получаю нужную справку.

Сейчас я иду домой вовсе не потому, что уже около восьми, просто моей добычи хватит на обед и нам, и соседям. Да еще в лавке Каталино я обменяю уток на соль, растительное масло и маисовые лепешки.

На узкой тропке встречаю старика индейца, из «мирных» тучинов. На нем рваная рубаша и брюки, которые когда-то были белыми, а теперь все состоят из разноцветных заплат. Старинное ружье, сточенный мачете, лубяной мешочек с порохом, маленькие, искусно вырезанные коробочки для дроби и пистонов — вот и все его снаряжение. С веревки, которой он подпоясался, свисают две гуачаррака.

Он ходил на свою расчистку, там у него два гектара земли, теперь возвращается домой. Над дверью его хи-

жины подвешено растение пиньон, оно должно отгонять ведьм и прочую нечисть.

Его жена не хочет жить в деревне: уж очень много там скверных людей. А дочери каждый день ходят туда, они служат в господских домах. Девочки ленивы и нерасторопны. А кто будет прилежно работать за пять песо в месяц да горстку рису и маниока?

Старик оценивает взглядом мою добычу и едва заметно кивает. Он куда более искусный охотник, чем я. Правда, старый индеец не умеет бить птицу влет, зато знает о повадках здешней дичи неизмеримо больше, чем когда-либо буду знать я, и ему не нужны все эти приспособления, которые составляют важную часть моей жизни, жизни моего маленького «я»...

Мы обмениваемся негромким «буэнос диас» и расходимся в разные стороны: он идет в свою лачугу, а я в дом, который снимаю. Но путь обоих пролегает через певучие пальмовые рощи, через светлые пляжи, вдоль озаренного утром моря.

ЩУПАЛЬЦА

Облегченно вздохнув, накрываю машинку колпаком. Отчет об исследовании готов, можно отправлять. Чемоданы уложены, микроскоп убран во все защитные футляры, обстановка моей временной квартиры возвращена владельцу. Последние страницы я писал, поставив машинку на один ящик для коллекций и сидя на другом.

Но вот что самое приятное: до начала занятий еще целая неделя, которой я могу располагать, как хочу.

Неожиданно раздается стук в дверь.

Наверно, кто-нибудь из моих студентов будет выпрашивать зачет... Делаю суровую мину и кричу:

— Войдите!

Дверь отворяется, и входит Эрнандо.

Эрнандо совсем неплохой студент-медик (когда у него есть время учиться). В жизни Эрнандо столько других занятий: танцы, прекрасные сеньориты, серенады, поэзия, спорт. Особенно спорт. Рысаки, быки, бойцовые петухи, но главным образом лодки, по чести говоря, играют гораздо большую роль в жизни Эрнандо Рамиреса, чем «Общая анатомия» или «Справочник тропических заболеваний».

Теперь Эрнандо уже не мой студент, но когда-то я поставил ему заслуженное «отлично» по общей биологии, и он не может этого забыть.

Не найдется ли у «эль профессор» времени пойти перекусить у Вонга?

В самом деле, почему бы нет? Автобус, на котором я собираюсь ехать в приморскую деревушку, чтобы использовать внезапно освободившиеся дни, отходит только через два часа.

Стоило мне назвать деревушку, как Эрнандо вспомнил, что и у него там есть дела, неотложные дела. Мы попросили слугу отнести наши вещи на автобусную станцию, а сами пошли в ресторанчик Вонга.

Мистер Вонг — китаец из Кантона, у него свой взгляд на жизнь и на то, как готовить пищу.

Мы решили поесть основательно, с чувством, с толком. Только управились с ят-гго-мин, как Вонг подошел и спросил, картавя:

— Плостите, что потлевожил, но не мог бы дон Элнандо добыть несколько сплотов?

Китаец сказал «хибиа» — так испанцы называют каракатицу *Sepia*. Но в Южной Америке обращаются с испанским языком несколько своеобразно, и это прежде всего относится к названиям животных. Я решил, что речь идет о кальмарах.

Эрнандо кивает. Можно. А его черные глаза уже загорелись. Великолепнейший повод дать книгам отдых и

целых два дня посвятить морю! Я не составлю ему компанию?

Конечно составлю! Интересно ведь поучиться, как ловят маленьких десятируких спрутов — «каламаре». К тому же они вкусные, а яйца кальмара считаются лакомством. Иногда, чисто случайно, в мой невод или накидку попадались кальмары — не больше пяти-шести штук за один раз.

Итак, еще одно дело зовет Эрнандо к морю! Мы упрямились с ленчем и пошли во второй ресторан, к сирийцу Хасану, выпить кофе. Вонг кормит превосходно, как и подобает китайцу, но кофе у него прескверный.

Наконец мы сели в автобус. Завтра утром будем уже ловить.

...Раннее утро. Мы бредем по воде к лодке, которая стоит на якоре поодаль от берега. Тесновато в ней: Эрнандо припас веревки, каменные грузила, с полдюжины пустых ящиков. По краю каждого ящика торчат кося внутрь крупные гвозди и длинные острые шипы из твердого, как кость, дерева кайман-чильо. Из знакомой мне рыболовной снасти вижу лишь несколько лесок; в банке лежит только что наловленная рыбешка для наживки.

Ветер еще спит, но мы усердно орудуем веслами и вскоре добираемся туда, где под водой довольно глубоко скрывается риф. Сверившись с только ему известными приметами на берегу, Эрнандо начинает ставить ловушки.

Он нагружает ящик двумя-тремя камнями, прикрепляет толстую леску и отправляет его на дно. Другой конец лески привязывает к бальсовому поплавку. Все.

Теперь следующий ящик. И вот уже все шесть расставлены примерно в ста метрах друг от друга. Мы отходим в сторонку и принимаемся удить рыбу.

Клевали хино — розовые в золотую полоску люцианиды, похожие на окуня. Эрнандо вытащил молодую бар-

ракуду, длинную, тонкую, с щучьей пастью и страшнейшими зубами, какие мне когда-либо приходилось видеть.

Но вот клев прекратился. Подул дневной бриз. Мы подняли якорь, поставили паруса и направились к берегу.

— А спруты? — спросил я.

— Завтра утром вытащим, — ответил Эрнандо и перевел разговор на петушинные бои.

На следующий день мы вышли примерно в то же время, но теперь начали с рыбной ловли. Море под безоблачным небосводом из тускло-серебристого стало опаловым, потом молочно-голубым.

Постепенно в ящике, который стоял между нами, накопилось довольно много рыбы: плоские, как лист, отливающие зеленью касавито, розовые хино, макаку, серовато-желтые ламбе, испанская макрель — ультрамарин и перламутр. Но что толку перечислять названия?..

Нет слов на свете, которые могли бы хоть приблизительно передать удивительную красоту тропических рыб. Возьмите радугу, закат и благородный коралл, хорошенько смешайте их с перламутром, золотом и серебром... Нет, все равно не то.

Наконец мне попался метровый морской сарган *Strongylura*: бока — расплавленное серебро, брюхо жемчужное, спина мерцает зелеными блестками. Понятно, я сразу забыл о рыбной ловле и стал любоваться трепещущей рыбой.

Мне пришло в голову, как это уже было со мной однажды, когда я впервые увидел, как солнце прячется за ледник в Центральных Андах, что спектр не прямолинейен, а изогнут в виде подковы, концы которой соединены полосой красок, доступных только зрению богов. Хотя, если сидеть очень тихо, и мы можем их уловить.

«Кто увидит Иегову — умрет», — говорили старики.

Кто увидит краски богов — в вечернем ли облаке, в цветке ли неведомой орхидеи или на чешуе рыбы, исторгнутой из лилового моря, — умирает и рождается заново. Многое, чем он прежде дорожил, теряет цену из-за того, что в душе навсегда поселились чудные краски, воспринимаемые в каком-то другом измерении, которого не определишь длиной, высотой, шириной, временем.

— Все, не клюет больше. — Эрнандо Рамирес выбирает свою леску.

Несмотря на возвращающуюся в настоящее, наматываю удочку на дощечку и спрашиваю:

— А спруты?

— Сейчас пойдем за ними, — отвечает Эрнандо, поднимая якорь.

Шесть бальсовых поплавков мерно покачиваются на волнах там, где мы с ними расстались накануне.

Эрнандо приготовил два зазубренных копьа, потом потянул за первую леску. Ящик был тяжелый, но наконец он все-таки очутился в лодке. В нем была всего только девятилучевая морская звезда.

Так... Интересно, а зачем же эти копьа? Ведь здешние кальмары бывают длиной от двенадцати до двадцати сантиметров, не больше.

Во втором ящике сидели два небольших рака-отшельника, в третьем — скорпена, уродина, похожая на бычка, с ядовитыми шипами вдоль спины. Спрутов что-то не видно.

Но, оторвав от дна четвертый ящик, Рамирес повернул ко мне улыбающееся лицо:

— Вот где он...

Только ящик очутился у поверхности, как из него выскочило длинное остроконечное щупальце с двойным рядом присосков. Эрнандо передал мне леску, а сам схватил копье. Удар!.. Теперь медленно тянет копье обратно.

— Возьмите второе копьё, — слышу взволнованный шепот.

А из ящика уже появляется сам Кракен, в точности такой, каким описал его Виктор Гюго в «Тружениках моря». Восьмирукий спрут, он же осьминог, рыба-черт. Змеиное гнездо щупалец, которые обвивают копьё, борт лодки — все, за что только можно ухватиться. Студенистое мешковидное тело с громадными, получеловеческими-полудемоническими глазами, которые все время меняют выражение. Клюв как у хищной птицы или попугая. За этим клювом есть ядовитые железы.

Вода в ящике и вокруг него окрашена темной жидкостью.

Но пожалуй, страшнее всего было то, что чудовище непрерывно меняло цвет. Сперва оно было золотисто-коричневым, потом стало багровым, точно воспаленная рана. Багровый цвет перешел в красно-бурый, его сменил болезненный сине-фиолетовый.

Не счесть всего, что говорилось и писалось о вражде между человеком и змеями и акулами. Верно, они могут быть опасными: определенные виды, в определенных условиях.

Но, метя копьём в голову с копошащимися щупальцами и пристально смотрящими глазами, я знал, что вражда моего племени со спрутом еще древнее и ненависть к нему куда сильнее, чем к какой-нибудь копьеголовой куфии или тигровой акуле. Эта вражда восходит к той поре, когда спруты были владыками морей; она зародилась задолго до того, как наши прародители и предки членистоногих начали завоевывать сушу.

Предки насекомых и ракообразных были еще на стадии трилобитов, у первой прарыбы хрящевая хорда еще не превратилась в позвоночник, а в древнем море уже носились спруты. Одни, как ортоцератиты, в торпедовидном панцире, другие с многокамерными изогнутыми

раковинами, как у современного аргонавта. Косяками ходили белемниты.

Они стрелой пронизывали воду, ползали по дну, лежали в засаде в илистых ямах, в рифовых норах и гротах.

Кто ведает, может быть, и племя позвоночных давно было бы истреблено головоногими, не осени наших предков-рыб блестящая мысль переселиться в пресную воду...

Сотни миллионов лет шла борьба между двумя племенами, она продолжалась даже после того, как некоторые из нас превратились в праакул с ужасающими зубами или в антиархов с острыми кинжалами вместо плавников. Битва не кончилась и тогда, когда наиболее предприимчивые из нашего рода стали наземными животными. Всякий раз, как какая-нибудь ветвь нашего племени снова вторгалась в море, ее встречали спруты — самый развитый «народ» в морском царстве. С ними сталкивались рыбащеры и плезиозавры; с их крупнейшими представителями сражались и сиреневые пракиты.

Эта война продолжается и сегодня, когда кашалот, ныряя в мрачную пучину, находит там *Architheutis dux* — десятирукого кальмара, у которого щупальца толщиной с ногу человека. Я сам видел на коже кашалота метки от присосков больше дюйма в поперечнике.

Не будь иудеи таким сугубо континентальным народом, возможно, в Библии вместо «старого змия, великого дракона» олицетворением зла, воплощением враждебности оказался бы спрут.

А может быть, он стал бы богом, — ведь видим же мы увитую змеями богиню на древних критских вазах. Вообще, спрут был важнейшим мотивом декоративного искусства критян. Или он вошел бы в героические сказания иудеев, ведь мы узнаем его в Гидре Геракла и Медузе Персея у эллинов — мореходов и сказочников. Не говоря уже о Сцилле, про которую ста-



рик Гомер писал, что «даже бог не пожелал бы с нею встретиться».

Не могу оторвать глаз от спрута. Восемь щупалец извиваются, копошатся, точно змеи Горгоны. Только бы схватить человека и утащить его за борт, а там уж розовый клюв быстро доберется до глотки... Человек и чудовище, стиснув друг друга в объятиях, погрузятся в лазурную толщу, и через несколько часов на дне среди качающихся красных водорослей появится скелет. А спрут, забившись в ближайшую нору, будет подстерегать пучеглазых крабов, которые прибегут подъедать крохи с его стола.

Ну и взгляд у него... Жуткое чувство, словно в этой мягкой голове есть высокоразвитый мозг, правда, работающий совсем по-другому, чем у наземных животных. В нем пульсирует кровь, нагнетаемая тремя сердцами, но кровь голубая, в ее основе медь, а не железо, как у нас.

Это существо настолько чуждо нам, что о каком-либо взаимопонимании не может быть и речи.

Я нацелился в самое большое из его трех сердец и ударил.

Через мгновение чудовище было мертво, исколотое копьями и длинными ножами. Но весть об этом не сразу дошла до всех его конечностей.

Пустой ящик снова пошел ко дну, а мы в это время отсекали ножами от туловища щупальце за щупальцем. Они и в корзине продолжали извиваться; роговой клюв громко шелкнул раз-другой.

Два последних ящика были пусты, если не считать улиток, раков-отшельников и прочую мелюзгу. Ничего, у нас хватит рыбы, чтобы накормить пяток семейств, да еще есть осьминог, который один занял целую корзину.

С моря подул ветерок. Мы поставили фок и грот и медленно заскользили к желтому песку и зеленым пальмам.

Эрнандо поехал первым же автобусом в город. Он увез с собой осьминога и десяток рыб — ламбе, хино и других.

На следующий день и мне понадобилось съездить в город. Переходя через площадь, я обратил внимание на черную доску у входа в ресторан Вонга. Любопытство заставило меня подойти поближе.

На доске было написано меню, и среди прочих блюд значилось:

«Щупальца а-ля мод».

Я пошел к Хасану и заказал цыпленка.

НОЧЬ В МАНГРАХ

Высоко над качающимися, шепчущимися кронами кокосовых пальм парит луна. Глухо, лениво бормочет море, ветер с равнин засыпает.

На ветвях мертвого нагого дерева сейба, которое стоит в стороне от деревушки, вырисовываются черные комы, расплывчатые и неожиданно маленькие — это спящие грифы.

Светлый песок пляжа не шуршит у меня под ногами, как шуршал бы днем, при солнце. Он сейчас влажный, а скоро, когда прилив достигнет максимума, станет совсем мокрым.

Свечу перед собой фонариком (батарейки сели, так что свет довольно слабый) и вижу плоских крабиков. Миг — и нет их. Может быть, и не было вовсе? Эти плебеи крабьего народа живут у самой воды, в норках, которые вырыли сами.

Сейчас малый дождевой сезон, нет-нет да прольется дождь, и все устья рек открыты для кефали, морского судака, мохарры. За спиной у меня висят две обычные шведские ставные сети и колумбийская накидка, круглая, со свинцовыми грузилами и тонкими поводками, чтобы стягивать края. Сегодня ночью я собираюсь на речушку Эль-Франсес; насколько я знаю, там последнее время никто не ловил.

Пять километров, и я возле устья. Развешиваю длинные сети и сажусь на удобную корягу ждать, когда прилив достигнет высшей точки и пойдет рыба.

В десяти шагах от меня волны вползают на плоский песчаный бар, с другой стороны, в двадцати шагах, начинаются мангры. Темная сплошная стена не то темно-зеленая, не то черная, при лунном свете никак не определишь точно. И чем больше всматриваешься, тем труднее решить.

Царство мангров... Оно так не похоже на отороченный пальмами открытый берег. В манграх всегда полумрак, даже когда тропическое солнце в зените. Это не зеленый сумрак в старом высокоствольном лесу, простирающем серо-бурый лиственный свод над рыжеватой латеритной почвой, а неверный, пестрый, как кожа уда-

ва, трепетный полусвет. Темные норы между пучками воздушных корней, растопыренных наподобие паучьих ног, черный ил, по которому снуют крабы и под которым прячется предательская вязкая глина. Кое-где сероватые клочки посуше. На них селятся белесые и серо-зеленые сухопутные крабы самых различных видов, но схожие по окраске: в ней есть что-то от старых костей, которые долго пролежали в сырой почве.

Таковы мангровые леса — полные нор, темных луж, черного ила и многоногих тварей, выходящих ночью из-под земли...

Дюйм за дюймом приближается море. В это время года разница между чертой прилива и отлива невелика — три-четыре пяди. Скоро должна появиться рыба. Когда луна на ущербе, заметить косяк помогают ночесветки. Сейчас на них не приходится рассчитывать: чем ярче луна, тем слабее свечение моря.

Пора. Обматываю веревку вокруг запястья, развертываю накидку, кладу ее, как положено, на правую ладонь и левую руку и зажимаю в зубах одно грузило. Осторожно крадусь к воде и бросаю накидку туда, где кончается бар.

Сеть ровным кругом падает на воду, но тяжелые грузила быстро тянут края ко дну, и получается стянутый внизу колокол. А когда я начинаю вытаскивать накидку да еще поддегиваю рукой, края совсем смыкаются.

Свечу фонариком: что за улов? В сети бьются две мохарры в черную полоску, в ячее застряло несколько крупных раков. Глаза их блестят, будто рубины.

Закидываю сеть то с одной, то с другой стороны бара. В среднем получается раз впустую, раз с уловом.

Луна прошла зенит, можно и передохнуть. В мешке, подвешенном к моему поясу, больше десятка превосходных рыб и штук двадцать раков.

Вода медленно отступает, рыба уходит туда, где глубже.

Чашка кофе из термоса, сигарета, новый слой смазки на ноги, руки, плечи, чтобы испортить аппетит злым песчаным мушкам. Теперь можно взглянуть и на ставные сети.

Луч фонаря скользит по песку вдоль берега реки. Серебристая кефаль и мелкие судаки прыгают и спешат в середину затона; там сейчас метра три будет.

Большой мангровый краб застыл на месте у самой воды. Клешни подняты, тускло поблескивают черные стельчатые глаза. Чем-то он напоминает старый череп. Их, должно быть, немало лежало в манграх, когда Пти-Пьер и Мануэль Португалец в этом заливе на своих пиратских шхунах подстерегали пузатые галионы из Картахены или Номбре-де-Диос.

Луч скользит дальше. Вот веревка, которой я привязал сеть к корню на берегу, вот верхний урез. Несколько поплавок ушло под воду, и кажется, в ячее что-то поблескивает.

Заранее не угадаешь, что именно. Еще ни один рыбовед не изучал ни этой, ни других речушек между Эль-Дике и Атрато. А ведь здесь, в солоноватой воде, обитатели мангровых болот встречаются с жителями сине-зеленой морской пучины.

Осторожно отвязываю веревку и начинаю тянуть. Не идет, зацепилась то ли за корень, то ли за корягу. И есть лишь один способ выбрать ее так, чтобы не порвать: нырнуть в затон, нащупать руками, где держит, и отцепить. Потом собирай сеть и выплывай с нею на берег.

Днем я и в море ловлю такой сетью. Ночью — нет: слишком часто я видел длинные веретенообразные тела с острыми спинными плавниками. По ночам хищницы частенько заходят на мелководье, просто удивительно, как они там не застревают. Знаю, знаю: акулы трусливы, но кто видел рыбаков с откусанными руками или ногами, тот дважды подумает, прежде чем ночью лезть в мо-

ре. Недавно у самой Картахены серая донная акула среди бела дня на глазах у людей прикончила человека. Это второй случай за три года.

Но сюда, в устье реки, акулы не заходят: бар не пускает. И вообще они предпочитают простор. Хотя некоторые, скажем рыба-молот, не боятся пресной воды и поднимаются далеко вверх по большим рекам.

Словом, здесь можно рискнуть окунуться ради хорошего пополнения коллекции или доброго обеда. Разуваясь и еще раз свечу, чтобы точно знать, как идет сеть. Прилив, наверное, сдвинул ее, а когда плаваешь с сетью впотьмах, ничего не стоит запутаться.

Между корнями больших мангровых деревьев, там, где над водой горбом выдается темный ил, мерцает багровая искорка. Теперь мне понятно, почему в том месте ил лоснящийся и влажный, а не сухой и потрескавшийся.

Кажется, что между корнями тлеет сигарета, но я-то знаю, в чем дело, сто раз видел такие искры и раз сорок гасил их пулей.

Сейчас я ни за какие деньги не полезу в затон.

Эта искра — глаз. Днем он холодно-зеленый, с вертикальной щелочкой зрачка. И сидит этот глаз на длинном заостренном рыле с огромной пастью, ошетиленной острыми зубами.

Человек, почти двадцать лет проживший в тропиках, и не в городах, а большей частью по соседству с дикими джунглями, даже в самой сельве, не скажет вам, что не боится ничего на свете. Я с великим почтением отношусь по меньшей мере к трем животным, не считая морских чудовищ. Двух из них — огромного паука и тридцатисантиметровой сколопендры — здесь, в царстве мангров, нет. Зато тут обитает остроносый крокодил с узловатой спиной и сплюснутым с боков желто-зеленым хвостом. Это он сейчас смотрит на меня.

Между нами прочная вражда. С моей стороны даже

ненависть — ненависть, коренящаяся в страхе. Дважды у меня на глазах крокодил пытался схватить рыболова. Это было ночью. И только удачей можно объяснить, что оба раза у меня было оружие и дело обернулось плохо для хищника. Был и такой случай: я застрелил старого крокодила, о котором говорили, будто бы он за несколько дней до этого утащил маленького мальчика. В желудке зверя я нашел неопровержимые доказательства. И я видел глаза матери этого мальчика. С тех пор я не испытываю ни малейших угрызений совести оттого, что убил пятьдесят шесть взрослых крокодилов. Напротив, я надеюсь, что эта цифра возрастет. Из всех сил постараюсь!

Не спуская взгляда с бронированного ящера, отхожу к коряге, где лежит трехстволка, и проверяю, заряжен ли третий ствол длинным коническим патроном.

Потом иду к кустам на берегу затона, кладу ружье на развилку дерева, ставлю переключатель на пулю, взвожу курок и свечу фонариком туда, где притаился враг.

Неудачно лежит, прикрыт корнями. А в голову стрелять не хочется. Днем-то можно бить почти с математической точностью. Ночью совсем другое дело: не та верность, а патроны калибра 9,3х72 не растут на деревьях, особенно теперь, когда политические столкновения и гражданская война в стране сделали официальный импорт почти невозможным.

Надо бить в сердце или в шейные позвонки — это смертельно для любого зверя.

Выжидаю несколько секунд... Чудище начинает двигаться. Медленно, не торопясь, дюйм за дюймом. Теперь мушка смотрит как раз куда надо: позади лопаток. Сноп огня из ствола долетает чуть ли не до середины затона.

Естественно, я ослеплен вспышкой и с полминуты ничего не вижу, только слышу.

Вялые удары хвоста... плеска нет. Все как и должно быть.

Но слева от меня, за редкими кустами, что-то большое, грузное срывается с места и ныряет в другую заводь в гуще мангров. Слышу не испуганные скачки капибары и не бег косматого четвероногого охотника, а непрерывное «шлеп-шлеп-шлеп», тонущее в протяжном шорохе, и в заключение — долгий глухой всплеск.

Кто слышал этот звук, да еще ночью, непременно узнает его. Это бежит крокодил, привстав на коротких лапах: живот оторван от земли, хвост приподнят, только самый конец волочится. Когда крокодил бежит вот так, берегись и пасти его, и хвоста.

Зрение вернулось ко мне, я перезаряжаю ружье, выключаю фонарик и обуваюсь. Потом опять направляю луч фонаря через болото и черный затон на корни, где лежит, свесив голову к воде, убитый крокодил.

Больше нигде не видно красных глаз. Но сеть все равно подождет до рассвета. Где-то в немоном мраке среди ила, искривленных корней и черной воды прячется по меньшей мере еще один бронейщер.

Опасен тот крокодил, которого не видишь, о котором не знаешь, где он...

Тщательно прячу накидку и мешок с уловом в кустах, затем, не включая фонарика, по относительно твердой полоске земли под высокими деревьями «белых» мангров иду в глубь леса. Из почвы торчат тысячи ростков толщиной в палец и высотой до двадцати сантиметров. Получается своего рода толстый ковер, который засасывает ногу. Чтобы двигаться более или менее бесшумно, надо поднимать ступню прямо вверх и так же прямо опускать.

А впереди непрерывный шорох. Это улепетывают полчища ука — крабов-скрипачей. Они не очень-то прыткие, наверно, их нетрудно поймать. Почему же иногда земля в манграх местами чуть не сплошь покрыта ими? Что-то защищает их от хищников. Может быть, отвратительный вкус? Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из здешних «крабоедов» ловил их.

А до чего же они потешны! У самца одна клешня намного крупнее другой, она почти равна панцирю, ширина которого от силы четыре сантиметра. Подойдешь близко — крабик начинает угрожающе размахивать большой клешней, но ведь это чистое надувательство: она слабая. Они и самкам тоже машут. У тех нет такой клешни, и их почему-то видно гораздо реже.

Лес расступился. Передо мной мелкое озерко; из воды тут и там торчат деревья. Свечу на одно из них — темно-зеленая крона точно накрыта шапкой снега. Это белые цапли. Луч света будит нескольких птиц, и они улетают с хриплым криком.

Дальше, на ветвях мертвого дерева, будто черные наросты, прилепились пять-шесть спящих бакланов. На самой макушке сидит молодой бурый пеликан с белым брюшком.

Луч скользит вдоль опушки кустарника. Сверкнули два зеленых глаза: хищник. Похоже, идет в мою сторону. Выключаю фонарик и жду. Через минуту опять включаю.

Шагах в двадцати от меня зверь с лисицу величиной. Присел, косматый хвост приподнят, уши настороже. Морда острая, хитрая, пальцы длинные, растопыренные, такими удобно хватать и держать.

Енот, видно, за крабами вышел. Фонарик ослепил его, он растерялся, вот и присел.

Интересно, как по-разному хищники реагируют на электрический свет. Кошка ягуарунди прижимается к земле, серая лиса Угосуо или убегает, или стоит на месте, угрожающе скаля зубы. Куница таира разевает пасть в бессильной ярости.

А енот ведет себя спокойно. Если свет далеко, не мешает ему, он сядет и накроет хвостом передние лапы, словно довольный кот. Посидит, посмотрит, идет дальше охотиться. Из всех четвероногих охотников приморского края он самый добродушный. Может быть, пото-



му, что ест преимущественно ракообразных, хотя не прочь и цыпленка стащить. От собак он отбивается геройски.

Ну, хватит мешать ему, пусть охотится. Выключаю фонарик и иду дальше, в глубь мангров. Лунный свет просачивается между ветвями, рисуя причудливые узоры на иле, где мягком и влажном, где сухом, потрескавшемся.

Тихо в лесу, мертвая тишина. У меня толстые резиновые подметки, а шуму от них, кажется, как от поезда. Временами останавливаюсь и прислушиваюсь, затаив дыхание. Ни птичьего писка, ни любовного кваканья жаб. Ни одно насекомое не нарушает безмолвия скрипом своего хитинового инструмента.

Выхожу на прогалину. Вдруг что-то беззвучно проносится мимо самого моего лица. На фоне луны на миг отпечатался силуэт птицы с длинными острыми крыльями. Козодой...

Днем козодои отсиживаются здесь, в лабиринте глубоких теней, каждый на своей ветке. Прижмутся к суку, и их не видно: темное оперение сливается с корой. А когда наступает ночь, они летают над лугами и пастбищами, ловя насекомых и затевая причудливые ночные игры. Садятся на тропы (посветишь — глаза как рубины), отдыхают на столбиках оград, носятся друг за другом, улюлюкая: «Уй, уй!»

А перед восходом опять скрываются в сумраке мангров.

Что делал этот козодой здесь среди ночи? Неизвестно. Еще многое нам неизвестно. Внезапно мрак становится осязаемо плотным, он наваливается на меня со всех сторон и давит, стискивает горло и грудь, рождая страх перед неведомым, чего нельзя увидеть. Рука сама ищет фонарик, я делаю усилие над собой, чтобы не включить его. Прикрывая левой рукой глаза от веток, иду дальше.

Непонятный приступ страха уже прошел. Он почти всегда сразу проходит, надо только не поддаваться ему.

Тишину нарушает далекий глухой звук. Останавливаюсь, чтобы прислушаться... Опять. Словно кто-то кричит, сунув голову в котел.

Это зовет супругу ягуар с берега большого болотного озера, где на причудливо изогнутых деревьях спят паламеди и ябиру. Издалека, чуть слышный в неподвижном ночном воздухе, доносится ответ.

Нет в приморском лесу более неуловимого зверя, чем большая пятнистая кошка. За два десятилетия я всего три раза стрелял по ягуару, при четвертой встрече чуть не споткнулся о зверя — в это время мое ружье висело на дереве, а фонарик не горел.

Но ягуары-то видели меня множество раз, это я точно знаю. Просто они избегают человека, особенно белого.

В лесах между деревней и устьем Сарагосильи живет

больше десятка ягуаров, но можно целый год ходить по болотам и не встретить ни одного, даже мельком не увидеть. Будешь десятки километров идти по следу через топи и заросли, ночами сидеть в засаде у приманки, у водопоя, затевать облавы с собаками, все равно чаще всего большой кошке удастся уйти. По деревьям, земле, воде — ягуар всюду передвигается одинаково легко. Он режет крупный скот, загрызает ослов, таскает свиней, собак, коз.

Местные жители ненавидят ягуара. А для меня леса и болота оскудели бы без его крупного следа и отрывистого глухого зова, без надежды вдруг встретить его, увидеть это великолепное воплощение силы.

Снова зовет, теперь уже дальше, и опять супруга отвечает из-за озера.

Комары взялись за меня всерьез. Вернусь-ка я на песчаный берег, там они не водятся. Путь найти очень просто, луна помогает. Обхожу густые заросли и глубокие бочаги. Вот и море видно впереди, между кустами.

Ступаю на пляж, и в тот же миг от воды поднимается кваква. Ее хриплый крик всегда заставляет меня вспомнить латинское наименование кваквы — *Nycticorax* — «ночной ворон». Пролетела над волнами и села метрах в двухстах от меня, поближе к реке. При моем приближении опять взлетает и с криком пропадает вдали.

А я снова стою у песчаного бара, держа в руках накидку. Но сейчас отлив, и рыба ушла, только раchy глаза поблескивают, когда я свечу фонариком на влажную сеть.

Раздеваюсь, чувствуя свежесть ночного ветерка, и вхожу в воду. Она теплее воздуха и приятно ласкает тело.

Вспышка в воде, сильный рывок. Неужели молодой тарпон попался? Нет, морской судак, да какой! Скорее на берег его, пока он не распорол ячею острыми краями своих жаберных крышек.

Все, лов окончен. Судак возвращался в море и, навер-

но, был замыкающим. Иду к своей коряге, сажусь и люблюсь лунными дорожками. Лучше одеться, а то брызгает и скоро появятся песчаные мухи. Вон в манграх комарье уже тучами ходит.

Луна склонилась к морю. Где-то на востоке штормит, горизонт озаряют трепетные сполохи.

Шторм сюда не дойдет, у него другой курс, он пронесется мимо мыса вон там, за Ковеньяс, где сонно мигает глаз маяка.

Между кронами окаймляющих белото деревьев загорается другой глаз: утренняя звезда. Теперь уж близко рассвет.

Скоро весь край озарит солнце. Черные грифы проснутся и полетят убирать все, что умерло за ночь. Остроносый крокодил уйдет в болотные заросли, в свое дневное логово. И когда я подойду к ставной сети, то по следам на иле обнаружу, что испугался какого-то двухметрового малыша.

Я сниму шкуру с убитого крокодила, отрежу голову, посмотрю, что у него в желудке. Нырну в затон, отцеплю сеть, вытащу и распутаю ее.

Потом поплыву над песчаными отмелями, буду ловить в изумрудной воде рыб в золотую полоску, голубых и красных крабов-плавунцов, краски которых свежи и яркие, как само море.

И мангры покажутся мне светлыми и приветливыми. Издали.

Привет тебе, солнце!

СКАЗАНИЯ ПОД ПАЛЬМАМИ

Джимми выбирает леску. Трепещущий блестящий желтохвост скользит через борт в лодку и оказывается у наших ног среди товарищей по несчастью.

А теперь моя очередь. Хогфиш, своеобразный розо-

вый губан в килограмм весом, схватил наживку — хвост рака-отшельника — и покорно покидает родную среду.

Наступает перерыв в клеве. Раскуриваю трубку и смотрю на берег.

В ста саженях от нас глухо рокошет прибой, перехваченный барьерным рифом, таким же длинным, как сам остров, то есть побольше десяти километров. За рифом — отмель, вплоть до белого кораллового берега, за пляжем — пальмы. Почти весь остров Сан-Андрес — сплошная кокосовая плантация. Кое-где между пальмами стоят плодовые деревья: лимон, апельсин, манго, авокадо, гуанабана, тамаринд, хлебное. Светло-зелеными пятнышками выделяются посадки банана. Среди зелени виднеются дома, в большинстве своем деревянные, двухэтажные.

Островок в океане, будто нечаянно оброненный в ста морских милях от побережья Никарагуа, но по прихоти истории принадлежащий Колумбии.

Жители его преимущественно западноафриканского происхождения; сюда они попали с Ямайки и Большого Каймана. Потом смешались с европейцами, китайцами, индейцами. Основной язык — английский, сколько власти ни пытались изменить это. Молодежь одинаково свободно говорит и по-английски, и по-испански, а между собой еще на особом наречии — смеси архаичного английского с каким-то африканским диалектом. Ребенок на этом наречии — «пикканинни», земляной орех — «пинда», змея — «вуола».

Все грамотны, почти все протестанты — тоже вопреки усилиям властей.

Если я когда-нибудь где-нибудь сказал что-то неместное о чернокожих людях, беру свои слова обратно. Никогда в жизни не видел я более учтивых, порядочных и чистоплотных людей, чем на Сан-Андресе.

И никогда я не видел острова, настолько свободного

от всякой тропической пакости. Ни ядовитых змей, ни тысяченожек, ни дизентерии, ни малярии.

Марти, перегнувшись через борт, исследует дно в «морескоп» — деревянный ящик со стеклянным дном.

— Здоровенный рокфиш, — вдруг говорит он. — Джимми, дай-ка мне лесу потолще, с большим крючком!

Джимми надевает на тунцовый крючок рыбу весом в четверть килограмма. Леса толщиной с бельевой шнур, поводок — проволоочный канатик.

Удочка заброшена. Марти следит в «морескоп» за рыбиной. Шепотом ведет репортаж:

— Стоит... повернулся... учуял наживку... подходит... нюхает... Ну!.. Нет, отпустил... Заходит с другой стороны... Ну... ну же!

Могучие плечи Марти вздрагивают от рывка. Он встает и тянет леску. Иногда отпускает немного — с метр, не больше; тут же опять выбирает. У крупного рокфиша всегда есть свой грот или нора среди камней. Уйдет туда — только его и видели. Потому-то и нельзя далеко отпускать его.

Вижу, как что-то большое мечется в прозрачной воде, мелькают черные и желтые пятна.

Джимми поспешно убирает «морескоп», я хватаю багор. Без него не обойтись. До бьющейся рыбины сажени две.

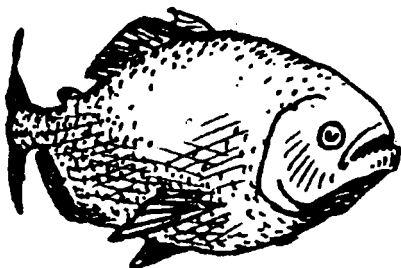
— Живей, Марти! — Голос Джимми дрожит от сдерживаемого волнения. — Мако идет!

Треугольный плавник рассекает воду в нескольких десятках саженей от нас. Это акула ходит кругами. Колебания воды, разносимый течением запах крови оповестили акулу, и вот она пришла проверить, в чем дело.

А наш рокфиш уже возле борта. Цепляю багром за брюхо. Ух как рванул! Хорошо, что мы вышли не на пироге, а на широком, устойчивом кетботе. И вот уже ог-

ромный морской окунь в лодке. Черный с желтыми пятнами, больше метра в длину, увесистый, толстый, как поросенок.

А что делается за бортом? Вот она, акула, не торопясь проплывает мимо на небольшой глубине. Здоровенная, как битюг, но стремительная и опасная.



— Какой же это мако? — возражаю я.

— Верно, — говорит Марти. — Это белая. — Потом переводит взгляд на добычу и недовольно замечает: — Не такой уж он большой, как я думал.

— Куда тебе больше, добрых двадцать пять килограммов.

— Если не все тридцать. Но ведь они и по триста тянут.

Морской окунь в триста килограммов? Бог с ним, все равно у нас нет снасти, способной удержать такого великана. Сейчас лучше возвращаться с тем, что добыли. Все равно, пока здесь ходит большая акула, клева не будет.

Марти и я поднимаем якоря. Джимми ставит паруса. Несколько минут — и через щель в рифе мы входим в защищенную бухту, где на глубине четырех саженей можно различить не только маленьких черных морских ежей, но даже их иглы.

Еще несколько минут — и мы опускаем мачту, высккиваем в теплую — двадцать восемь градусов — воду и вытаскиваем лодку на берег.

Несколько островитян, которые пришли купить рыбы, ставят на песок свои кастрюли и банки и помогают нам. По обрубкам пальмовых стволов мы втаскиваем лодку выше линии прилива.

— А теперь пошли ко мне, закусим, — приглашает Джимми.

Берем по связке рыбы и идем за ним. Над нашими головами певучий бриз перебирает пальмовые кроны.

— Эх, несколько лет назад, когда еще сюда не приезжали туристы, все было по-другому, — печально говорит Марти. — Тогда никому не приходило в голову продавать апельсины или манго. А теперь за десять сентаво получишь всего три-четыре штуки.

Десять сентаво — невеликие деньги, так что мне трудно ему сочувствовать. Тем более что сам я, с той минуты как прибыл на остров, не купил еще ни одного апельсина, ни одного кокосового ореха, а поел их вволю.

Дом Джимми стоит на сваях, в метре с лишним над землей. Морской ветерок продувает широкую веранду, где уже накрыт стол.

Манго. Суп из крабов. Помпано — рыба знаменитая, а этот помпано к тому же сперва был вымочен в лимонном соке, потом кипел на слабом огне в соке молодых кокосовых орехов, пока сам не распался на филе. Он подан с салатом из авокадо, жареными плодами хлебного дерева и печеным бататом. Затем следует шербет из тамаринда, а в заключение — кофе и сигареты.

Привозные товары не облагаются здесь пошлиной, так что самые изысканные сигареты стоят совсем дешево.

Поев, погружаемся в кресла-качалки и запеваем, как студенты в подвальчике Ауэрбаха: «Эх, до чего же хорошо...»

— Сегодня вечером мы собираемся на Хайнс-Кей, по-

веселимся там, — говорит Джимми немного погодя. — Поедешь с нами?

Что за вопрос!

Целая флотилия пирог и кетботов выходит из Саунд-Бей; сперва скользит вдоль берега, потом направляется к Хайнс-Кей, островку в полутора километрах от Сан-Андреса.

Приехали. Несколько мальчишек тотчас взбираются на пальмы и сбрасывают вниз молодые кокосовые орехи, лучшая часть сока которых еще не пошла на образование ядра.

Выносим на берег багаж: корзины, кастрюли, загадочные свертки из банановых листьев. Три гитары, мандолину, банджо. Кто-то подтрунивает над Каролой, сестрой Джимми: «Что ж ты не захватила свое пианино?» (Об этом пианино долго говорила вся деревня.)

Молодежь играет на привезенных инструментах, танцует, водит хоровод; люди постарше рассказывают что-нибудь, загадывают загадки. Я пытаюсь подловить Пинки Джея старой загадкой: «Если полторы курицы за полтора дня сносят полтора яйца, сколько яиц снесет одна курица за неделю?»

— Четыре и две трети, — отвечает Пинки Джей; он никогда не теряется.

Все хохочут от души; теперь его черед загадывать.

Солнце склоняется к пальмовым кронам. Опять пора закусить. Добродушные чернокожие и смуглые тетушки явно хотят друг друга перещеголять. Появляются жареные молочные поросята, цыплята, люцианиды, лангусты с рифа — одно блюдо вкуснее другого. Подают свинью. Как и все свиньи на Сан-Андресе, она выкормлена на кокосовых орехах. Она зажарена целиком и начинена бататом. Советую попробовать.

Преисполненный благодарности, предлагаю им свое объяснение, почему Моргану всегда удавалось без труда

набрать команду, когда он отправлялся на материк драться с испанцами. Выждав, когда на Сан-Андресе устроят пир, он созывал на берегу всех пиратов Порт-Ройала и говорил им: «Чуете, какой запах несет бриз? Туда мы и пойдём». И буканиры наперебой кричали, что готовы идти за половинное жалованье.

Островитяне дружно хохочут, а одна из тетушек подкладывает мне особенно вкусный, поджаристый кусок поросенка.

Наконец все сыты. Даже молодые не в силах сейчас танцевать. Требуют, чтобы Карола рассказала сказку.

У стройной Каролы кожа цвета молочного шоколада, большие лукавые черные глаза. Она похожа на африканскую жрицу, но это не коварная мамалои или обеа, а сказочница и пророчица. Голос у нее густой, как ночь под пальмами.

— Все, конечно, помнят старого Томми, Тома Хайнса, который жил на Саут-Энд. Я о нем расскажу. Когда Томми не ловил рыбу, он обычно искал пиратский клад. Знаете, конечно, тот самый клад, который ль'Оллоне зарыл еще во времена Генри Моргана, до того как вернулись испанцы.

Черные головы дружно кивают. Генри Морган — главный герой местных преданий. За ним уже следуют другие пираты: Гропьер и Пти-Пьер, ль'Оллоне, Калико-Джек, Мануэль Португалец, Эд Хоукинс, Голландец Клаас и прочие.

— Было известно, что ль'Оллоне зарыл свой клад на одном из маленьких островков. Да поди угадай на каком. Уж Томми и искал, и копал, и ходил к обеа — все без толку. Но вот как-то ночью, когда он ловил кингфишей и испанскую макрель, он увидел на Саут-Уэст-Кей какой-то странный свет. Сперва он опешил. Кто бы это мог туда забраться? Двадцать пять миль от населенных островов, а черепах промыслять еще рано. И тут он вспомнил, что ему говорил один старый обеа: «Раз в сто лет но-

чью над зарытым кладом появляется зарево, но только на один час».

И Томми отправился прямо на Саут-Уэст-Кей. Сами знаете, там два островка, так зарево было над восточным. Только кетбот Томми вошел в проход в рифе, как таинственный свет погас. Хоть домой возвращайся! Но Томми не хотелось идти обратно без улова, и задумал он дожждаться утра и наловить летучей рыбы для наживки, чтобы на обратном пути попробовать поймать кингфиша. Он сошел на берег, только не на том острове, где зарево видел, а на втором, где есть питьевая вода. Привязал лодку и лег спать.

Немного погодя он проснулся, а может быть, и не проснулся. И видит: рядом с ним стоит человек в широких штанах, в башмаках с серебряной пряжкой, голова обвязана красным шелковым платком. На плече висит тесак, за поясом торчат два длинных кремневых пистолета. Томми сразу смекнул, что это не настоящий человек, а привидение, дух какого-нибудь старого буканира. И он не стал с ним заговаривать, лежит, не двигается, глядит на диво это.

«Ты давно ищешь меня, Том Хайнс, — сказало тут привидение. — До клада моего хочешь добраться!»

И расхохоталось, да так, что у Тома кровь в жилах застыла.

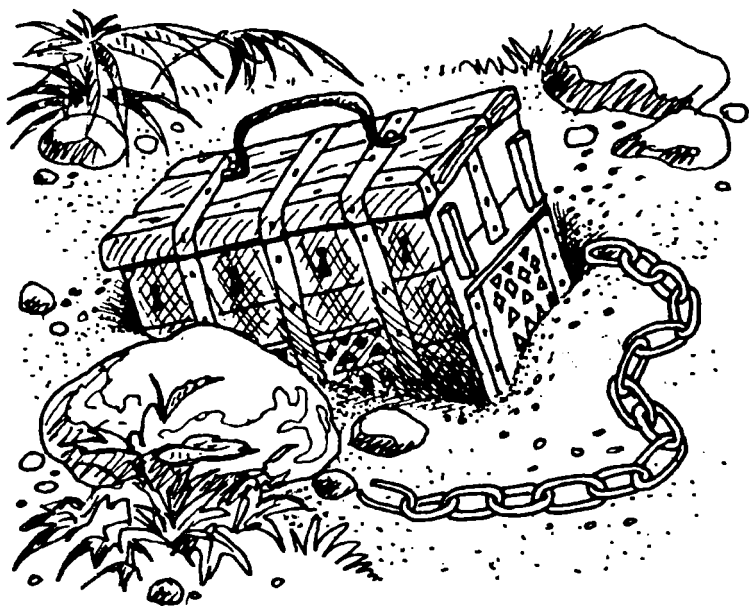
«Ладно, будь по-твоему, — продолжало привидение. — Только сперва я тебе кое-что скажу. Перед тем как ль'Оллоне пришел сюда, он собрал разбойную дань по всему побережью, да мы еще захватили несколько испанских кораблей. Хотел он идти на Ямайку, да услышал, что туда же собираются Морган и Мансфельд, а с ними ему встречаться было не с руки. Поставил тогда ль'Оллоне команде две бочки рому, а как все перепились, и говорит мне: «Ну, матросик, теперь нам на берег надо». Надо так надо, я всегда был его самым близким товарищем, или матлотом, как мы говорили. Подошли

на лодке к берегу, вон к тому островку, и вынесли из нее два сундука. Сундуки небольшие, да тяжелые. Ль'Олло-не еще посмеялся: «Ну, матлот, теперь наша с тобой старость обеспечена».

Мы закопали сундуки, положили сверху плоский камень и засыпали его песком. Потом я опустился на колени и все заровнял, чтоб не осталось следа. Но место показалось мне ненадежным, и я сказал: «Нам бы сюда какого-нибудь сторожа». — «Это уж ты на себя возьмишь, матлот. Сторожи триста лет, коли я раньше не вернусь», — сказал ль'Олло-не, этот негодяй, и ударил меня по голове лопатой. Потом зарыл меня рядом и вернулся на корабль».

Томми продолжал молча глядеть на привидение.

«Да, сэр, нехорошо он поступил, — заговорил он наконец. — Выходит, вы давно тут сторожите... — И доба-



вил, чтобы задобрить привидение: — Должно быть, вы здорово устали, господин капитан?»

«Устал, — подтвердило привидение. — Триста лет истекают сегодня ночью, кончается моя служба, только бы кто-нибудь пришел за золотом. Хорошо, что ты приметил зарево, Том Хайнс».

«А что это за зарево, ваша честь?» — спросил Том.

«Да так, чуток адского пламени, — ответило привидение. — Пустяки. А теперь послушай-ка лучше мое наставление, чтобы никакой дуппи не заморочил тебе голову, когда ты станешь поднимать сундуки».

Как Томми услышал про дуппи, так и затрясся словно осиновый лист. Ведь злые духи, они в разном облике являються. Наперед не угадаешь, что они тебе подстроят. Больше всего Томми хотелось прыгнуть в лодку и плыть домой, но он боялся рассердить привидение. Лучше уж не показывать виду.

Томми сел и подпер подбородок ладонями, чтобы дух пирата не слышал, как у него стучат зубы.

А привидение спрашивает, нет ли у Томми с собой серебряных монет. Как же, есть — три старинных полпесо из чистого серебра. И нож у него был с собой, а больше ничего и не требовалось.

И стало привидение объяснять, что надо делать. Когда Томми все выслушал до конца, его курчавые волосы выпрямились и стали дыбом: вот как страшно все это было. И ведь ничего не поделаешь, надо выполнять приказ.

«Помни, что бы ни случилось, не говори ни слова, даже со мной не заговаривай. И не поворачивайся к дуппи спиной! — закончил пират свои наставления и выдохнул из уголков рта голубые языки серного пламени. — Все ясно, Том Хайнс? Тогда вставай, поедem на тот остров!»

Поехали. Томми греб, сторож клада рулил. Жутко было видеть румпель сквозь сжатый кулак привидения, но

Томми вроде бы освоился и молча работал веслами, пока под килем не заскрипел песок.

«Дальше один действуй», — сказала привидение и стало совсем прозрачным, а потом и вовсе растаяло в лунном свете, будто голубой дымок.

Томми вылез из лодки и пошел по острову. Дойдя до песчаной площадки между старыми выветренными глыбами коралла, он остановился и принялся копать веслом.

«Ты меня ищешь? — спросил вдруг страшный голос, и прямо перед ним появилась свернувшаяся кольцом большая черная змея. — Если я могу чем помочь, ты только скажи!»

Обливаясь холодным потом, Томми молча продолжал копать. Змея превратилась в черного петуха и убежала в заросли. Тотчас же раздался дикий лай, и прямо на кладоискателя бросилась огромная черная собака с горящими глазами и красным, как раскаленный уголь, языком. Томми, не говоря ни слова, вытащил нож и положил на песок, рукояткой к чудищу, острием к себе. Собака пропала, и тут же весло уперлось во что-то твердое. Смотрит Томми: каменная плита, как и говорило привидение. Томми приподнял ее. Вниз, в глубокую черную яму, спускалась ржавая железная цепь. Томми взялся за нее и потянул. Вдруг что-то как дернет, он чуть не упал в яму.

Будешь мерить мои стены,
Сожру ноги до колена,

— произнес ужасный голос, и какое-то существо, похожее на огромную летучую мышь, стало карабкаться вверх по цепи.

Томми живо сунул руку в карман, достал три серебряные монеты и бросил их вниз. Дуппи исчез, и тащить стало легче. На конце цепи висел сундучок. Уже совсем немного осталось тянуть, как вдруг на берегу раздался

дикий крик. Откуда ни возьмись прямо к Томми бегут какие-то люди. Большинство — моряки. Одеты в лохмотья, но, видно, когда-то это была роскошная одежда. У кого тесак в руке, у кого вымбовка. Были тут и индейцы с Москитного берега. Они размахивали боевыми лицами, утыканными гвоздями и акульими зубами. Последними бежали два скелета с ржавыми мечами в руке.

А возглавлял эту ватагу человек в красном бархатном плаще, расшитом кружевами. В руке он держал большой нож.

«Хватайте чернокожего живым! — закричал ль'Олло-не. — Я сам вырежу его сердце, и будет он сторожить мой клад вместо Дублон-Билля!»

Дальше Томми ничего не слышал. Он выпустил цепь, ногой подвинул плиту на место и побежал так, как в жизни еще не бегал. К счастью, начался прилив, и ему удалось сразу столкнуть лодку в воду. Миг — и он в ней. Гребет так, что только брызги летят. Отошел подальше, поставил фок и грот и сел за руль.

«Эх, и осел же ты, Том Хайнс», — сказал чей-то голос, и перед ним возникло привидение.

«Не спорю, ваша честь, капитан, сэр», — ответил Томми.

«Неужели не смекнул, что это дуппи тебе голову морочили?»

«Может, и так, ваша честь, сэр, — сказал Том. — А только ответьте мне: если бы я дождался всей этой шайки, то был бы я теперь сторожем клада ль'Олло-не? Так, что ли, мистер Дублон-Билль, сэр?»

«Гм, — сказала привидение. — Пожалуй, что так».

«Ну так вот, — задумчиво продолжал Томми. — Конечно, здорово владеть золотым кладом и пускать изо рта серное пламя, но уж вы меня извините, сэр, лучше мне остаться Томом Хайнсом с Саут-Энд, чем быть каким-нибудь дуппи или Дублон-Биллем».

«А если бы ты увез клад домой?»

«Конечно, это было бы здорово, — согласился Томми и глубоко вздохнул. — Но тут спрашивается, кто бы кем владел: я сокровищем или сокровище мной?»

«Справедливый вопрос, — сказала привидение. — Сдается мне, последнее вернее».

«Так что вы уж извините, ваша честь, — заключил Томми, — но я рад, что так вышло».

«У каждого свой вкус, — заметило привидение. — Однако мое увольнение кончилось. Прощай, Томми!»

Тут сторож стал прозрачным и пропал.

«Прощайте, господин капитан, сэр, счастливого пути!» — ответил Том и по звездам пошел на Саут-Энд...

Красивый низкий голос Каролы смолк...

Мы возвращаемся на Сан-Андрес. Ночной ветерок стих. За пальмами на Хайнс-Кей сияет огромная золотистая луна.

ОТВЕРЖЕННЫЙ

Небо на востоке бледнеет. Одна за другой пропадают звезды. Четко, резко проступили очертания деревьев; на западе они еще окутаны мгlistой завесой.

Маленькая белолицая сова уже не кричит «корроко-ту», и летучие мыши возвращаются в свои укрытия. Зато, издавая скрипучие звуки, то попарно, то вереницей летят над лесом амазонские попугаи. Приметят корм, и вереница рассыпается на двойки.

Макушки деревьев еще облеплены гроздьями дремлющих белых цапель, но воздух вокруг них уже свистит, рассекаемый сильными крыльями: стаи мускусных уток, покинув свои ночевки в зарослях, потянулись на болото.

У самого края большого болота пасется маленькое стадо зебу: огромные дымчатые коровы и два еще более

могучих быка с высоким горбом и отвислой губой. Грузные, жирные животные, почти все чистой индийской породы, только немногие из них — помесь со старой испанской породой криольо, которая появилась здесь еще в ту пору, когда на материке основали первые испанские гасиенды.

То одна, то другая корова поднимает голову и глядит добродушными сонными глазами на топкие луга и низкие куши.

Становится все светлее. Гаснут последние звезды, на востоке словно вспыхивает пожар. В воздухе туча голодных птиц, летящих на утреннюю кормежку.

Внезапно старший бык вздрагивает, точно его разбудили. Поднимает голову с короткими, загнутыми назад рогами и втягивает ноздрями воздух. Уши беспокойно шевелятся. Ноги делают несколько быстрых шагов к болоту.



Поодаль, шагах в восьмидесяти, высовывается из травы другая голова. И замирает. Широкая угрюмая кошачья морда с короткими округлыми черными ушами. За ними толстая шея, могучие плечи, длинное пятнистое тело. Кончик хвоста нервно дергается.

Ягуар. Самец в расцвете сил, плотный, тяжелый на вид, но быстрый и опасный. Охотник, созданный для схваток с дикой свиньей и тапиром. Но тапиры и воинственные пекари исчезли с побережья десятки лет назад, когда человек превратил необъятные леса в пастбища.

Желто-зеленые глаза большой кошки изучают одну зебу за другой. В стаде только два теленка, и они жмутся к коровам. Без боя не обойдешься, а зачем лезть на рожон, если можно добыть пищу в другом месте? Да и бык настороже, готов постоять за своих.

А ведь он не мог услышать и учуять ягуара. Его внимание обращено в другую сторону, он смотрит на топь. Вон туда, где сейчас закачалась трава и послышался плеск. Кто-то идет медленно, словно крадучись. Вот только запаха не уловишь: утренний ветерок относит его.

Ягуар чуть повернул голову. Он-то знал, кто это идет. Тихо нырнул в траву и прокрался к колючим зарослям поблизости. Стадо его перестало занимать. Пока. А с тем, кто шагает там через болото, лучше не встречаться.

Из-за высокой травы что-то показалось. Тяжелая светло-коричневая туша, широкая голова с огромными, острием вперед рогами, напоминающими кривые сабли.

Бык. Но бык другой породы — чимаррон. Один из тех дикарей, которые никогда не знали загонов и раскаленного клейма, которые родились и выросли среди неприступных болот, недостижимые для сыромятных лассо вакеро, не ведая никакого хозяина, не ведая вообще человека.

Помесь криольо и испанского торо. Отверженный.

И вот теперь чимаррон решил — если это было решением, а не зовом дикого, неосознанного инстинкта — покинуть болотные заросли, выйти на луг.

Их немного, этих чимарронов, и среди них преобладают быки. Коровы же почти все рано или поздно примыкают к стаду какой-нибудь гасиенды, а там быки — или зебу, или наполовину зебу. Эта порода по душе владельцам гасиенд. Она более скороспелая, ростом и весом превосходит чистокровных криольо. И нравом зебу добродушнее, миролюбивее; за ними проще присматривать.

Каждый старался для своих коров закупить чистопородных привозных быков. Молодых бычков, в которых преобладали черты криольо и торо, кастрировали. Как только они подрастали и нагуливали жир, их отправляли на бойню.

Чимарроны не собирались в стада. Иногда старый бык водил с собой двух-трех коров с телятами, но чаще они ходили парами, а то и поодиночке.

У светло-коричневого чимаррона была корова породы криольо, прыткая, как олень. Несколько недель назад она пропала, и он не сразу нашел ее, вернее, то, что от нее осталось. Ее задрал ягуар, а грифы потом подчистили остатки обеда большой кошки.

И зажил бык один среди болот. Он становился все беспокойнее, все злее. Голос крови звал его. В конце концов он не устоял.

Подойдя к краю болота, чимаррон уловил густой запах и направился к стаду. Но не в открытую, а осторожно, крадучись, как его приучила жизнь.

Вот они, его родичи, совсем близко.

Чимаррон останавливается за последним рядом высоких, в рост человека, камышей. Вытягивает голову, нюхает. И ступает на кочковатый общипанный луг. Свиный, со сверкающими глазами, весь в пятнах от болот-

ной воды и ила, длинные острые рога блестят в лучах утреннего солнца.

Зебу медленно пошел ему навстречу, пытливо, чуть удивленно рассматривая пришельца. Чужак на его лугу — это само по себе не страшно. Важно другое: кто он, этот чужак. Надо проверить. А потом, может быть, и принять в стадо, если он не станет оспаривать его главенство.

Чимаррон словно окаменел, только хвост извивается, как у разъяренного льва. Голова светло-коричневого быка медленно наклоняется, рога изготовлены к бою.

Дымчатый великан делает еще несколько шагов, разбрызгивая грязную жижу. Широкие копыта глубоко уходят в вязкую глину, она жадно всасывает их и нехотя выпускает. Вот он поднял голову и замычал.

Ответ следует незамедлительно: раздается исступленный рев, яростный вызов. Секунду-другую дикий бык смотрит горящими глазами на вожака, потом поддевает рогами кочку и выворачивает ее из земли. Несколько влажных травинок прилипло к рогу. Передние ноги топчутся на месте. На фыркающей морде вздуваются пузырьки пены.

Зебу стоит неподвижно, как бы недоумевая. Неужели кто-то смеет восстать, оспорить его власть? Это что-то новое, необычное, трудно постижимое для его неповоротливого мозга.

Мало-помалу недоумение уступает место глухой ярости. Он никогда еще не бился — не было нужды. Но... если этот чужак думает, что может все себе позволить, придется его проучить.

Угрожающе мыча, зебу сделал шаг, другой, третий, все быстрее и быстрее, наклонил голову и ринулся вперед, будто живой таран, три четверти тонны могучей силы.

Дикий бык встретил его на полпути. Лбы ударились так, что оба быка осели. Дымчатый был намного тяже-

лее, светло-коричневый — расторопнее. Зебу привык сражаться бесхитростно: кто кого столкнет, кто сильнее надавит. Но у чимаррона были свои приемы.

Внезапно он отскочил в сторону, мотнул шеей и головой, и острый рог вонзился в грудь противника, возле самой ключицы.

Зебу вскинул голову и фыркнул от удивления и боли. Потом тяжело повернулся, опустил низко морду и сделал выпад своими короткими, загнутыми назад рогами.

Но чимаррон уже на шаг отступил, и когда голова зебу взмыла вверх, не задев цели, он бросился вперед. Снова острие рога пропороло дымчатую шкуру. Из раны хлынула кровь — алая, пенистая.

Домашний бык, мотая рогами, шел вперед, искал лоб противника, чтобы сломить, побороть врага. Он вошел в раж: теперь все, теперь драться, пока кто-то из них не падет. Жаркое дыхание вырывалось из глотки дымчатого, и в горячке он даже не почувствовал нового удара в лопатку.

А коровы паслись как ни в чем не бывало. Когда прозвучал вызов, они лишь на миг оторвались от травы, но вообще-то схватка быков их мало волновала. Один из двух победит и будет вожаком. Он сильнее, значит, так и должно быть.

Только молодняк не сводил с бойцов больших удивленных глаз. Один из выпадов зебу чуть не положил конец схватке. На голове чимаррона сбоку зияла рваная рана. Но и у самого вожака в пяти-шести местах струилась кровь. До сих пор ему не удалось схватиться с противником по-настоящему, лоб в лоб. Всякий раз дикий бык успевал отклониться в сторону, всякий раз вожака встречал острый рог, а не голова, которую можно было бы пригнуть, вдавить в землю и затоптать ногами.

Из дымчатого зебу стал пятнистым, кровь перемеша-

лась с илом и глиной. Но ярость и ожесточение не ослабевали. Опустив голову, выгнув спину, он пошел вперед, словно танк. Сейчас столкнутся... Рывок!

И опять в последний миг дикий бык уклонился от удара и сбоку вонзил рог прямо в незащищенную шею зебу.

Оба словно окаменели, превратились в изваяния. Сердце, могучие мышцы — все напряжено до предела. Бойцы напирали, давили, гнули... Казалось, еще немного — и тяжелый зебу сомнет, опрокинет врага. И тут что-то парализовало жоака, отняло у него всю силу.

Задние ноги еще упирались в землю, но большая светлая голова задралась кверху, пасть открылась, и раздалось мычание, которое перешло в хрип. Лоб чимаррона медленно опускался вдоль шеи зебу. Вот уперся в грудь и давит, давит... Чавкнула глина, выпуская передние копыта зебу. Они бессильно повисли в воздухе, а из пропоротой глотки толчками била кровь.

Еще одно невероятное усилие — и чимаррон опрокинул противника навзничь в жидкую грязь. Потом отошел на несколько шагов назад, не спуская глаз с врага, и снова опустил окровавленные рога. Выжидал.

С минуту зебу лежал неподвижно. Наконец поднял морду к небу, и из вздымающейся грудной клетки вырвался странный, сдавленный звук. Наверное, так разрывается сердце.

Голова быка медленно упала набок, в болотную воду.

Высоко в небе королевский гриф подобрал свои могучие крылья и пошел сужающимися кругами вниз к краю болота.

Красноголовый гриф-индейка издали заметил маневр королевского грифа и взял курс на макушку дерева, стоящего в полусотне метров от места схватки. Когда насытится королевский, наступит час красноголовых, а за ними черных грифов. Вон они, красноголовые и черноголовые, уже слетаются со всех сторон. А на болоте ждут

своей очереди каракары. Они парии, последние в табели о рангах истребителей падали. Их пир начнется лишь после того, как грифы возьмут свое.

Лежа на толстом суку покосившегося дерева клаво, ягуар холодными кошачьими глазами следил за умирающим быком. Вот уйдет чимаррон, тогда он разгонит шайку грифов и устроит пир.

Наконец голова зебу совсем скрылась под водой, и дикий бык повернулся спиной к поверженному врагу. Громко сопя, он подошел к пасущимся коровам и обнюхал каждую. Ни одна из них не могла принять его сейчас, но было ясно, что они безропотно и равнодушно признают нового вожака, как признают день, солнечный свет, пастбище.

Молодой бык вытянул голову, с интересом глядя на чимаррона, но когда тот пошел на него, отступил. Он бы хотел биться, он боялся этого коричневого, который одолел их вожака. И молодой бык ушел на самый край луга.

Утвердив свою власть, чимаррон направился к бочагу у опушки и по самую холку вошел в теплую мутную воду, чтобы смыть с себя острый запах крови.

Потом, уже чистый, вернулся на луг и принялся щипать траву. Иногда поднимал голову, прислушиваясь, принимаясь. Ведь он теперь вожак — сторож и защитник.

Солнце начало припекать. Два аиста опустились на дерево на островке посреди болота, где хорошо прижились сейбы. С рисовых плантаций у деревни вернулись стаи древесных уток.

Грифам-индейкам было тесно на туше быка, которая бурым утесом торчала над илистой лужей. Королевские грифы, самые крупные, самые сильные, уже насытились и дремали на деревьях. После индюшачьих явятся черные грифы, потом каракары, коршуны.

Дикий бык недовольно взглянул на спорящих гри-

фов. Лучше уйти отсюда, увести стадо в свое дикое царство, туда, на большое болото. Что-то говорило ему: здесь не надо оставаться. Он чуял опасность, приближение беды. А жирные, гладкие, ленивые коровы ничуть не беспокоились. Пощипывая траву, они отошли шагов на двести, чтобы не чувствовать запаха крови павшего быка. Их никуда не влекло: ведь здесь есть и вода, и вдоволь густой, сочной травы.

Но чимаррон был настойчив. Сперва он попытался заманить коров, чтобы они шли за ним; когда же это не помогло, потерял терпение и стал подгонять их. И коровы подчинились: ведь он вожак. Но шли не торопясь, без всякой охоты, то и дело останавливаясь пощипать травы.

Он опять подгонял их, и они вяло, безразлично делали ровно столько шагов, сколько требовал вожак.

К одиннадцати часам стало совсем жарко, и все замерло. К этому времени стадо успело пройти в глубь болота километра полтора.

Трое ехали верхом по узкой тропе через мангровые заросли, и, спугнутые стуком копыт, полчища крабов боком-боком улепetyвали в свои норки.

Трое в изношенных рубашках и защитного цвета брюках, шеи обвязаны большими пестрыми платками, на черных волосах — широкополые шляпы из пальмового луба. Поджарые, привычные к седлу, истинные вакеро. Кони маленькие, сильные, быстрые; седла потертые, с высокими луками, на которых висят сыромятные ремни. У бригадира Франсиско Велеса сзади к седлу привязаны клейма.

— В общем-то работа вакеро ничего, если бы не надо было загонять и клеймить скот, — сказал Хосе Мартинес и плюнул, метя в краба. — От зари до зари болтаешься в седле, даже и не поешь как надо. Да еще дерись из-за телят со злыми коровами.

Мариано Карденас сдвинул шляпу на затылок и вытер рукавом потный лоб. Горец из Фредонии в Центральных Андах, он хуже переносил жару, чем эти флегматичные жители приморья. Говорил быстрее их, но внятнее, не глотал последние звуки в длинных словах.

— И ты еще жалуешься, Пепесито, — презрительно протянул он. — Да здесь скотинке и спрятаться негде. И эти зебу такие уж жирные и ленивые, с ними никаких хлопот. Вот был бы ты с нами в Чимитарре, когда мы перегоняли быков из гасиенд за Каукой в Медельин на большую корриду! Там в седле не задремлешь, живо напорешься брюхом на рог.

— Будешь спать в седле, долго у дона Виктора не послужишь, — вмешался Франсиско. — И что может знать о скоте качако¹ вроде тебя. У вас же там одни криольо, мелочь, они такие ручные, что хоть в переметную суму клади.

— Верно, жиру в них меньше, чем в зебу, — неохотно признался Мариано. — Но зато они куда прытче будут. Не надо лома, чтобы их с места сдвинуть. А быки — настоящие бойцы. Посмотрели бы вы, костеньос², нашу коррида де торос в Медельине или Фредонии. Там такие быки есть: трижды подкинут нерасторопного бандерильеро. Не уймутся, пока им шпагу в загривок не воткнут. Здесь я еще ни одной бодливой скотинки не видел, а когда в Толу или Синселехо изображают корриду, то не шпагами, а палками бьются. Палками!

Горец буквально выплюнул это слово, смачно, как грубейшую брань.

Франсиско не сумел дать отпор, но старик Хосе обнажил в улыбке беззубые десны.

— погоди болтать, парень, покуда не встретил чимарона, — сказал он. — Тут уж не шпага — винтовка нужна,

¹ Качако — шутовское наименование горцев. — *Прим. пер.*

² Костеньос — жители приморья. — *Прим. пер.*

самая наиновейшая, с оболочечной пулей. Старый чимаррон опаснее злого ягуара.

— Когда увижу, тогда поверю, — ответил Мариано. Потом повернулся к Франсиско и спросил: — Что, начальник, скоро доберемся?

Бригадир указал на просвет в манграх впереди:

— Вон там будет бугор с хорошей травой. Большое болото — за ним.

На бугре они придержали лошадей и осмотрелись. Первым заметил грифов Хосе.

— Не иначе ягуар телку зарезал, — сказал он.

Франсиско молча кивнул. Потом показал на широкую полосу следов, которая через луг уходила в болотный лес.

— Что это на них нашло? С чего они туда подались? Ну-ка, вы скачите за ними, гоните их с болота, а я погляжу, чем там угощается эта дрянь.

Бок о бок Хосе и Мариано по следам стада выехали на болото. Через несколько сот метров они остановились, чтобы разобраться в следах: здесь коровы разошлись в разные стороны. Вдруг сзади послышался крик. Франсиско спешил к ним.

— Там большой бык лежит, привозной, — сказал он хриплым от ярости голосом. — Чимаррон забодал его и увел коров. Если мы их не повернем, дон Виктор выгонит нас без разговоров. Он за этого быка две тысячи долларов отдал. Долларов! Это будет семнадцать тысяч песо, я сам слышал.

Его товарищи ахнули. Что и говорить, сумма: пятнадцать годовых жалований любого из них. Они молча кивнули и пришпорили лошадей.

Коровы и молодняк отдыхали в тени низких корявых деревьев, а бурый бык, стоя по колено в воде, смотрел туда, откуда они пришли, и широкими ноздрями втягивал воздух. Тревога не покидала его, и ему было не до отдыха.

Вот несколько цапель с криком поднялись над краем болота и, плавно взмахивая крыльями, полетели прочь. А паламедея, сидящая на макушке дерева, вытянула длинную шею и криком предупредила об опасности своего супруга, который примостился на другом дереве метрах в двухстах от нее. Звонко и тревожно прозвучало: «Чавари, чавари!»

В следующий миг чимаррон различил вдали три фигурки. Они пропадали то за деревьями, то за высокой травой или зарослями латы — колючих карликовых пальм, но всякий раз появлялись опять, все ближе и ближе.

Теперь уже видно: всадники. И диким быком овладел страх, страх пропитал все клеточки его тела.

В своем обширном болотном царстве он не знал врагов, которых надо было бы остерегаться. Конечно, здесь бродят ягуары, а в больших озерах есть крокодилы, но старому испытанному бойцу они не страшны, их боится разве что молодняк. К быку они не сунутся.

Соперники есть все-таки: другие дикие быки. Но их он тоже не боялся. С тех пор как чимаррон вошел в полную силу, он еще ни одного поединка не проиграл.

Иное дело человек. Вид людей наполнял его страхом. Он не хотел мириться с этим чувством, и оно всегда соседствовало в нем со слепой, буйной яростью. Может быть, именно потому, что чимаррон был потомком домашних животных, ушедших из-под власти двуногих, один вид человека, даже запах его наполнял быка ужасом и ненавистью.

Если в топи заходил охотник, бык скрывался в густых зарослях и стоял там начеку, готовый идти в атаку или бежать.

Пока что человек ни разу не оказывался так близко, чтобы пришлось выбирать. Да и можно ли тут говорить о сознательном выборе? Скорее смутный инстинкт заставил бы его либо обратиться в паническое бегство, либо броситься в яростную атаку.

Чимаррон басистым мычанием позвал отдыхающее стадо: восемь коров, пять телок и два теленка. Молодой бык часа два назад покинул их, побрел один обратно на пастбище. Вожак не возражал, лишь бы коровы и телки не потянулись туда же.

Подчиняясь его зову, коровы неохотно встали. Жарко... А здесь тень, вода так приятно освежает. Травы вдоль, зачем куда-то тащиться?

Но вожак распоряжается. Хочешь не хочешь, надо подчиняться. И зебу лениво, апатично побрели дальше, в глубь топей, к диким манграм вокруг озер, где ни коню, ни человеку не пройти за ними.

Очень уж медленно они шли, и всадники их настигали. Конечно, вода и вязкая глина тормозили малорослых лошадок, но в общем-то они двигались довольно быстро. Особенно белый Брильосо. Франсиско даже придерживал его, чтобы поспевали светлый паломино Мариано и гнедая кобылка Хосе.

Вакеро пошли в обход. Старый опытный Хосе свернул вправо, остальные двое — влево, причем Франсиско ехал с краю.

Дикий бык видел, как они приблизились, как разделились. Он угадывал, что это значит. И его охватил ужас. Какое-то внутреннее чувство властно повелевало бежать, бежать и скрыться, подальше от этих двуногих. Но другой инстинкт, еще более сильный, запрещал покидать только что отвоеванных коров, которые лениво шагали в его царство.

Вакеро обогнали коров, когда те проходили через мангровую рощицу. Хосе приподнялся в стременах, чтобы сориентироваться; сто пятьдесят метров отделяло его от стада. С другого фланга, метрах в ста от коров, Мариано повернул свою лошадь и поехал им наперерез как раз в тот миг, когда из-за кустов показалась пепельная голова первой зебу.

Горец пришпорил своего паломино, раскрутил над

головой сыромятное лассо и двинулся навстречу стаду. Франсиско издали крикнул ему, чтобы он подождал, но Мариано не слышал: плеск воды под копытами и шелест травы все заглушили.

Чимаррон насторожился, замер на месте, словно окаменел; голова чуть опущена, уши направлены вперед, ноздри расширены. Мало-помалу страх переплавлялся в ярость. Стоя за густым низким кустарником, он переводил злобный взгляд с одного всадника на другого, прикидывая расстояние.

Корова вышла шагов на пять из мангров и остановилась, равнодушно глядя на вакеро. Всадники ее не пугали: старые знакомые. Конечно, они иной раз докучают, гоняют тебя с одного места на другое. Но на новом месте всегда оказывается сочная трава и вдоволь воды, а иногда еще и деревянное корыто с солью. Вкусная соль. Всадников надо слушаться.

Она лениво повернулась и, минуя мангры, зашагала обратно, к краю болота. Вторая корова, выйдя из-за деревьев, последовала ее примеру, третья, с теленком, прямо с опушки пошла назад по собственным следам. Две телки постояли, пофыркали и тоже побрели обратно.

И никто из них даже не взглянул на быка. Они привыкли к тому, что и вожак — в первую очередь вожак — покоряется человеку.

Мариано погнал коров, покрикивая и размахивая лассо. Если хорошенько подогнать их, они метров двести пройдут не останавливаясь, а он за это время направит туда же остальных. Пусть увидят эти приморские жители, что горец один может справиться с таким пустяком. Правда, быка что-то не видно, да это неважно. Все-то они преувеличивают; не может чимаррон быть таким опасным. Что он, быков не видел? Пока пикадор не раздражит их, они с места не сдвинутся. Эгей, коровки, живее топайте!

Дикий бык, выжидая, стоял за мангровой стеной. Он видел, как часть его стада повернула назад, а часть осталась в нерешительности. Жаркий гнев распался быка. Всего шестнадцать шагов отделяло его от всадника, когда тот придержал лошадь, чтобы не наехать на коров.

Хриплый короткий рев... Чимаррон вырвался из зарослей и бросился прямо на человека, который задумал угнать его самок. Готовый все сокрушить на своем пути, бык, словно африканский буйвол, мчался вперед с опущенной головой и всевидящими глазами. Первозданная мощь, лавина беспощадной ярости.

Мариано хотел повернуть лошадь. Ее копыта разъехали в жидкой грязи, ноги подкосились, и не успела она развернуться, как рога и лоб быка ударили ей в брюхо, подняли и бросили наземь. И всадник оказался придавленным быющей, брыкающейся лошадью, которая тонко ржала в смертельном страхе перед рогами и топчущими ногами быка.

Человек тоже вскрикнул. Один раз. И смолк.

Хлопнул выстрел, второй, третий. С ревом бык обернулся и ринулся на Франсиско, который припал к шее своего коня, держа в руке дымящийся револьвер. Брильосо отскочил в сторону так прытко, что менее искусный всадник вылетел бы из седла. Бык промчался мимо и тяжело развернулся для новой атаки. В это время четвертая пуля задела его голову.

Вперед, на врага... Но Брильосо не первый раз встречался с быками, он вовремя уклонился.

Короткая тщетная погоня показала чимаррону, что конь и всадник неуловимы.

Он остановился и затряс головой, разбрызгивая алые капли. Острая боль в холке, правая лопатка будто онемела... Временами мутится в глазах... А всадник, остановив коня в шестидесяти шагах от него, перезаряжал барабан.

Вот поднял руку, прицелился... Бык медленно повер-

нул голову. Вереница дымчатых коров уходила, покидала болото, возвращаясь на старое пастбище. Их подгонял человек на гнедой лошади.

Могучая туша вздрогнула. Бык долго смотрел вслед уходящим. И опять перевел взгляд на своего врага.

Франсиско сидел неподвижно, как изваяние, не спуская глаз с чимаррона. Конечно, можно выстрелить, но ведь самодельные свинцовые пули из его старого револьвера тридцать второго калибра здесь бесильны. Осталось пять штук. Лучше приберечь их для самого крайнего случая: если придется стрелять в упор.

Долго они мерили друг друга взглядом, не двигаясь с места. Наконец человек заставил коня сделать несколько шагов назад. Медленно, не выказывая страха.

Бык продолжал стоять, но что-то в его позе переменилось. Казалось, напряжение покинуло его. Массивная голова наклонилась к земле, он принюхался, фыркнул. Вдруг повернулся к всаднику спиной и побрел в свое царство среди топей.

...Через четверть часа Франсиско достиг края болота. Мариано безжизненно лежал поперек его седла, голова и ноги свесились в траву. Содержимое его карманов, завернутое в носовой платок, убрано в переметную суму бригадира. Хозяин перешлет в Фредонию.

Первый красноголовый гриф спикировал на светлую лошадку, которая осталась лежать в воде у мангровой роши.

Багровый шар солнца принимал верхушки деревьев. Кругом летали стаи уток, цапли длинными вереницами потянулись к своим ночным убежищам. Из травы с хриплым криком поднялась выпь.

В самом сердце большого болота простерлось тихое озеро, окаймленное илистым валом и низкими замшелыми деревцами. Из воды там и здесь торчали мертвые

узловатые суки. На одном из них, глядя на воду бесстрастным желтым глазом, стояла великолепная белая цапля.

Что-то хрустнуло в зарослях. Темное шишковатое полено на берегу вдруг ожило, и над илом поднялась длиннордая крокодиля голова. Мелькнуло желтое брюхо — это рептилия дернула хвостом, подвигаясь ближе к воде.

Зеленый с желтыми пятнами удав прижался плотнее к шершавой коре старого мангрового дерева.

Снова хруст, совсем близко. На другом берегу ягуар, пришедший на водопой, живо юркнул обратно в кусты. Цапля тяжело взмахнула крыльями и перелетела на другое дерево.

Что-то темное показалось между деревьями. Дикий бык вышел на береговой вал и устало спустился к воде. Крокодил ручейком влился в озеро, на миг пропал, потом метрах в десяти от берега показались его глаза и ноздри.

Чимаррон окунул морду в воду и, словно нехотя, принялся пить. На холке, шее и лопатке лепешками запеклась черная кровь, и он двигался так, будто у него не гнулась правая передняя нога. Медленно поднял голову, обвел взглядом озеро. И замычал. Это был странный звук, исполненный одиночества... Прислушался. Ответа не было.

На секунду щелочки зрачков зеленых крокодилях глаз остановились на нем, точно в раздумье. Потом голова рептилии ушла под воду.

А бык, понурившись, все стоял на валу, недвижимый, как утес.

СКАЗАНИЕ О СЫНЕ СОЛНЦА

— Солнце уже состарилось, — сказал мой проводник. Я молча кивнул. Говорить не мог: воздуха не хватало. С самого рассвета мы идем вверх, все время вверх к

суровым парамос Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Рассказывают, будто там, где начинаются снежники, есть водоемы с рыбами, о которых наука почти ничего не знает. Туда-то мы и идем.

Накануне нам пришлось оставить мулов. Так называемая дорога кончилась, и даже крепконогие длинноухие мулы не могли дальше нести нашу поклажу.

А мы двое — индеец Фроилан из племени коги и я — можем. Правда, основной груз тащит Фроилан.

Вот он оперся ношей о камень, снял со лба ремень и сел. Сбрасываю рюкзак, прислоняю ружье к скале и вытягиваю ноги, чтобы дать им отдых после долгого перехода. Из грудного кармашка достаю две сигары; отдышавшись, закуриваю одну. Вторую получает Фроилан. Он крошит ее, набивает табаком свою трубку и с наслаждением затягивается.

— Верно говорю, солнце состарилось, — повторяет он.

— Сильно состарилось, — подтверждаю я, шурясь на солнечный круг, который здесь, выше облаков, кажется светлее и ярче. И добавляю: — Но вроде бы еще не устало.

— А ты приглядишь, видишь: остановилось. До самой середины неба дошло, здесь оно всегда отдыхает.

Вблизи экватора в полдень трудно приметить движение солнца, и коги не единственные жители тропических гор, которые верят, что в зените оно на время останавливается.

Зато к вечеру так и кажется, будто солнце падает, особенно на море.

— Оно сейчас, как и мы, присело передохнуть, — объясняет Фроилан. — Пожует коку, возьмет свою корзину и пойдет дальше, а последний кусок до стойбища чуть не бегом бежит.

— Может, к жене спешит? — спрашиваю я неуверенно.

— У Солнца много жен, как и положено такому могущественному вождю, — отвечал старик. — Тут тебе и Бе-

лый Ягуар, и Красный Ягуар, и Голубой Ягуар, и Пляшущий Краб, и другие еще есть. Да, у Солнца хватает забот и хлопот, не смотри, что оно такое могучее. Взять хоть тот случай, когда оно надумало делить между людьми все сокровища...

Фроилан смолкает и глядит на меня: не перебью, не стану расспрашивать? Тогда он замкнется, как устрица, и уж из него клещами слова не вытащишь. Но я немного знаю индейцев — с этим стариком не первую неделю знаком, а в других племенах жил годами — и не спешу высказывать. Выдохнув длинную струю дыма, старик продолжает:

— Солнце и другие Владыки порешили разделить между людьми все сокровища на свете. И послали сказать индейцам, белым и неграм, чтобы те в такой-то вечер перед закатом пришли в одно священное место: мол, там и начнется дележ, как только Солнце вернется домой. Все сами будут выбирать по очереди, кто что хочет.

Пришли индейцы — коги, ика, чимила, гуахиро и все остальные племена, пришли белые; только негры запаздывали. Долго их ждали, уже поздно, а их все нет. Тогда Владыки рассердились и начали дележ.

Сперва кукуруза появилась.

— Это нам, — сказали индейцы.

Потом пшеница идет.

— А это нам, — сказали белые.

Так и продолжали. Белым достался сахарный тростник, индейцам — стрелолист. Белым — апельсин и кофе, индейцам — гуаява и какао. Словом, все по справедливости.

А время-то позднее, и стало индейцев в сон клонить. Они привыкли рано ложиться. Белые сидят себе, пьют кофе и курят сигареты, сон прогоняют, а индейцы зевают, носом клюют, глаза у них слипаются.

¹ Альдебаран, Сириус, Плеяды, Бетельгейзе. — *Прим. пер.*

Тут лошадь появилась.

— Это нам, — сказали бледнолицые.

За лошадью мул идет. Белые ждут, что скажут индейцы, а те знай себе посапывают.

— Тогда и мул тоже наш, — сказали белые.

Точно так же получилось с овцой, коровой, козой, огурцами, канталупской дыней, морковью и другим добром. Все белым досталось, потому что индейцы спали.

Забрезжило утро. И тут белые устали, ни кофе, ни сигареты им уже не помогали, и они уснули. А индейцы как раз выспались и проснулись.

Идет батат.

— Это нам, — сказали индейцы.

И маниок, оку, пальму чонтадууро, коку, кинуа — все это индейцы получили.

Наконец, когда день был уже в разгаре, смотрят: негры бегут. Ну, им уж что осталось: осел, арбуз, ямс, манганга, еще кое-что. Это чернокожим отдали.

А Солнце-бог недоволен.

— Не по справедливости вышло, — говорит. — Хотя вообще-то люди сами виноваты. Не пришел вовремя или не смог сон одолеть, когда решались важные дела, пеняй на себя. Ладно, пусть так и остается.

И выходит, что и у Солнца есть свои заботы.

Фроилан снова испытующе поглядывает на меня.

— Это верно, конечно, — соглашаюсь я. — Вон оно какое старое, как тут не быть заботам.

— Или взять хоть беду, которая приключилась с Утренней Звездой... — Старик опять набил свою длинную трубку, раскурил ее и продолжал: — Когда-то, давным-давно, когда мир только что появился, у Солнца был сын. Не помню уж точно, от какой из его жен, кажется от Белого Ягуара.

Ну вот, вырос этот сын и стал таким красавцем, что все юные звездные девы заглядывались на него, каждая мечтала стать его женой. Но он был беспутный, все о

приключениях думал, как и многие молодые люди. Больше всего охотиться любил. А отец его предупредил: мол, охоться где угодно, только на юго-восток не ходи. Но он не выдержал, все равно однажды пошел туда, в большие леса под Кататумбо, где всякая нечисть водится.

Пришел он, перед ним дебри — густые, темные, душные, а на самой опушке пасется прекрасная лань. Он — за копые и стал к ней подкрадываться. Лань его вроде бы и не заметила, а все-таки отступает, отступает в лес, и никак он не может подойти к ней так близко, чтобы бросить копые. Сын Солнца не хотел сдаваться, шел за нею, и очутились они под сплошным сводом ветвей, сквозь который никогда не пробивается солнечный луч. Дай, думает, из-за толстого дерева подкрадусь. Но когда выглянул из-за него, лань пропала.

А это была, понятно, не настоящая лань, это была Пак-вена, Живущая на деревьях — самая злая, самая опасная колдунья. Кое-кто говорит, будто она же повелительница бесов Хуитака.

Долго сын Солнца стоял и всматривался в лесные сумерки. Все соображал, как же теперь из лесу выбираться. И надумал выходить обратно по своим следам.

Только сделал он несколько шагов, как вдруг, откуда ни возмись, на звериной тропе показалась красивая девушка, одетая так, как девушки нашего племени.

Он учтиво с нею поздоровался, они разговорились, и вызвалась красавица вывести его из лесу.

На самом-то деле эта девушка в одежде коги была Живущей на деревьях, только она изменила облик, и вела она его в самые глухие дебри, куда никогда не проникает солнечный луч.

Жутко там было. Ни травы, ни цветов на земле, только тут и там торчат грибы бесцветные с сетчатыми шляпками. Стволы обвиты темными лианами, в ветвях прячутся змеи — шершавые, пятнистые, сразу и не разберешь, где лиана, где змея.

Деревья огромные, кора влажная, морщинистая, во все стороны корни тянутся. Ну, прямо ноги какого-нибудь спящего чудовища.

Вдруг эта девушка — Пак-вена, значит, — остановилась и заговорила. Стала уговаривать молодого охотника, чтобы он женился на ней. Она часто заманивала в лес парней, в мужа себе. Что с ними потом было, никому не ведомо. Может, съедала.

Сын Солнца ответил, что охотно женится на такой красивой девушке, если нет помех. Сперва надо узнать, какого она тотема.

— Я «лань», — отвечала Пак-вена.

Неправду сказала, конечно, ведь все женщины-бесы принадлежат к тотему змеи. Но она подумала, что такой ладный парень, наверно, из тотема ягуара. А «ягуары» женятся на «ланях», только «совы» берут в жены «змей». Такое уж правило, и так должно быть. Иначе женщина получит дурную власть над мужчиной и дух ее тотема может погубить его.

Сын Солнца покачал головой.

— Если ты «лань», — говорит, — я не могу на тебе жениться.

— А разве ты не «ягуар»? — спросила она.

— Нет, моя мать была «ягуаром», — ответил он. Зря он проговорился, потому что тут Живущая на деревьях сразу поняла, что он не простой человек. Только жены Солнца могут быть «ягуарами». А ведь Пак-вена заманила его в такое место, куда власть его отца не простиралась.

Она смотрела на него очень пристально, и тут он разглядел, что зрачки у нее не круглые, а щелочкой, как у крокодила.

— Коли ты не хочешь быть моим мужем, — прошипела Пак-вена, — получишь мой облик и мою одежду, только глаз моих и тотема не получишь. Все забудь и начинай жить сначала!

С этими словами она исчезла.

Сын Солнца стоял, будто оглушенный. И был он уже не сыном Солнца, а молодой девушкой и не помнил своего прошлого.

Заколдованная девушка знала лишь одно: надо уходить из страшного царства Пак-вены. Скорее к дневному свету и солнцу. И она пошла.

Шла она очень долго. Наконец выбралась из лесу и увидела солнечный свет: он пробивался сквозь облака, которые окутали снежную вершину. И девушка поднялась на гору.

Здесь она встретила людей нашего племени и осталась у них. Они хорошо приняли ее, женщины научили девушку стряпать, прясть, ткать, всему научили, что надо уметь молодой девушке. Многие молодые люди засматривались на нее, но никто не мог на ней жениться, ведь она не знала своего тотема.

Случилось так, что в стойбище, где жила заколдованная девушка, пришло в гости Солнце. Она ему понравилась, и Солнце спросило стариков, чья это дочь.

Они ответили, что не знают, сказали, что у нее нет ни имени, ни памяти.

— Ничего, — сказала Солнце, — мне все тотемы подходят, кроме моего собственного.

И Солнце велело отвести безымянную в хижину, которая стояла пониже его собственного стойбища; оно решило взять ее в жены, хоть у него и без того было много жен. Мол, на девятый вечер придет в ту хижину и заберет ее.

Как Солнце повелело, так и сделали. Жены знахарей отвели молодую невесту в хижину и стали готовить все к приходу Солнца. На девятый вечер девушку искупали, одели, нарядили, потом женщины ушли домой, а ее оставили дожидаться.

Невеста Солнца сидела, пригорюнившись, на скамеечке. Все твердили ей, что это большая честь — быть из-

бранницей Солнца, что лучшей доли нельзя себе пожелать. А она боялась. Чувствовала: что-то не так. И чем дальше, тем становилось ей все страшнее. Наконец совсем невоготу стало...

Только начало смеркаться и Солнце заняло свое место в священной хижине, где собирался совет Владык, откуда ни возмись, ползет по склону черная змея. Это была Пак-вена, Живущая на деревьях. Между скалами по камням она проползла к хижине, где молодая невеста ждала Солнце. В дверях остановилась и насмешливо так посмотрела на девушку.

— Забирай обратно свою память! — прошипела Пак-вена.

И в эту же секунду невеста Солнца вспомнила все, что было, кто она и кем была раньше. Поняла все и в страхе закричала так, что горы задрожали.

Она кричала так громко, что Пак-вена не услышала шагов за дверью. А это Солнце пришло за своей новой женой.

Как вошло оно в хижину, так сразу все прочло в их глазах. Ведь Владыке объяснений не нужно.

— Что сделано, того и богам не изменить, — сказал Солнце. — Ты был моим сыном, должен был стать Новым Солнцем, а теперь быть тебе блуждающей звездой. Будешь ты выходить либо до меня на рассвете, либо после меня в сумерках, чтобы мы больше никогда не встречались. Только так могу я устроить твою судьбу. А ты, Пак-вена...

Змея закулила, уползла в угол, хотела спрятаться там, но было поздно.

— Думаешь, моя власть меньше твоей? — спросило Солнце. — Ты околдовала моего сына, я же околдую тебя. Только по-другому околдую... Будь ни богом, ни человеком, ни бесом, Пак-вена. Будь ни птицей, ни четвероногим, ни пресмыкающимся, ни рыбой. Но оставайся существом женского пола и помни все.

Пак-вена открыла рот, хотела было крикнуть, но получился только жалобный писк, потому что она уже стала ни четвероногим, ни птицей, ни змеей, ни рыбой. Солнце превратило ее в летучую мышь. А так как нет то-



тема летучей мыши и никакие тотемы не вступают с ними в брак, она от всех была отрезана — от богов, от людей, от животных, от бесов. Хотя душа у нее осталась женская, с женской тоской.

И летает теперь Пак-вена в лесной глуши по ночам, когда не может увидеть ни Солнца, ни Утренней Звезды. Она всегда одинока, навсегда одинока и ничего не может забыть. Потому и жалуется.

Фроилан умолк. Докурил свою трубку, смерил взглядом тени от скал.

— Кажется, солнце пошло дальше, — сказал он. — Значит, пора и нам.

Он надел на лоб ремень, приладил ношу поудобнее и коротким, уверенным шагом двинулся вверх по склону. Я продел руки в лямки рюкзака, повесил ружье на плечо и пошел за ним.

ДАЛЬНИЙ ОСТРОВ

Галера — самый маленький остров в архипелаге Сан-Бернардо, который раскинулся у северного побережья Колумбии между Картахеной и Толу.

От северной его оконечности до южной неполных соток шагов, а от восточного берега до западного в самом широком месте шагов двенадцать.

В километре к югу от Галеры есть островок побольше — Сейсен; в нем три гектара, и он весь покрыт лесом.

Километрах в десяти севернее Галеры из моря торчат невысокие коралловые острова Панда, Мукура, Маравилья, Ислоте и Титипан. За ними на северо-востоке выстроились в ряд Мангле, Палма и Кабуна.

Все эти острова — остатки древнего барьерного рифа, маленькие бастионы, которые море еще не успело отводить. Остальные острова намного больше Галеры; Титипан, например, вытянулся почти на три километра. На самых крупных из них посажены кокосовые пальмы. А на Ислоте даже поселилось два десятка семейств — чернокожие рыбаки, подрабатывающие контрабандой. Или наоборот?

На большинстве островов почти всегда есть пресная вода, осадки накапливаются в углублениях и трещинах в коралле. К сожалению, там есть и ненасытные песчаные мухи, целые тучи мух, которые отравляют жизнь и не дают работать. Вот почему я обосновался на Галере. Пусть здесь нет воды, зато островок так хорошо продувается ветром, что мухи на нем не водятся.

Полоска коралла, затерявшаяся в морском просто-

ре... Если бы не широкие подводные рифы кругом, море давно бы проглотило ее.

Вместе со своими помощниками я приехал сюда на моторной лодке рано утром; на буксире у нас была пирога. Мы сгрузили на островке большую часть снаряжения и убрали его под навес, который рыбаки поставили для защиты от дождя: крыша из пальмовых листьев, с северной стороны щелеватая стенка из бамбука; остальные три стороны открыты.

Потом отправились делать то, зачем приехали сюда, — ловить морских рыб для коллекции.

Мои спутники — препаратор Карлос Веласкес и моторист Хуан на моторной лодке, рыбаки Хосе Долорес, Эдуарде и двенадцатилетний Сильвио на пироге — еще не вернулись. Сейчас они забросили свои удочки на рифах восточнее Сейсена.

А я сижу под навесом и прилежно тружусь: классифицирую и укладываю то, что уже добыто.

Меня окружают тазики с заспиртованными рыбами, кипы пластиковых мешочков и несколько сорокалитровых бидонов из-под молока. На двух ящиках разложены инструмент и книги.

Я должен определить вид каждой рыбы, снабдить ее этикеткой, положить в перфорированный пластиковый мешочек и опустить в бидон с восьмидесятипроцентным спиртом. Когда вернемся на материк, бидоны будут отправлены самолетом в столицу, в зоологический институт. Там я после все разберу, помещу каждую рыбу в отдельную стеклянную банку с красивой этикеткой, внесу в каталог, опишу. Смотришь, что-нибудь новое попадетсся. Это вполне возможно.

Спирт уже вытравил, испортил великолепную расцветку рыб — краски коралловых рифов и тропического моря. Но с этим ничего не поделаешь.

Опускаю в бидон мешочек с этикеткой: «*Upeneus martinicensis*, 6 экз., острова Сан-Бернардо, коралловая от-

мель, глубина 3 м, 17/IV-1961». Вот так, кажется, все. Теперь я могу немного осмотреться.

Уже час, как с моря дует свежий вест-норд-вест.

Утром море было как зеркало, и на клочках чистого белого песка среди чащи коралловых лесов я отчетливо, со всеми подробностями видел в «морескоп» огромные коричневые бокалы губок, оранжевых морских звезд, медленно извивающиеся фиолетовые венерины пояса и полосатых рыб.

Теперь ветер вспахал морскую гладь, и на рифах разбиваются небольшие волны.

Смотрю в бинокль на лодки. «Сухопутным крабам» Карлосу и Хуану пора бы смекнуть, что надвигается, и идти обратно, пока море не разбушевалось всерьез. Трое в пироге — народ опытный, и лодка у них надежная: ведь ее делали индейцы куна. А вот плоскодонной моторке волна опасна. Мы прозвали ее «ля кукарача писада» — «раздавленный таракан».

Ага, Карлос поднимает якорь, а Хуан заводит мотор — пятидесятисильный «эвинруд».

Ну, что там еще? Лодка безвольно плывет по течению. Что-то не ладится.

Пока она прикрыта островом, еще ничего, но если их вынесет в море, будет худо. До берега тридцать пять миль, а этот ветер сулит сильную волну.

К моторной лодке подходит пирога. Хосе Долорес подает конец, берет их на буксир. Так, значит, они решили не пересекать пролив между островами (боковой ветер!), а подойти к берегу Сейсена. Правильно, разобьют там лагерь, переночуют, исправят мотор и рано утром, пока море гладкое, придут сюда.

Со мной-то ничего не случится, они это знают. Еда у меня есть, есть кофе и два бидона пресной воды, топливо, котелки, спички, сигареты. Могу здесь хоть неделю один просидеть. Время не пропадет даром; они могут ловить с пироги, а у меня есть накидка, удочки. Вокруг ос-

тровка много отмелей; утром, когда тихо, можно собирать на них материал. Все эти норки, гроты, груды кораллов кишат жизнью. Там есть и рыбы, и моллюски, и актинии, и иглокожие, о которых мне хотелось бы узнать побольше.

Причалили. Облегченно вздохнув, кладу бинокль и осматриваюсь.

Как ни мал Галера, и на нем есть жизнь. Я вижу несколько десятков мангровых кустов да десять—двенадцать узловатых деревьев сарагосилья до шести метров высотой. Некоторые из них засохли, и буро-черные голые «скелеты» резко выделяются рядом с бледной корой и светло-зелеными листьями «белых» мангров.

Неужели можно извлечь какое-то питание из битых раковин и коралловой крошки? Но ведь растут, значит, извлекают.

Среди ракушек и корней бродят маленькие светло-оранжевые раки-отшельники с голубыми клешнями. Никогда не видел, чтобы они входили в воду, и, однако, я их встречал на всех Карибских островах, на которых побывал. Ползут, волокут свои домики — раковины самых различных моллюсков. Должно быть, им все равно, где жить, было бы куда спрятать свой голый, незащищенный хвост. Стоит мне сделать резкое движение, как они прячутся в раковину и закрывают вход маленькими круглыми клешнями. Но тут же забывают обо мне, высовывают свои усики, ноги, стебельчатые глаза и ковыляют дальше.

На мелководье вокруг острова водятся раки-отшельники других видов, некоторые из них настолько крупные, что занимают огромную раковину *Strombus gigas* или витую *Tritonit*.

Серо-пегими тенями снуют плоские крабики (их здесь называют морскими тараканами), такие юркие, что их почти невозможно поймать.

На корне мангрового дерева, в метре над водой, вижу панцирь краба еще одного вида.

Удивительная раскраска: желтые, оранжевые, розовые оттенки. Но панцирь пустой, легкий, как бумага, он сразу рассыплется, если я попробую его взять. Пусть уж остается на корне.

Все ракообразные, даже те, которые ведут целиком или полностью сухопутный образ жизни, — уроженцы моря. Но на этом коралловом острове есть и настоящие наземные животные.

Утром, еще до того как подул ветер, меня навестила дневная бабочка, кажется *Danaïs*. Она появилась с востока, порхая над самой водой. Села на камень отдохнуть, потом полетела дальше на запад, в открытое море. Я уже не первый раз встречаю бабочек этого вида вдали от материка.

Что будет с ее нежными, хрупкими крыльями, когда разойдется ветер? Наверно, плохо. Или они не такие уж хрупкие, какими кажутся? Ведь есть же перелетные бабочки.

Я здесь даже не единственное наземное позвоночное. Среди бамбуковых жердей, защищающих меня от ветра, живет маленькая серовато-черная ящерица с коричневой головой. Если я сижу тихо, она выходит, глядит по сторонам, машет хвостиком, делает короткие, в несколько сантиметров, перебежки. Но стоит мне пошевелинуться — мигом ныряет в щель.

Как она попала сюда? Возможно, со связкой банановых листьев с Титипана, когда рыбаки ставили этот навес. Одна ли она, или у нее есть пара? И чем питается эта ящерица? Насекомых тут маловато. Наверно, впроголодь живет, оттого и такая маленькая, не больше моего указательного пальца.

А может быть, это какая-нибудь малорослая местная разновидность? Там, где тесно и мало корма, естественный отбор нередко способствует развитию мел-

ких видов. На некоторых островах Средиземного моря нашли ископаемых слонов, рост которых не достигал метра.

А в солоноватых озерах Титипана, главного острова архипелага, живет немногочисленная изолированная популяция крокодилов. Длина самого большого из них — два метра; это вдвое меньше взрослых *Crocodylus acutus*, обитающих в реках и озерах на материке. В одном из притоков Магдалены я убил старого самца длиной четыре метра пятьдесят семь сантиметров, а в Риу-Ламиель видел крокодила еще длиннее; там крупнейший из здешних крокодилов показался бы половозрелым подростком.

Видимо, титипанские крокодилы оказались отрезанными в конце плейстоцена; до той поры уровень моря был гораздо ниже и архипелаг сообщался с материком.

Не верится, чтобы представители этого рода приплыли на острова Сан-Бернардо из материковых озер. Это же не морские крокодилы, населяющие островное царство между Азией и Австралией. Проплыть километр или чуть больше вдоль побережья из одного устья в другое они еще способны, это я видел. Но я видел также, что иногда такого пловца наказывает за смелость акула. Как-то возле устья реки я наткнулся на мертвого крокодила без одной передней ноги, с зияющей раной в боку.

Опять ящерка выглянула из своего убежища, готовая чуть что юркнуть обратно. Ей невдомек, что я совершенно безопасен. Правда, иногда я собираю рептилий для моего друга герпетолога, который в свою очередь ловит для меня рыб. Но малютка не попадет в банку со спиртом.

К тому же вид этот настолько распространен на материке, что от силы заслуживает нескольких строк в записной книжке.

Чем ближе солнце к горизонту, тем свежее ветер, но морские птицы еще летают. Только что к Панде потянулись вереницы бакланов; две олуши полетели к Маравилье, там живет особенно много птиц, и среди них огромная колония фрегатов. Но не все покинули меня. В дальнем конце Галеры, где самые густые мангры, прячется маленькая цапля, похожая на выпь. Выйдет из серого лабиринта веток и воздушных корней, посидит и скорее обратно в свое укрытие.

Два старых коричневых пеликана дремлют на макушках засохших сарагосилья. Поначалу они поглядывали на меня недоверчиво, потом, должно быть, отнесли меня к наименее интересной части фауны — неопасной и несъедобной. Они сидят совершенно спокойно, даже когда я развожу костер и вешаю над огнем кофейник.

Но они только кажутся сонными, их глаза все видят, все примечают. Стоило косяку сардин войти в крохотную бухту за манграми, как пеликаны тотчас ожили. Взлетели, зашли против ветра, плавно пролетели над островком и упали на добычу, взбивая воздух крыльями и перепончатыми лапами.

Впрочем, «упали» не то слово, ведь только клюв, голова и часть шеи на миг исчезают под водой. В следующую секунду пеликаны уже спокойно лежат на воде. Вот они делают несколько отрывистых движений, словно вытряхивают рыбу из своего кожистого мешка в глотку, потом клюв поднимается вверх — глотают. Затем взлетают и возвращаются на свои наблюдательные вышки.

Изящными их не назовешь, но рыбу они ловят здорово, и с ними мне не скучно.

Я могу без конца наблюдать всех этих пернатых рыболовов: баклана, черную крачку, олушу, пеликана, фрегата. Они обитают в одинаковой среде, едят примерно одну и ту же пищу, а как не похожи друг на друга! Каждый

великолепно приспособлен к окружению — и каждый на свой лад.

Эта приспособленность придает их поведению обманчивую видимость осмысленности. А процесс, который сделал их такими, представляется выражением мудрости и прозорливости. Точно в основе всей этой целесообразности лежит чей-то замысел. И когда наблюдаешь самые яркие примеры приспособляемости, так и подмывает всплеснуть руками и воскликнуть:

— Ах, как мудро и целесообразно все создано!

Самая простая и самая примитивная реакция. Впрочем, еще хуже — ни на что не реагировать и ничему не удивляться, по примеру бездумно пасущейся в клевере коровы.

Смысл, порядок, цель? Крачка или фрегат — образцы приспособления к морской среде. Но то же можно сказать о плезиозавре *Elasmosaurus*, абсолютном рекордсмене мира по числу шейных позвонков (семьдесят шесть), или о летающем ящере *Pteranodon ingens*: сам он был чуть больше лебедя, а размах его крыльев достигал восьми метров.

Они обитали в морской среде, очень похожей на современную, и были к ней отлично приспособлены; вполне возможно, что они жили в здешних водах. Нам известно, что они вымерли в конце мелового периода, от восьмидесяти до ста миллионов лет назад. И не оставили никаких потомков. Стоило условиям жизни чуть перемениться, и сказке пришел конец. Так где же «смысл»?

Не будь все эти птицы да и другие твари: малярийные комары, глисты, бациллы проказы, маленький сом *Schultzichthys gracilis* из бассейна Ориноко, который забирается в жабры крупных сомов и сосет из них кровь, — так приспособлены к своей естественной среде, их бы не было на свете. Они потомки родителей, выживших потому, что наследственный код в сочетании с благо-

приятными мутациями позволил им приспособиться к среде.

Не приспособившихся форм вы просто не увидите, потому что все потомки, не наделенные достаточной приспособляемостью, исчезают подобно *Pteranodon*, *Elasmosaurus* и множеству других. Только обладающие приспособляемостью выживают и продолжают свой род. Они процветают и совершенствуются в определенном направлении, пока среда, к которой они приспособились, не изменится слишком резко.

А все зависит от того, утратили ли они свою пластичность, способность эволюционировать в другом направлении или нет, смогут ли постепенно, на протяжении ряда поколений, «переделаться», приспособиваясь к новым условиям. Если гибкость сохранилась, они более или менее «целесообразно» меняются вместе со средой, и все кончается хорошо — до поры. Когда происходит раздел жизненного пространства да притом возникает географическая и экологическая изоляция, линия развития может, так сказать, разветвиться на множество форм со своим отдельным ареалом.

Примером служат сомы и харациновые: только в Южной Америке известно больше тысячи видов этих рыб. Или рыбы семейства *Cichlidae*, которых в озере Танганьика насчитывается сто семьдесят четыре вида.

Если же пластичность утрачена, выживут лишь те, которые оказались в немногих на нашей планете местах с устойчивой средой. Так появляются интересные, «достопочтенные» реликтовые формы: скажем, слепой протей, обитатель подземных вод Далмации и Каринтии, или двоякодышащие рыбы, живущие в некоторых тропических болотах, или брахиопод *Lingula*, приспособленный к определенному типу морского дна.

Остальные формы вымирают и переходят из области зоологии в область палеонтологии.

Рано или поздно потомки другой линии заполняют об-

разовавшуюся пустоту. Так, место рыбащеров, мезозавров и плезиозавров миллионы лет спустя заняли киты, дельфины и касатки.

Миллионы лет идут насмарку, сотни тысяч жизненных форм гибнут. Какое уж тут планирование, скорее слепая случайность... Хотя нам порой чудится, что развитие жизни подчиняется некоему разуму.

«Чудится» — в этом все дело. Странно только, что понадобился гений Дарвина, чтобы понять это. И невероятное терпение Дарвина, чтобы собрать убедительные доказательства.

Что бы ни говорили всякие виталисты, финалисты и прочие метафизики, органическая жизнь не отделена неодолимым барьером от прочей материи, а вернее, от суммы: материя плюс энергия. Жизнь, как и вся вселенная, просто-напросто процесс во времени, цепь явлений, определяемых свойствами некоторых молекулярных сочетаний. Цепь явлений, которые мы называем биологической и химической эволюцией.

Как-то даже трудно представить себе, что на свете есть еще немало двуногих приматов, отказывающихся признать (они предпочитают слово «поверить») этот жизненный процесс. Видно, им кажется почетнее быть дегенерировавшими потомками богов, чем венцом долгой эволюции, которая привела к человеку. Идет ли речь о появлении молекул нуклеиновых и аминокислот в древнем океане или о возникновении различных видов животных и растений, подавай им вмешательство «сверхъестественных» сил. И каждый из них творит творца по своему собственному бесподобному подобию, если только не находит его готовеньким в книгах, созданных нашим мышлением, когда оно еще переживало пору детства.

«Да хранит тебя бог, которого ты в книге нашел!» Спору нет, очень легко потешаться над богосозидающей фантазией наших предков. Это ярче всего видно, когда

сами же «боготворцы» отзываются о фантазии, хотя бы немного отличающейся от их собственной. Но будем честными: в старину поиски бога сочетались с созданием непреходящих художественных ценностей, пусть даже они чаще всего были побочным продуктом воображения богоискателей.

И все же — не умаляя чести Фрёдинга — вряд ли современный человек готов довольствоваться тем, что

Видение, прекрасное и светлое,
На небе правдиво, как мираж.

Нам, обитателям планеты, которой грозит перенаселение, пожалуй, важнее побольше узнать о процессе развития жизни и законах, управляющих им, чтобы мы могли обеспечить и продлить существование нашего рода. Тем более что мы впервые в истории сей планеты можем активно, сознательно — если хотите, планомерно — влиять на ход развития.

Мечта о прекрасном тоже нужна человеку, но перенесем ее в другой уголок нашего воображения, там она даст толчок не менее вдохновенному и возвышенному творчеству. А уж если непременно выдумывать богов (занятие само по себе тоже увлекательное), пусть они будут такими же приятными и, главное, безобидными, как Бадебек, созданная стариной Рабле в перерыве между куском копченого языка и бокалом доброго белого вина.

Иногда в мое сознание закрадывается совершенно еретическая мысль: наука не только станет основой будущей религии (если религия вообще будет кому-нибудь нужна, когда утвердятся новая мораль и новая этика, к которым мы, похоже, идем), она уже давно представляет собой вид художественного творчества. Дарвин, Пастер и Альберт Эйнштейн, каждый по-своему, были творческими гениями и поэтами ничуть не меньшего калибра, чем Теннисон, Китс, Бодлер. И они не последние.

Ветер свежее, небо на востоке заметно потемнело, хотя до заката еще больше часа.

Возле самой воды лежит кучка рыбы, оставшейся после того, как я заспиртовал материал для исследования и Веласкес взял несколько штук на завтрак. Я выбираю достаточно крупную люцианиду себе на обед, а остальное — десяток мелких рыбешек и кусок морской щуки, которую парни изрезали на наживку, — выбрасываю в море.

Жаль, конечно, убивать больше экземпляров, чем нужно. Ну, да и эти быстро найдут потребителя... Усаживаюсь в гамаке, кладу рядом бинокль, закурываю сигарету и слежу за плывущей на поверхности рыбой.

Ага, вот и фрегаты. Четверо: две светлогрудые самки постарше и две белоголовые «молодухи». Они снижаются плавными кругами, над самой водой на миг приостанавливаются и быстро «кивают», хватая облюбованную рыбу. Ни одного пера не замочат.

Нет птицы, которая была бы на «ты» с морским ветром, как фрегаты. Я их называю штормовыми ведьмами. А плавать они, как ни странно, вроде не умеют. Только один раз я видел фрегата на воде (он был ранен). Конечно, птица не тонула — она слишком легка, — но и не двигалась, даже не пыталась уйти от лодки. Здоровых фрегатов я не наблюдал ни на воде, ни на земле. Они могут сидеть на ветке, лежать на гнезде, которое складывают из веточек на макушке мангрового куста. Яйца высиживает самец, а самка промышляет рыбу. Увидев, что самка возвращается, самец раздувает свой огромный красный зоб, чтобы она сразу заметила его.

Четверка подбирает одну рыбешку за другой. Старшие действуют безошибочно. Ни одного лишнего движения, они *Fregata magnificens* до кончиков крыльев.

Молодые менее опытные. Вот одна из них схватила кусок морской щуки и, паря метрах в двадцати над водой, крутит в клюве добычу и так и сяк. Уронила... ловко пой-



мала в полуметре от воды и опять поднялась. Наконец уразумела, что кусок велик, не проглотить. Сдается, выпускает его, ищет другой.

В сторонке плывет красная тафи из *Holocentrus*. Старшие, видно, не прельстились ею: у тафи очень твердая чешуя и длинные шипы на жаберных крышках. Но молодая решила взглянуть на нее поближе. Падает, над самой водой на миг повисает... и снова взмывает вверх, без добычи. Что, опять кусок велик? Нет, возвращается, заложив великолепный вираж. Но и теперь не берет рыбу. Наклонила голову и смотрит, а крылья так и трепещут, позволяя птице на секунду удержаться в одном положении.

В трех-четырех метрах от рыбы у самой поверхности мелькает что-то темное. Как и следовало ожидать: под вечер акулы идут к суше, пусть даже суша всего-то клочок вроде этого.

Выходит, «ведьма» чего-то опасается, во всяком случае молодая и неискушенная «ведьма».

Снова вижу силуэт акулы, теперь чуть подальше. Рыба не привлекла ее? Вряд ли. Просто акула близорука. Не глаза помогают ей найти добычу, а чутье. А сейчас волны, вот и не может сразу разобрать, откуда запах. Кружит, как охотничий пес, потерявший зайца.

Поиски увели акулу совсем в сторону. Птица, которая поднялась было повыше, снова скользнула вниз. Вытянулась белая голова... Есть! И взмывает косо вверх, зажав рыбу в клюве! Несколько секунд спустя акула рассекает воду в том же месте, но добычи уже нет.

И опять солнечное утро, море тихое, с металлическим блеском. Такое тихое, что кажется, острова висят в воздухе. Даже зыби нет, несмотря на вчерашний ветер.

Ребята пришли на рассвете и забрали меня. Мотор исправлен — до новой поломки. Мы отошли на несколько километров и бросили якорь на отмели.

Недалеко от лодки выскакивает из воды крупный морской сарган — *Strongylura*. Опять... опять... Видно, спасается от кого-то бегством. Скорее всего, от барракуды. Разгонится и на кончике хвоста мчится по воде, будто конькобежец по льду. Все дело в этом движении на хвосте; но хотя я наблюдал его десятки раз, мне не удалось пока разобраться в нем. Возможно, так зарождался полет летучих рыб: они ведь сродни полурылам и сарганам.

Поневоле вздохнешь, когда подумаешь: сколько ты еще не знаешь и, скорее всего, никогда не узнаешь... Ложусь животом на кормовую банку и беру «морескоп», мой ключ к одному из многих чудесных царств нашей планеты — подводному миру тропического моря.

Далеко внизу вижу несколько желтохвостов и серебристых в голубую полоску ворчунов. Они красивые и забавные, но в моей коллекции уже есть такие, и я ищу чего-нибудь более интересного.

Из тени за большой губкой степенно выплывает кузовок. Останавливается перед веткой коралла и начинает пастись. На секунду повернулся так, что стал виден его профиль. Толстые темные губы и маленькие роговидные выросты над глазами придают кузовку странное сходство с добродушной коровой. Он и нравом миролюбивый, хотя кормится животными и коралловыми полипами; впрочем, они недалеко ушли от растений.

И до чего же не похожа на него, во всяком случае с виду, скорпена, которая притаилась в засаде у здоровенной раковины.

Не будь вода так удивительно прозрачна, я ни за что бы ее не заметил. Она сероватая и сливается с темным пятном на дне. С виду нечто среднее между окунем и бычком. Скорпена производит впечатление далеко не доброго существа, даже если вы не знаете, что шипы на ее голове ядовиты.

Скорпена — хищная тварь, и всякой там мелюзге лучше держаться от нее подальше. Конечно, ей тоже надо есть, как и кузовку. Только ее добыча стоит несколько выше в зоологической табели о рангах. С точки зрения коралловых полипов (если у них есть точка зрения), скорпена, наверное, тихий, беззлобный сосед, а кузовок — разбойник и громила.

Две испанские макрели серыми тенями проносятся под лодкой. Казалось бы, какие могут быть паразиты у этих изящных представителей *Scomberomorus*. И однако почти у каждой в ротовой полости сидит неуклюжее ракообразное, напоминающее мокрицу, и сосет кровь. Такая же судьба постигла розовую красавицу *Lutianus* ая.

На клочке белого кораллового песка лежит крупная голотурия. Вот уж кого не назовешь красавицей! Больше всего она похожа на толстую, небрежно набитую рыжевато-коричневую колбасу.

Медленно колышутся щупальца, загребая воду для

дыхания. С водой в рот попадает и пища: мелкий планктон, детрит — остатки умерших организмов. Голотурия не ведаёт, что творится вокруг нее, ведь она не видит и не слышит, у нее нет нужных для этого органов. Осязание да хеморецепция, заменяющая обоняние или вкус, — вот и все, что сообщает ей об изменениях в среде.

Незавидное существование?.. Но если бы голотурия способна была думать и мы могли бы общаться с нею, она, возможно, ответила бы на это так:

— Не очень-то задавайся! Когда-то в докембрийском океане плавали наши общие предки. Правда, потом наши пути несколько разошлись, но твоей заслуги тут нет! Кто знает, может быть, через несколько миллионов лет появятся такие существа, которым *Homo sapiens* — а он к тому времени уйдет в прошлое, как ушли динозавры, — покажется разве что чуть совершеннее голотурий.

И ведь голотурия, пожалуй, права. Вообще речь других часто представляется нам весьма разумной, когда она выражает наши собственные мысли.

Швырнуть, что ли, вниз какую-нибудь ловушку, чтобы присовокупить иглокожее к моей коллекции? Ладно, не буду. И не ради наших общих предков, а потому что многие виды голотурий довольно своеобразно выражают свое неудовольствие, когда их поймаешь. Они извергают через рот желудок, кишки и прочие внутренние органы и отсекают их, так что экземпляр в ваших руках оказывается состоящим из двух отдельных частей: комочка внутренностей и пустой оболочки. Такой материал вряд ли годится как наглядное пособие для преподавания.

Так что пусть уж этот наш двоюродный прапрадед или эта двоюродная прапрабабка (поди разбери их, у многих видов голотурий есть странная привычка время от времени изменять пол) спокойно продолжает отцеживать детрит. А я буду просто наблюдать.

Добродетель — не будем уж определять ей цену — тотчас вознаграждается. Между ветвями коралла появляется своеобразная тонкая рыбка, напоминающая угря. Длина ее сантиметров двадцать, хвост утончается так, что и не разберу, где его конец.

Рыбка подплывает сзади к голотурии и начинает «обнюхивать» ее. Кажется, что она кусает несчастное иглокожее. Ничего подобного: она хочет заставить голотурию открыть кишечник. Вот сложилась пополам, вталкивает свой тоненький острый хвостик в анальное отверстие иглокожего и начинает в него протискиваться задом наперед. Голотурия сопротивляется, но чтобы дышать, она должна пропускать через тело воду. И всякий раз, как голотурия выпускает струйку воды, рыбка отворачивает несколько сантиметров. Минута — и скрылась целиком.

Это фиерасфер. Семейство этих рыб приспособилось жить во внутренностях беспозвоночных, и голотурии — их главная жертва.

Хотя «жертва», пожалуй, не то слово. Фиерасферы не паразиты в общепринятом смысле, им нужна только обитель. В кишечнике иглокожего они защищены почти от всех опасностей. Есть, конечно, рыбы, поедающие голотурий, но таких мало.

И даже если какой-нибудь хищник отхватит кусок голотурии, жилец еще может спастись. Ведь атакованное иглокожее часто отрывает свои внутренности и вместе с ними фиерасфера, который тотчас находит себе другое укрытие.

Сама голотурия довольно спокойно переносит переходящие злоключения. Лишь бы сохранился достаточно большой кусок тела; она снова будет расти и восстановит утраченные органы.

Есть даже виды (не знаю, относится ли к ним эта голотурия), которые сами время от времени делятся пополам. Это один из их обычных способов размноже-

ния. Бывшая передняя половина становится задней, бывшая задняя — передней, и вот уже готовы две новые голотурии.

Так или иначе, любопытно было посмотреть на этого фьерасфера. Они здесь редки, возможно потому, что мало голотурий.

Можно написать не одну книгу о том, как различные обитатели кораллового моря зависят друг от друга, как сложна и своеобразна порой эта зависимость.

Коралловые полипы, эти удивительные крохотные создания, сидящие на месте и «между делом» сооружающие острова и барьерные рифы, часто бывают светло-зелеными. Вернее, сами-то они почти бесцветные и прозрачные, но их покрывает множество одноклеточных зеленых водорослей, которые ухитряются даже проникать внутрь клеток полипа. Там они надежно укрыты от своих врагов и могут без помех производить сахар из углекислоты, воды и солнечной энергии. Тем самым они отчасти кормят и своих хозяев. Так сказать, платят за квартиру.

Огромный моллюск *Tridacna* (здесь его нет, он обитает по ту сторону Южной Америки, в Тихом океане) пошел дальше. У него есть нечто напоминающее глаза или, во всяком случае, линзы. В этом нет ничего необычного, у многих хороших пловцов из числа моллюсков, например у крупных гребешков *Pecten*, на краю мантии поблескивают глазки. Но глаза тридакны не имеют никакого отношения к зрению: этот моллюск всю жизнь сидит на месте, процеживая морскую воду, и ему в отличие от плавающих форм зрение не нужно. В его тканях обитает множество микроскопических зеленых водорослей вроде тех, которые «снимают квартиру» у коралловых полипов, только условия в плотном теле тридакны, естественно, совсем другие, чем в тонком клеточном слое полипов. Тут уже со светом дело сложнее. Но моллюск решил эту задачу. Линзы на краю мантии собирают свет и

снабжают водоросли солнечной энергией для их работы. В итоге водоросли чудовищно размножаются, и время от времени целые рои их попадают в пищеварительный канал тридакны. А там их постигает та же судьба, что и всякую пищу.

Можно приводить примеры до бесконечности. Свободно плавающие личинки *Sacculina* напоминают ракообразных, пока не прикрепятся к крабу. Тут начинается их превращение, и в конце концов мы видим сеть длинных корневидных отростков, пронизывающих тело краба, и комочек половых клеток у него под хвостом.

Есть рыбки, которые находят убежище в мантийной полости медузы или между жгучими нитями «португальского линейного корабля» — физалии. Раки-отшельники «сажают» на свои раковины маленьких актиний.

Жизнь идет в сотнях тысяч удивительных сочетаний.

Но пора отложить «морескоп» и начать собирать морских ежей для курса зоологии, который я буду читать в этом году.

ПРИЗЫВ

Утренний туман рассеялся, начало припекать солнце. Пора заканчивать охоту и идти домой, пока не наступил полуденный зной. К тому же на патронташе у меня уже висело пять уток и два синекрылых чирка. Этого вполне хватит на несколько сытных обедов моему семейству, которое последнее время ворчит, что рыба приелась.

С добычей и трехстволкой за спиной я прошагал вброд по воде и грязи две сотни метров до берега озера Гэрреро. В это время года, сразу после сезона больших дождей, здесь топь чередуется с открытой водой. Через три-четыре месяца почти все высохнет, пропеченная

солнцем глина потрескается и будет такой твердой, что на ней даже копыто следа не оставит. Только в самой середине на весь засушливый период сохранится непролазное болото, последнее убежище мускусных уток, арам и колпиц.

Возле берега я резко остановился. Я проходил тут всего два часа назад, от силы два с половиной, когда еще не рассвело. Мои следы отчетливо выделяются на глине. А поверх них отпечатки широких, почти круглых лап. Большие следы, мой кулак целиком уйдет в углубление...

Отпечатки совсем свежие. Как раз здесь я останавливался и светил фонариком вон на ту ветку ползучего кактуса, проверял, не змея ли это возвращается с болота. Тогда следов не было.

Значит, ягуар пересек мой путь на рассвете или чуть позже, не обращая внимания на выстрелы неподалеку. Шел спокойно, не торопясь. Несомненно, это старый опытный самец, хорошо изучивший человека. И сытый, судя по короткому шагу.

Сейчас его не выследишь. Будь у меня свора бесстрашных собак и конь, который не отстал бы от них в этой местности, стоило бы попытаться. Надежды на успех было бы немного, но все-таки.

Без собак шансы сокращались впятеро. Попробуй поищи большую кошку на площади в сто квадратных километров, где за оставшиеся до вечера часы хорошо если двадцать километров одолеешь. К тому же меня ждали дома.

Я вздохнул, повернулся спиной к широким отпечаткам и направился в деревню.

На берегу моря я встретил компадре Николаса. Черное морщинистое лицо под шапкой седых курчавых волос выражало крайнюю озабоченность.

— Что случилось, компадре? — спросил я.

— Эль тигре! — ответил Николас. — Этот негодяй ута-

шил ночью осла у Энрике. Себадо, не иначе. Теперь придется на ночь загонять скотину.

И старый негр еще больше помрачнел при мысли о том, сколько стволов черных мангров надо срубить на столбы, чтобы получился надежный загон для осла и свиней.

Когда ягуар становится «себадо», иначе говоря, начинает нападать на домашних животных, он может причинить немалый ущерб нищим неграм побережья, которые ведут неравный бой с голодом.

С того дня я, уходя в лес, не забывал зарядить пулей третий ствол: вдруг столкнусь с большой кошкой?

Через неделю мы чуть было не встретились. Я ходил к устью реки километров за десять, выбирал подходящее место для ночного лова люцианид. А когда возвращался домой, на тропу внезапно выскочила насмерть перепуганная старушка. Я узнал в ней жену пастуха, который поблизости пас скот.

— В чем дело, сеньора?

— Эль тигре! Он только что зарезал телку на краю болота. Я видела, как он узолок ее из загона в мангры. А муж пошел в деревню, в лавку, и теперь ему достанется от дона Педро, это его телка, и...

Я не стал слушать дальше причитания несчастной бабки, а свернул на тропу, ведущую в мангры; до них от лачуги пастуха было с полкилометра. На ходу перезарядил ружье. Вставил два патрона с оленьей картечью, один с оболочечной пулей. Достаточно.

Держа ружье наготове, я выглянул из кустов в двадцати пяти метрах от мангров.

Все верно, бабушка не соврала. Изрытая земля, сломанные ветки, пятна крови на почве, стволах и кустах, полоса примятой травы, уходящая к манграм.

Гибкие ветви мангров сразу сомкнулись за большой кошкой. С опушки ее не высмотришь. Но над деревьями кружили три красноголовых грифа-индейки. Они-то уж

знают, где залег ягуар, во всяком случае где лежит убитая телка.

Идя против ветра, стараясь не шуметь, я обогнул заросли и сел на поваленное дерево. Теперь я просматривал сразу две стороны урочища.

Прошел час, второй. Ягуар не показывался, хотя, судя по грифам, он был там, в манграх. Идти за ним туда бессмысленно. В этой чаще видно от силы на пять метров, а ягуар не глух и не глуп. К тому же мангры занимали не меньше двух соток. Этого вполне достаточно, чтобы бесшумно ступающая кошка могла, ничуть не рискуя, сколько угодно играть в прятки с неуклюжим подслеповатым человеком. А до заката всего четверть часа. И фонарик дома.

Показались люди — пастух со своими четырьмя соседями. Сидеть в засаде теперь было бессмысленно, тем более что старики говорили очень громко. Они явно трусили.

Я вышел навстречу и попытался зажечь их планом военных действий, который тут же разработал. Я обойду мангры кругом и стану в засаду. А старики, выстроившись цепочкой с просветом в пять-шесть шагов, пусть врубаются в чашу своими рула — длинными тесаками. Шум напугает ягуара, он выскочит, и тут я возьму его на мушку.

Мой замысел не привел их в восторг, но они все-таки решили попытаться. Едва я занял позицию, как услышал их голоса. Они не только рубили мангры, но и подбадривали друг друга лихими воинственными кличами и осыпали противника отборными ругательствами.

Не прошло и минуты, как в ответ прозвучало отрывистое злобное рычание. Старики разом притихли. Потом их голоса раздались снова, но теперь уже подальше. Я поспешил к ним и спросил, что случилось.

Они ответили, что «эль тигре» напал на них. Он зарычал и вышел на опушку; понятно, они организованно

отступили. И без того не больно рьяные, охотники сразу утратили всякий пыл. Трудно упрекнуть людей, которые вооружены только тесаклами.

Агрессивное поведение ягуара натолкнуло меня на одну мысль. Он ведь показался, а это как раз то, чего я хотел. Может быть, удастся еще раз выманить его?

В десяти шагах от опушки я заготовил кучку комьев, сучьев и прочих метательных снарядов. Камней, к сожалению, не нашлось. Взяв ружье в левую руку, я правой швырнул ком твердой, засохшей глины в чашу, туда, где по всем признакам сидел «эль тигре».

Из мангров донесся басистый кашель. Я продолжал обстрел и время от времени слышал сердитые звуки. Но ягуар так и ограничился свирепым рычанием, хотя я кидал свои снаряды, пока не стемнело.

Старики уже ушли домой. Когда я перестал различать прицел и мушку, мне оставалось лишь последовать их примеру.

Неделю ягуар не появлялся. Видно, у него были довольно обширные охотничьи угодья. На девятую ночь после случая в манграх он утащил теленка из загона недалеко от Эль-Франсес, а через сутки зарезал у компад-ре Николаса свинью, конечно, самую большую и жирную. Несмотря на яростный лай двух собак, он отошел с добычей всего на полтора метра и устроил пир. Есть жертву он начал с головы, как принято у старых самцов.

Рано утром, пока на свинью не налетели грифы, Николас и его жена вооружились топором и рулоем и пошли ее искать. Им удалось опередить грифов, и несколько дней подряд в лачуге Николаса ели одну свинину. Не пропадать же добру только потому, что «эль тигре» угостился первым.

Засуха была в разгаре, болото усыхало с каждым днем. Теперь стало легче добывать мускусных уток. Ведь пло-

шадь неглубокой — где по колено, где по пояс — воды, в которой они находили тысячу убежищ, резко сократилась.

Еще с прошлого года я заметил место, где они собирались как раз в это время. И в светлую лунную ночь я отправился в путь, чтобы подстеречь их на зорьке. Идти надо было почти пятнадцать километров, из них последние пять по жидкой скользкой грязи, поэтому я вышел сразу после полуночи, чтобы поспеть к пяти утра.

Между двумя и тремя я ступил на сухой луг, с двух сторон огороженный лесом. При лунном свете отчетливо было видно высохшее дерево с отломанной вершиной, которое стояло шагах в десяти от опушки. Это был один из моих ориентиров, и я остановился напротив него, не доходя леса. На другом конце луга темнел островок низкорослых мангров — круглый пятачок метров около двадцати пяти в поперечнике.

Что-то «мое» сломанное дерево на себя не похоже... Конечно, лунный свет обманчив, но не настолько же. Верхушка словно бы подросла и стала толще. Осторожно делаю несколько шагов так, чтобы ствол оказался на фоне лунного круга.

— Уууу!

Мягкое, почти воркующее уханье. Мимо луны проносится тень, и опять сухая верхушка изменилась. Что это? От дерева отделяются две тени! Одна, сделав круг, возвращается, другая продолжает летать.

— Уууу! Уууу!

Чета филинов. И они так увлечены своими любовными играми, что не замечают человека внизу. А какие у них нежные, чуть ли не голубиные голоса!

Я тихонько приблизился к дереву, сохраняя дистанцию до леса. Когда знаешь, что в зарослях водятся и ягуары, и чимарроны, ночью туда не тянет.

Долго я стоял неподвижно, любуясь игрой крылатой пары при свете большой золотистой тропической луны.

Такие картины бережно сохраняешь в памяти, они и много лет спустя могут доставить радость.

Внезапно раздался кашель — короткий, басистый, суровый. Прямо за спиной у меня. Быстро поворачиваюсь, сдергиваю с плеча трехстволку, ставлю переключатель на пулю и взвожу курок.

Луг купается в лунном свете. Трава невысокая, еще до засухи общипанная скотом. Но я не вижу ни одной тени, кроме тех, которые пролегли вдоль опушки мангров.

Значит, звук оттуда.

Не могу сказать, сколько я простоял так, стиснув в руках ружье.

Ветра нет, ни один лист не шелохнется, но мне чудилось, что в манграх мелькают, мечутся блики и тени. А остановишь на чем-нибудь взгляд — движение прекращается. Лишь уголком глаза я улавливал его.

Филин сделал вираж над прогалиной, услышал при-



зывное «уууу» и повернул надо мной обратно. Крылатая тень скользнула по траве у моих ног.

Опять раздался кашель, и теперь я уже точнее определил место, откуда он слышался: из дальней левой части кустарника.

Это не угроза. И не призыв. Скорее вопрос. Видимо, ягуар услышал мои шаги или учуял мой запах, вот и кашляет теперь, чтобы я выдал себя невольным движением. Косуля и олень для этого иногда топают ногой.

Я стоял в нерешительности. Если набраться терпения и ждать, есть маленькая надежда, что ягуар не усидит на месте и пойдет. Возможно, он направится к ближнему лесу, тогда я смогу выпустить по нему пулю. Попаду ли? Лунный свет неверный, и расстояние не один десяток метров.

Пожалуй, стоит подождать, если только он не залег с добычей. Но тогда я бы слышал, как он ест.

Напряжение становилось невыносимым. Луна медленно опускалась. Полоса света между лесом и пятачком мангров сужалась. А ведь только на ней моя пуля может найти пятнистого, прежде чем он уйдет в густую тень.

Да, но я уже целую вечность ничего не слышу.. Родилось сомнение: там ли ягуар? Или ушел в лес с другой, не видимой мне стороны кустарника? После того как прозвучал кашель, он вполне мог отшагать уже несколько километров.

Лунная полоса превратилась в тонкую черту. Все, возможность упущена.

Я тихонько пересек прогалину, направляясь к пальмам биау, которые высились чуть левее кустарника. Оттуда можно держать под прицелом дальнюю опушку мангров. Я шел так, словно ступал босиком по битому стеклу.

Скрывшись за пальмами, я выглянул из-за ствола. Вдоль опушки кромешный мрак. Луг и болото пусты. Только кваква стоит между кочками у бочага.

Ничего не поделаешь. «Эль тигре» давно ушел. Теперь мне надо спешить, не то и уток прозеваю.

Выхожу на свет.

И снова кашель! Теперь он слышится с другой опушки мангров, с той самой, за которой я так долго наблюдал. Один глухой отрывистый звук, и все.

Пока я огибал мангры с этой стороны, ягуар крался вдоль противоположной. Он слышал меня и великолепно знал, где я.

Итог утренней охоты: я подстрелил шесть мускусных уток, а ягуар зарезал молодого бычка на гасиенде в двух километрах от деревни.

Владелец бычка рассердился и поехал в город, чтобы позвать на помощь друзей и раздобыть свору собак. На следующий день они прибыли в деревню, и на зорьке кавалькада выехала на охоту с собаками, ружьями и копьями.

Вскоре они отыскивали след, и начался гон. Он привел охотников к самой глухой части болота Гэрреро, где не пройти ни человеку, ни лошади. Отступая, ягуар решил передохнуть на наклонном дереве, со всех сторон окруженном водой. Собаки поплыли к нему, но «эль тигре» стоял настороже, готовый встретить их, если они отважатся лезть на ствол.

Хозяин собак застал эту сцену, но не успел прицелиться, как ягуар спрыгнул и скрылся в манграх.

Охотники вернулись на закате, усталые и злые, с ног до головы вымазанные илом.

Часа через два появились собаки, тоже измученные и обескураженные. У многих из них на голове и лопатках зияли царапины от когтей. Две самые смелые вообще не пришли, их ягуар оставил себе.

За голову ягуара была назначена награда — двести песо. Целое состояние для нищего негра.

Четыре ночи спустя «эль тигре» перелез через высокую изгородь и унес в лес жирную свинью. Свинья при-

надлежала лавочнику, первому богачу в деревне. Награда возросла до трехсот песо.

Свинью нашли наполовину съеденной, и лавочник велел посыпать ее стрихнином. В итоге погибли один опоссум, три грифа и собака соседа. А ночью «эль тигре» зарезал корову.

Так обстояли дела, когда я, одолжив лошадь, отправился за стариком Геронимо.

Геронимо — индеец из племени тучинов. Его народ — то, что от него осталось, — люди мирные, добродушные; их земли простерлись вдоль цепочки озер в нижнем течении Сину. Тучины возделывают кукурузу, ловят рыбу, черепах и очковых кайманов (хвост каймана — одно из их любимых блюд), делают шляпы. Прежде они плели отличные корзины из каньябрава и выменивали на них что-нибудь у соседних племен. Теперь, когда соседних племен не осталось, они плетут отличные шляпы и продают их бледнолицым и неграм. Искусство плетения — одна из немногих зримых черт старой культуры, которые им удалось сберечь.

Впрочем, они сохранили еще кое-что из наследия предков. И главный хранитель старины — Геронимо.

Мы познакомились давно. Ему известно, что много лет назад меня приняли в свое племя индейцы энгвера. На памяти людей тучины и энгвера никогда не враждовали между собой. В языке тучинов много слов, заимствованных у энгвера.

В тридцати шагах от хижины Геронимо я привязал свою лошадь в тени под деревом гуамо, повесил на ветки ружье и мачете и пошел к дому.

Старик сидел на скамейке и смотрел, как его бабка плела шляпу. Сам он только что кончил вырезать черенок для рыболовного крючка.

Не доходя нескольких шагов, я остановился и сказал по-испански: «Добрый вечер», а потом на языке энгвера — «Я пришел с миром». Старик ответил мне так же. Ста-

рушка встала и скрылась в хижине. Тотчас оттуда выскочил мальчуган, который вынес мне низенькую бальсовую скамеечку. Это был внук Геронимо, он надеялся получить от меня крючок. Получил два, широко улыбнулся и исчез.

Последовали обычные в таких случаях вопросы и ответы; я вручил старику подарок — пачку недорогих сигар. Мы молча покурили. Вышла старуха и подала каждому из нас по миске итуа — что-то вроде кукурузного пива. У индейцев Северной и Западной Колумбии миска пива играет ту же роль, что трубка мира у краснокожих Северной Америки. Я не знаю худшего зелья, но отказаться — значит смертельно оскорбить хозяев, все равно что объявить им войну. Остается только зажмуриться, глотать да учтиво похваливать напиток. Правда, не слишком пылко, а то еще нальют.

Завязалась обстоятельная, неторопливая беседа о рыбной ловле, урожае кукурузы, ценах на соль.

Но вот все приличия соблюдены, можно выкладывать, зачем я прибыл.

Геронимо терпеливо выслушал меня. У него было каменное лицо, лишь один раз мне почудилось, что глаза его сверкнули: это когда я упомянул о награде. Но сразу же они опять превратились в обсидиановые шарики. Я подчеркнул, что не претендую на долю, мне бы только получить шкуру и череп.

Когда я кончил, он долго сидел молча. Потом заговорил о ценах на свиней и строительстве новой дороги.

Через два часа я встал, подошел к лошади, затянул подпругу, прицепил на пояс мачете, повесил на плечо ружье. Затем повернулся к Геронимо, чтобы попрощаться, и увидел, что он протягивает мне веревочку с пятью узелками.

Значит, все в порядке: Геронимо согласен попытать счастья.

На пятый день, утром, когда я сидел на приступке

«дворца», который мы снимали, на пыльной деревенской площади вдруг появился Геронимо. Он бесшумно подошел ко мне, сказал «ка» и сел рядом. Он принес с собой плетеный лубяной мешок. Там лежал какой-то сверток, с которым старик обращался чрезвычайно осторожно.

Мы позавтракали, выпили кофе (Геронимо учтиво заметил, что кофе белых почти не уступает индейскому итуа), посидели немного и отправились в лес. По настоянию Геронимо мы сперва пошли не в ту сторону, куда нам было нужно. Таинственный сверток он обернул старой сетью, которую одолжил у меня.

В лесу он для начала как следует отчитал меня за то, что я последние дни не воздерживался от мяса, рыбы и соли, а также табака и прочей скверны. Уж очень сильно от меня пахнет. Ладно, попытаемся сделать так, чтобы ягуар вышел с наветренной стороны. Тогда еще можно на что-то рассчитывать.

Да, вот что значит энгвера...

Прочитав мне нотацию, Геронимо повел меня к болоту Гэрреро. Около трех часов дня мы заняли позицию на краю рощицы с таким расчетом, чтобы ближайший кустарник был с наветренной стороны. За рощицей тянулась открытая глинистая площадка шириной несколько сот метров. Вряд ли зверь пойдет оттуда.

Начался искуc на терпение. Для начала надо было просидеть, не двигаясь и не говоря ни слова, не меньше часа, пока ветер не развеет человеческий запах там, где мы прошли.

Затем старик извлек из лубяного мешка загадочный сверток. Внутри него оказался красивый плетеный короб, а в нем, обернутый тряпками и паклей, лежал большой, тщательно вылепленный глиняный горшок.

Геронимо повертел его в своих морщинистых руках, осмотрел со всех сторон, потом сунул в него голову и крикнул.

Хотя мне с самого начала было ясно, что последует, я невольно вздрогнул. Невероятно! Я мог бы поклясться, что это самка ягуара подала голос в метре от меня. Ее рычание похоже на зов самца, но оно не такое суровое и басистое, так что привычное ухо отличит его. Особенно в пору гона.

Еще полчаса мы просидели совершенно тихо.

Потом Геронимо снова крикнул. На этот раз мы услышали ответ. Из болотного леса у Эль-Франсес донеслось далекое, но достаточно отчетливое рычание.

И опять тишина. Минуты ползли невыразимо медленно.

Близился вечер, но жара еще не спала. К счастью, мы сидели в тени, да и то пот катил с меня градом. Я не смел пошевелинуться, чтобы протереть глаза. О сигарете не могло быть и речи.

В следующий миг я забыл и про пот, и про табак: снова раздался призывный голос ягуара, теперь уже ближе, гораздо ближе.

Геронимо не ответил. Он сидел, словно деревянный идол, и слушал.

Несколько минут безмолвия — и опять негромкое рычание, почти бормотание.

Старик кашлянул в горшок, но куда тише, чем в первый раз.

Ответ последовал почти сразу. В нем было волнение, нетерпение. Потом надолго воцарилась тишина. Прошло минут пятнадцать, двадцать. Наконец индеец рыкнул. Звонче, резче, как бы с вызовом.

Ягуар отозвался через несколько секунд, да так громко и пылко, что я непроизвольно взвел курок. Слава богу, что механизм был хорошо смазан и я по привычке придержал спусковой крючок. Если бы ружье щелкнуло, Геронимо никогда в жизни мне бы этого не простил.

Последний раз ягуар подал голос из того самого кус-

тарника, который был с наветренной стороны. Неужели выйдет? Покажется, прежде чем стемнеет? Тени, что ни минута, все длиннее и длиннее...

Пятнистый снова рыкнул. Геронимо ответил коротким бормотанием.

Я не уловил миг, когда ягуар вышел из зарослей. Увидел его, когда он уже был на прогалине между кустарником и рощицей. Судя по всему, он хотел обогнуть наше укрытие, а затем по запаху подойти к самке, которая его звала.

Сила — могучая, буйная сила в мощной шее, массивной голове, широких лопатках. Сила и мощь — вот первое впечатление. А шел он легко, будто влекомый ветром. Шел спокойно, уверенно. Голову опустил, точно искал след.

Блестящая мушка смотрит на пятнистую шкуру. Семьдесят шагов... шестьдесят... Ближе не подойдет, и как раз бок подставил. Не помню сам, как я нажал спуск.

Большой кот высоко подпрыгнул, пораженный оболочечной пулей. Потом круто свернул и понесся вскачь мимо нашего укрытия.

С тридцати шагов я выпустил в него самодельную свинцовую пулю, которой был заряжен левый ствол. Ягуар с ходу перекувырнулся, упал на бок и замер.

Я мгновенно открыл затвор, перезарядил и приготовился. Но противник лежал неподвижно. Тогда я вышел из рощи, остановился в пятнадцати шагах от ягуара и прицелился. Старик бросил в него ком глины.

Никакой реакции. Ее и не могло быть. Первая пуля пронзила нижнюю часть сердца. Вторая размозжила шейный позвонок.

Свой последний рывок «эль тигре» сделал уже вслепую, смертельно раненный. Второй выстрел, можно сказать, только сбил его с ног. Выходит, я зря истратил одну пулю? Нет, ведь даже в последнем прыжке крупная кошка шутя может разорвать в клочья двуногого врага.

Старого ягуара не считайте мертвым, пока вы не потянули его за хвост. Да и то еще неизвестно...

У наших ног добыча весом восемьдесят килограммов. Через полчаса стемнеет, а до деревни десять километров. Что делать? Идти за помощью?

Геронимо улыбнулся и подбородком указал на две коренастые фигуры, которые спешили через прогалину к нашему укрытию. Два молодых тучина, племянники старика, подошли и принялись связывать лапы ягуара лыком махагуа. Ребята заранее припасли крепкую жердь, чтобы нести добычу.

И вот мы гордо шествуем к деревне. Возле последней рощицы Геронимо словно растаял во тьме.

Два молодых индейца донесли ягуара до первых домов деревни. Тотчас на улицу высыпали негры, которым не терпелось посмотреть на разбойника и помочь носильщикам. Получилось настоящее праздничное шествие.

Когда мы после многократных остановок под гул голосов наконец добрались до места, молодых тучинов тоже уже не было.

Дней через десять я приехал верхом к хижине Геронимо, чтобы передать ему награду. Старушка сияла и потчевала меня своим ужасным итуа. Даже Геронимо широко улыбнулся при виде денег. И спросил меня, не продам ли я ему несколько патронов.

— У моего старшего брата есть ружье? — удивленно спросил я.

Старик молча кивнул.

— Почему же мой старший брат сам не застрелил большого имама, который резал скот?

Старик подавил улыбку.

— Кто их знает, этих вороватых бледнолицых, захотят ли они платить старому бедному тучину, — сказал он. — Другое дело энгвера. Да и пули денег стоят.

Коротко и ясно. Спасибо еще, не назвал меня бледнолицым.

С аэродрома Техо под Боготой взлетает старый, выдавший виды транспортный самолет колумбийских ВВС. Делает круг-другой над плато, набирая высоту, и летит через перевал на восток.

Научная экспедиция в Макаренские горы, организованная Государственным университетом, наконец-то в пути.

Гряда Кордильера Макарена высится к востоку от самой восточной из трех горных цепей колумбийских Анд, среди лабиринта истоков реки Гуавьяре. Рядом со своей соседкой, Восточной Кордильерой, она выглядит неказистой. Длина — около ста тридцати километров, ширина на севере — пятьдесят километров, на юге — неполных сорок. Самые большие вершины (они находятся в северной части) достигают всего двух с половиной тысяч метров; Богота лежит выше. И все же они кажутся высокими рядом с подступающими с юга равнинами, средняя высота которых — около пятисот метров.

Можно подумать, что Кордильера Макарена — отрог самого длинного в мире хребта, могучих Анд.

Но это не так. В сравнении с Макаренскими горами Анды совсем молоды, этакие третичные выскочки, по-юношески лихо вздымающие свои снежные пики к тропическому небу. Они начали складываться в эоцене или палеоцене, всего шестьдесят — семьдесят миллионов лет назад, когда динозавры, крылатые ящеры и пресноводные пелагенты давно упокоились, млекопитающие стали брать верх, а рептилии и рыбы приобрели совсем современный вид.

В Восточной Кордильере, выше озера Тота в департаменте Бояка, я сидел как-то на обломках кораллового рифа юрского периода. Барометр показывал высоту 3850 метров над уровнем моря. Морские отложения мелового периода можно найти и на большей высоте, ска-

жем, на холодных парамос Чисаки; там, судя по барометру, 4220 метров.

Кордильера Макарена куда старше Анд. Это часть доандского хребта, который некогда простирался от Минас-Жерайс (Южная Бразилия) через Гвианское нагорье до третьего или четвертого градуса северной широты, а то и еще дальше. Третья параллель сечет северную часть Макаренских гор. Там древнейшие формации относятся к ордовику — периоду, от которого до нас дошли первые ископаемые остатки наших рыбьих предков, живших не меньше четырехсот миллионов лет назад.

Только на самой южной окраине гряды можно встретить следы юры и мела — морские отложения с окаменевшими элопидами, сельдиями группы, которая и поныне обитает в тропических морях.

До конца мелового периода хребет Южной Америки тянулся вдоль восточного, а не западного, как теперь, края материка. Лишь после того как образовались Анды и могучие реки с их восточных склонов принялись прогрызать себе путь к Атлантике, древний, выветренный доандский хребет постепенно распался на куски.

Рорайма, Дуида и Ауян-Тепуи в Венесуэле — останцы этой древнейшей горной цепи. Такой же останец Кордильера Макарена. Возможно, есть еще останцы в необозримых просторах Амазонки, скажем, между истоками Апапорис.

Со склонов Кордильеры Макарены реки текут в Гуавьяре, а Гуавьяре, пройдя почти тысячу километров, вливается в Ориноко.

Анды остались позади. Мы летим над лесом и маленькими речушками — притоками Мета. Внизу мелькают пригорки, водораздел бассейнов Мета и Гуавьяре, а впереди уже голубеют вершины.

Зоологи, ботаники, геологи привстают и смотрят на хаос пиков и скал, отвесных обрывов и глубоких ущелий. Что там скрывается?..

В северной части гряды уже работали ученые, особенно потрудились орнитологи. И конечно, герпетолог Фред Медем. Где он только не побывал! Десять лет на притоках Ориноко и Амазонки — это лишь одна страница его послужного списка.

Зато южная половина не изучена натуралистами. К ней мы теперь и подлетаем.

Под нами невысокие плоские возвышенности — месета — со своей необычной растительностью, уже побуревшей от засухи.

Самолет снижается. Видно широкую реку, лес на береговых террасах, дальше — льянос: скудные луга, жухлая трава на каменистой почве. Несколько коров. Несколько домишек.

Самолет делает вираж и садится в высокую серо-желтую траву. Сама природа приготовила здесь посадочную площадку.

Это ближайшее к Кордильере Макарене поселение. Капитан Томпсон, бывший офицер военно-воздушных сил США, устроил тут постоянный лагерь: пять-шесть хижин под крышами из пальмовых листьев. На берегу реки лежали алюминиевые лодки с подвесными моторами. Томпсон зарабатывает, в частности, тем, что принимает постояльцев и возит охотничьи экспедиции вверх или вниз по реке, чаще вниз. Все, что нужно прилетающим гостям, доставляет самолет.

Чуть выше по Гуаяберо живут две семьи поселенцев и горстка индейцев тинигуа, последние из своего племени.

В самих Макаренских горах никто не живет. Тысячи квадратных километров гор и лесов почти не тронуты человеком.

Объясняется это очень просто. Здешние дебри — сплошной очаг особого вида желтой лихорадки, переносимой дневными комарами. Бациллоносителями служат, видимо, один или несколько видов обезьян, которые сами обладают иммунитетом: паукообразные, реву-

ны, саймири, капуцины, прыгуны. Только потешные ночные обезьянки дурукули восприимчивы к инфекции.

День они проводят высоко на дереве, обычно в дупле, куда комары не добираются. Но если поймать ночную обезьянку и держать ее в лагере, она недели через две умрет от болезни, которая по всем признакам отвечает желтой лихорадке у человека.

Это давно известно, да мы и сами видели подобные примеры во время экспедиции. Нам-то, конечно, сделали прививки.

На следующий же день по прибытии мы отправились на моторной лодке вверх по реке искать место для базы. Облюбовав уступ в пятидесяти шагах от берега, начали строить хижины. Сразу за лагерем вздымались кручи Кордильеры Макарены. Ручей обеспечивал нас чистой водой.

Стены обрывов изобиловали пещерами и карнизами. Некий исчезнувший народ оставил на камне множество рисунков и символов. Большинство изображений было выполнено красной краской, остальные — черной.

Что это за народ, установить нельзя. Сборщики каучука, миссионеры, торговцы и прочие эксплуататоры начисто искоренили местную культуру. Ни тинигуа, ни гуаяверы, ни пуинаве, ни пиапоко не могли нам ничего сказать о наскальных изображениях. Может быть, не хотели?..

Вслед за нами из Боготы прибыл некий благочестивый «этнограф», чтобы изучить роспись и выяснить ее происхождение. Фред, нижеподписавшийся и еще несколько еретиков надеялись, что он откроет следы пропавших колен Израиля. Но «этнограф» не оправдал наших надежд; впрочем, в газетах Боготы он сообщил, что наряду с древними индейскими зарисовками черепах, оленей и прочей съедобной фауны им найдены какие-то непонятные закорючки, а также древнееврейские и китайские письмена!

Еще выше по реке на скалах у порога мы увидели высеченные изображения; преобладали фигуры животных.

А как же наша работа? Нам, точнее, кое-кому из нас не терпелось начать сбор материала и наблюдения. К сожалению, сперва нужно было завершить организационную часть.

Когда два десятка ученых собираются в экспедицию в почти необитаемые края, казалось бы, естественно послать вперед людей, чтобы они подготовили базовый лагерь, раздобыли лодки, наладили снабжение продовольствием и так далее. Мы с Фредом, исходя из пятнадцатилетнего опыта работы в девственных лесах, требовали, чтобы так и было. Но что могут сделать двое против целого взвода кабинетных ученых, твердящих, что все это лишние расходы?

И вот теперь мы теряли драгоценное время. Засуха начинается в этих местах в конце декабря и длится до второй половины марта, потом реки разливаются от бурных ливней, и исследование, тем более рыб, становится невозможным.

Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Потратив несколько дней, я подобрал себе помощника, нанял пирогу и купил у индейцев фариньи. Фаринья напоминает муку крупного помола, делают ее из высушенных корней юка брава — ядовитого маниока. Я запасся также солью, сахаром, кофе и бульонными кубиками; это далось мне ценой долгих переговоров с руководством экспедиции. Рыболовная снасть, дробовик и боеприпасы у меня были свои.

И вот мы — мой помощник Энрике и я — садимся в пирогу. Главное — уехать подальше от лагеря и начать работу.

Сперва мы шли на веслах, не слишком утомляясь, но вскоре попали в стремнину, и пришлось взяться за шесты. От неопытного человека это требует известного напряжения сил. Один из нас шагнул по каменистому бере-

гу, перекинув через плечо веревку, к которой была привязана лодка, второй стоял в пироге и отталкивался шестом.

Энрике не был мастером этого дела, но недостаток умения возмещал рвением. Пирога нам попалась тяжелая, неуклюжая, неладно скроенная, зато устойчивая, а это особенно важно, когда шестовик неопытен.

Километр за километром мы пробивались вверх по Гуаяберо. Шли не очень быстро, но мы ведь не торопились, предпочитали обстоятельно, без спешки изучать животный мир.

Нам встречалось очень много цапель и бакланов; несколько раз мы видели гусей рода *Neochen*, которые прежде мне не попадались. Один гусь подпустил меня на расстояние выстрела. Вот и обед есть!

Под вечер мы свернули и пошли вверх по реке Лосаде — небольшому притоку Гуаяберо. Потянулись песчаные берега, которые кончались у порога; ниже его был плес с чистой тихой водой, из которой торчали стволы и ветви снесенных разливом деревьев.

Мы вытащили пирогу на берег, закрепили ее и разбили лагерь. Это было достаточно просто. Между кустами гуаявы мы подвесили гамаки и противомоскитные сетки, срубили две рогатки и перекладину, собрали валежник — вот и все.

С гуся сняли кожу и обработали ее бораксом (потом орнитолог сделает остальное); съедобные части попали в котелок.

Энрике принялся стряпать обед и варить кофе, а я взял накидку и пошел проверить, есть ли в Лосаде интересные рыбы.

Впервые забросить сеть в новую реку, о жителях которой практически ничего не известно, — есть ли что-нибудь более волнующее?

Рыбы бассейна Ориноко мало изучены. Эйгенманн, Мийерс и другие описали ихтиофауну Мета, Шульц —

рек Венесуэлы; они нашли много неизвестных видов. Что касается Гуавьяре, то, может быть, о здешних рыбах что-нибудь и было написано, но я сколько ни копался в литературе, ничего не нашел. Между тем опыт говорил мне: если даже две реки принадлежат к одному и тому же бассейну, рыбы одной из них (особенно мелкие) не всегда идентичны обитателям другой.

Неоднородность фауны верхнего и нижнего течения большой южноамериканской реки давно стала аксиомой даже для самых отъявленных скептиков из натуралистов.

Ниже порога кишела всякая мелюзга. Каждый раз, как я забрасывал свой ажурный «колокол» и вытаскивал его на песок, в ячеее искрилась чешуя. Это были харациновые, непохожие на тех, которых я ловил в Магдалене и Сину. Многие виды я знал только по литературе или выцветшим экспонатам в музейных коллекциях: *Tetragonopterus*, *Pristella*, *Moenkhausia*, *Exodon*, *Chilodus*.

Я десятками отправлял рыбок в бидон со спиртом. Хотелось собрать по пятнадцать — двадцать штук каждого вида, чтобы точно определить их и установить пределы отклонений. Попадались и совсем новые виды. Новые для меня; известны ли они науке, будет видно потом. Семейство *Characidae*, например, включает около тысячи видов, и определить в поле всех его представителей трудновато. Для этого нужны библиотека и микроскоп:

Когда Энрике крикнул, что обед готов, я с трудом оторвался от лова, хотя завтракал еще на рассвете, да и то наскоро.

Гусь был отличный, суп тоже, не говоря уже о кофе и сигарете. Едва солнце зашло и вездесущие песчаные мухи немного уgomонились, я снова занялся ловом, теперь уже с помощью Энрике. Он отлично управлялся с накидкой, чем очень меня порадовал.

Мы поставили жерлицы на сомов, наживив крючки

внутренностями гуся. Затем принялись ловить сетью выше и ниже порога; один закидывал сеть, другой светил.

На жерлицы мы ничего не взяли, а почему, я понял, когда посветил вокруг фонариком.

На плесе красными огоньками сверкали два широко расставленных крокодильих глаза. Когда в заводь приходит крокодил, крупные сомы прячутся. Старая истина, и пока что я ничего не мог поделать.

Крокодилы бассейна Ориноко принадлежат к особому виду — *Crocodylus intermedius*. Они еще более остроносы, чем обычные *Crocodylus acutus*.

Не худо бы добыть одного из них для наших коллекций... Но у меня была только плохонькая итальянская двустволка шестнадцатого калибра, купленная по той же причине, по какой вор украл горячую плиту: ничего другого не было. Моя верная трехстволка вместе с другим снаряжением оказалась на дне Сину, когда лодка разбилась вдребезги на порогах. Сам я тогда выбрался на берег метрах в двухстах ниже — без еды, спичек, табака, вооруженный только ножом. А до ближайшего поселения было два дневных перехода.

Дробовик — не очень-то подходящее оружие против крокодила. В сумке у меня лежали два патрона с самодельными пулями, но попадешь ли еще с такого расстояния? А гарпун мы не захватили.

И я решил послать на следующий день за знатоком рептилий Фредом Медемом, а пока продолжать лов рыбы.

После заката в реке явно произошла смена караула. Теперь нам уже попадались не только хараценовые, но и мелкие сомики, в том числе один вид *Pimelodella*. Когда мы извлекали их из сети, они начинали метаться и топорщили свои усаженные острыми шипами грудные плавники. Эти шипы покрыты ядовитой слизью, и первый укол жжет, как жало шершня. Потом вырабатывается невосприимчивость, и уже после третьего, четвертого

укола почти ничего не чувствуешь. Я сталкивался с *Pimelodella chagresi* в бассейне Магдалены, а потому не очень-то их остерегался. Один сомик тотчас уколол меня в большой палец. И ничего — ни жжения, ни боли. Видно, состав яда у них был тот же, что у их магдаленских родичей, хотя они относились к другому виду, как оказалось потом, новому для науки.

Затем я вытащил из реки сомика, который напоминал угря. Он отчаянно извивался, стараясь присосаться к сети. Когда я взял его в руки, он прилип к моему указательному пальцу. Верхняя челюсть рыбки быстро задвигалась, и из мельчайших царапин на пальце выступила кровь.

Это был *Vandellia plazai* из семейства Pygidiidae, которое обитает только в реках Южной Америки. Большинство членов этого семейства ведет вполне почтенный образ жизни, но некоторые из них стали паразитами, что бывает довольно редко среди позвоночных. Они паразитируют даже на своих дальних родственниках, крупных сомах семейства Pimelodidae, самых распространенных рыбах многих южноамериканских рек. Обычно паразитирующие виды забираются в жаберную полость и сосут кровь из жабр, но *Vandellia* более бесцеремонны. Они часто присасываются к бокам крупного сома, особенно вдоль боковой линии. Острыми как игла зубами верхней челюсти они царапают кожу, и получается кровоточащая ранка.

Иногда они вгрызаются глубже, но настоящих внутренних паразитов из них еще не вышло. Наверно, они не могут дышать в толще тканей «хозяина».

В области Амазонки есть тонкие, как нитка, паразитирующие сомы, о которых рассказывают, будто они проникают в анальное отверстие купающегося человека и причиняют ему страшные мучения, даже убивают его, если их не извлечь, а для этого нужна операция. Не знаю, насколько это достоверно, но такие случаи описаны в специальной литературе.

Эти же виды могут существовать и не паразитируя, во всяком случае какое-то время. Я сам их ловил наряду с теми, которые сосали кровь у «старших братьев». Свободно плавающих *Vandellia* и *Schultzichthys* я всегда находил в тихих, илистых заводях ниже порогов, где обычно отдыхают и большие сомы.

Кончив лов, я пошел к кустам, чтобы развесить для сушки накидку. Вдруг Энрике закричал:

— Водяная змея плывет!

В самом деле! Поблизости от берега вниз по течению плыла змея длиной с метр. Я накинул на нее сеть, и в банку со спиртом попал еще один экземпляр.

Этот вид не ядовит, но отличается буйным нравом и норовит укусить все, что подвернется. Большинство индейцев считают его опасным. Насколько я знаю, это единственная безвредная змея, которая ввела в обман даже знатоков природы — энгвера: они убеждены, что она ядовита.

Рано утром проходившие мимо тинигуа захватили мое письмо к Фреду, и через несколько часов он явился на моторной лодке, вооруженный гарпуном и мелкокалиберкой.

Весь день мы ловили рыбу на берегу выше порога, чтобы без нужды не тревожить крокодила; когда же стемнело, сели в пирогу.

Энрике не привык грести бесшумно, поэтому я взял весло и устроился на корме, а Фред стал на носу, приготовив фонарь и гарпун. Дробовик лежал у меня под рукой; в одном стволе волчья картечь, во втором самодельная пуля. Мне было строго-настрого приказано стрелять лишь в самом крайнем случае и только не в голову, чтобы не повредить череп. Мелкокалиберка Фреда тоже была с нами, но ею можно было разве что добить зверя с одного-двух метров.

Я уже говорил, что пирога была неуклюжая, но устойчивая. С некоторым трудом мы вывели ее на глубокое

место. Дальше я пустил лодку по течению, иногда подгоняя ее веслом, чтобы не терять управления.

Луч света от фонаря Фреда скользил по темной воде. С одной стороны тянулся открытый песчаный берег, окаймленный кустарником, с другой стояла черная стена девственного леса. Луна шла на убыль, ярко мерцали звезды. Тут и там из воды торчали голые сучья, пепельно-серые в электрическом луче.

Вдруг Фред дважды шелкнул языком (условный сигнал) и указал гарпуном направление. Не вынимая из воды весла, я развернул пирогу вправо и медленно погнал ее вперед.

Еще несколько метров — и я различил темно-красные точки, будто тлеющие сигары. Значит, настоящий крокодил, не кайман, у того глаза светлее.

В следующую секунду мой угол зрения совсем разошелся с направлением луча, и огоньки пропали. Но я запомнил, где они были.

Фред поднял руку с гарпуном и замахнулся. Пирогой качнулась, когда он метнул оружие.

Вода вскипела... Мелькнул чешуйчатый хвост... Чуть-чуть по лодке не ударил!

А затем прямо к Фреду метнулась из воды длинная морда с разинутой пастью. Могучие челюсти с блестящими, словно кинжалы, клыками сомкнулись вокруг его левой руки. Пирогой накренилась и зачерпнула воду. Я упал на другой борт, чтобы выровнять лодку, и одновременно схватил ружье. К моему удивлению, крокодил выпустил добычу и ушел обратно под воду. Я послал заряд картечи ему в шею и лопатку, бросил ружье, взял весло и дал задний ход, чтобы уйти от мощного крокодильего хвоста.

Фред, опустившись на колени, вытравливал гарпунный линь. По его руке струилась кровь.

Мы подвели пирогу к берегу, привязали к дереву линь и, как могли, перебинтовали Фреда. Первым делом надо

было остановить кровотечение (к счастью, артерия не пострадала) и дезинфицировать раны. Пасть крокодила не назовешь антисептической.

— Почему он отпустил руку? — спросил я. — Я думал, он выдернет тебя из лодки!

— А я применил старый индейский прием, которому меня научили кофаны, — спокойно ответил герпетолог. — Сожми большим и указательным пальцем глаз крокодила — сразу отпустит. У меня же одна рука была свободна.

Я слышал, что индейцы отбиваются этим способом от крокодилов и черных кайманов, но никогда не ожидал, что увижу это своими глазами. Не всякий достаточно хладнокровен и сметлив, чтобы применить такой трюк.

Закончив перевязку, мы втроем попробовали тянуть линь, но это было все равно что попытаться сдвинуть утес.

Раз-другой мы чувствовали, как крокодил передвигается. Вдруг он рванулся, да так, что мы едва не выпустили линь. Хорошо, что его конец был привязан к дереву.

Секунд двадцать линь был натянут, как скрипичная струна, потом сразу ослаб, и мы выбрали его. Крокодил сорвался и ушел.

Искать его в темноте было бессмысленно. Мы возвратились в лагерь, решив возобновить охоту утром.

С первыми лучами солнца мы снова вышли на плес. Иногда смертельно раненная рептилия выбирается на берег, и мы надеялись найти крокодила мертвым либо на берегу, либо в заводи.

Энрике греб, мы с Фредом смотрели. Внимание! Фред показал на желоб в песке возле камней. Мы тихо подошли туда и увидели, что след ведет вдоль ручья вверх, в лужу между скалами, которые торчали в двух-трех метрах от реки.

Будь уровень воды повыше, лужа была бы надежным укрытием. Теперь же она оказалась западней.

Энрике тыкал шестом в расщелины, Фред держал наготове гарпун. Я должен был стрелять, если понадобится.

Энрике нащупал крокодила с третьей или четвертой попытки. Тот переполз под водой на другое место, но, убедившись, что это бесполезно, ринулся вниз к реке. Фред вовремя разгадал маневр крокодила и у самой воды догнал его.

На этот раз дракон не стал бросаться на него, он помышлял только о бегстве. Редко мне доводилось видеть, чтобы крокодил улепетывал так быстро. Но его скорость была недостаточной. Плечистый латыш даже не стал метать гарпун, он подбежал вплотную и вонзил его, словно пику, между ребрами крокодила. И отскочил назад в тот самый миг, когда могучий хвост описал дугу, будто коса.

Я стоял с ружьем, готовый перебить чудовищу позвоночник пулей. Но этого не понадобилось: гарпун попал прямо в сердце.

Мы осмотрели нашу добычу. Да, ночью Фред немного не рассчитал: наконечник гарпуна лишь скользнул по ребру и вспорол тугую кожу. Потому-то крокодилу и удалось уйти.

Мы вытянули рептилию на песке и приступили к обмеру.

«*Crocodylus intermedius*, самка, общая длина 344,8 см, без головы и хвоста...» и так далее.

— Почему же он не остался в реке, рана-то была легкая? — спросил я.

— Может, пираньи выгнали, — сказал Энрике.

Он отрезал у крокодила кусочек мяса и бросил в реку.

Тотчас вода забулрила. Стая рыб метнулась к поверхности. Длинной с мою кисть, широкие, смахивающие на леща, с бульдожьей — насколько это возможно у рыбы —

головой. Они дружно набросились на мясо, в несколько секунд оно было разорвано на десятки волокон и исчезло в жадных пастьях.



Пирании, они же карибы, они же *Serrasalmus piraya*.

Энрике отправился на пирог за накидкой, а я тем временем подстрелил тукана. Их было множество на плодовом дереве возле реки. Сняв с птицы кожу (для орнитолога), я разрубил мясо ножом на подходящие куски и стал ждать Энрике.

Интересно было наблюдать реакцию пираний. Когда я бросал в воду щепку, камешек или красный цветок, одна или две из них лениво подплывали на всплеск и тут же поворачивали обратно. Зато кусок мяса, особенно с кровью, в полминуты собирал вокруг себя всю стаю.

Для опыта я привязал мясо к бальсовой щепке и

швырнул в реку. Через тридцать секунд около приманки выстроилась очередь, еще через сорок все было подчищено.

Я впервые встретил пираний. В Магдалене, Сину, Аtrato и других реках Северной и Западной Колумбии пираньи не водятся, они обитают только в бассейнах рек от Ориноко до Параны. Понятно, мне захотелось получить материал для своих коллекций. Наверно, этих ненасытных хищников можно поймать на крючок, если насадить мяса. Я заменил нейлоновый поводок на своем спиннинге проволочным и привязал хороший крючок.

Пираньи клюнули. Дважды закинул — две рыбы. Но затем остальные явно смекнули, в чем дело. Они виртуозно слушивали наживку с крючка быстрыми легкими укусами своих острейших зубов. Я попробовал обмануть их маленькой блесной, но пиранья перекусила крючок у самого основания.

Разочаровавшись в спиннинге, я решил приманить их куском мяса побольше и испытать наживку. Маневр удался, но лишь один раз, да и то большинство рыб ушло прежде, чем сеть легла на дно. Только три штуки застряли, и они основательно попортили мне сеть, пока мы их вытаскивали.

Пришла моторная лодка, и Фред уехал с добытым крокодилом. Энрике и я подогнали пирогу к перекату, перетащили ее через него и двинулись дальше вверх по реке, орудуя где веслом, где шестом.

Из-за бездождья Лосада так обмелела, что местами мы шли вброд и тянули лодку за собой на веревке. Переступали с опаской, проверяя ногами дно и прощупывая путь шестами. Отнюдь не излишняя предосторожность: раза два мы спугнули крупных речных хвостоклов.

Дойдя до глубокого места, мы снова садились в пирогу. Мой помощник греб, а я сидел на носу, положив ружье на колени, смотрел и слушал.

Внезапно в кустах у самой воды раздались странные квакающие звуки. Я пригляделся: среди зелени мелькали грязновато-рыжие птицы с хохлом из растопыренных длинных перьев. Они были величиной с фазана; одни сидели, расправив короткие округлые крылья, другие лазали по веткам.

Ошибиться нельзя: гоацины. Они обитают только в Южной Америке, от восточных склонов Анд до Гвианы и Венесуэлы. Гоацины — дальние родичи куриных, но кое-чем они скорее напоминают древних птиц. У птенцов на крыльях есть хорошо развитые «пальцы» и когти, они умеют лазать, плавать, нырять, не могут только ходить по земле.

У взрослых птиц «пальцы» срастаются. И плавать они уже не способны, но лазают хорошо. Летает гоацин тяжело, неуклюже, да это для него и не так уж важно, ведь ему все всего-то надо пролететь метра два-три, от одной ветки до другой. Их голоса больше всего напоминают «кваканье» кайманенка: «Эк! эк!»

Иногда от гоацинов распространяется острый, очень неприятный запах. Возможно, это зависит от пищи.

Мы долго сидели неподвижно, рассматривая удивительных пернатых. Наверно, Archaeopteryx юрского периода выглядел примерно так же. Правда, у него вместо десяти хвостовых перьев был длинный, обросший перьями змеиный хвост.

Добыв один экземпляр гоацина, мы двинулись дальше.

Снова песчаный бережок. А за ним на опушке леса — две белоголовые древесные индейки. Я подстрелил их с лодки и пошел вброд за добычей. Хватит и на обед, и на завтрак!

Песок был испещрен следами, где старыми, полустершимися, где свежими, совсем четкими. Их оставили маленькие, сердечком, копытца оленей и толстые с растопыренными пальцами ноги тапиров. Вдоль опушки

тянулись старые отпечатки больших круглых лап — след ягуара.

А это что за полоса петляет? Будто проехал грузовик на одном колесе необычной ширины. От реки в лес, через десяток метров из леса опять на берег. Там, где песок сменяла галька, след терялся.

Я долго гадал, наконец меня осенило: анаконда, кто же еще! И крупная. Я замерил ширину следа металлической рулеткой; оказалось в среднем тридцать восемь сантиметров.

Конечно, по этому нельзя судить о размерах змеи. Она могла быть толстая или тонкая, ее желудок мог быть пустым или набитым крупной добычей. Однако я не сомневался, что самая большая анаконда, какую мне довелось видеть и измерить (в ней было 843 сантиметра), не оставила бы такого широкого следа.

И ведь недавно проползла, от силы два дня назад. Послать бы опять за Фредом... Но гонец доберется на пироге до базы в лучшем случае к завтрашнему утру. К тому времени герпетолог может быть далеко. Да и анаконда тоже.

Мы поднялись еще немного вверх по реке и около четырех часов дня разбили лагерь. Берег был типичный для Лосады: у самого порога галька разной величины, пониже гравий, который постепенно уступал место мелкому песку.

Возле берега глухой стеной высился лес. И за плесом тоже, если не считать узких ворот там, где в Лосаду вливалась окруженная болотом речушка.

Пока Энрике вешал гамаки, противомоскитные сетки и ошипывал птицу, я переправился на пироге, чтобы взглянуть поближе на болотце.

Шаг за шагом пробирался я между корнями гигантских деревьев. Над моей головой на высоте двадцати пяти — тридцати метров ветви образовали сплошной свод. Мощные лианы свисали тут и там с крон до самой зем-

ли, словно канаты и тросы, или оплетали колонноподобные стволы такой толщины, что и втроем не обхватить.

У меня из-под ног выскользнула большая ящерица и ринулась к болотцу. Шлемоносный василиск с великолепным «головным убором» и напоминающим плавник кожным гребнем вдоль спины и хвоста. Достиг воды, почти не погружаясь пробежал по ней несколько метров, вскочил на полузатонувшее дерево и пропал в хаосе ветвей и паразитирующих растений.

Удивительные создания эти василиски. Детеныши их — невообразимо тоненькие, ростом, не считая хвоста, меньше десяти сантиметров — скачут по поверхности воды, будто пауки. А старики (некоторые виды достигают полуметра в длину) с разгона прыгают на воду и словно бегут на задних ногах. Во всяком случае, так кажется со стороны. Тело приподнято над водой под углом пятьдесят — шестьдесят градусов, передние ноги болтаются в воздухе.

Десять — двенадцать метров успевают так пробежать, прежде чем погрузятся настолько, что приходится плыть.

Иду дальше.

Что за причудливый черный корень вон там на стволе? Я спрятался за деревом, потом осторожно выглянул. Шевелится. Значит, это не сук и не ветка. Так, понятно: маленький кайман. Но не обычный очковый кайман. Профиль не тот и...

Ну конечно: *Paleosuchus palpebrosus* — гладколобый кайман; он и его родич *Paleosuchus trigonatus* — самые примитивные представители отряда крокодилов. Они вообще должны были уже исчезнуть с лица земли и встречаться разве что в ископаемом виде в мезозойских отложениях. А они живут, живут на небольшой площади в самом сердце великого южноамериканского девственного леса. И то почти исключительно в небольших изо-

лированных водоемах, где не прижились их более крупные братья и анаконды, охотно пожирающие мелких кайманов.

Бесшумно перезаряжаю ружье: заменяю птичью дробь волчьей картечью. Надо бить его наповал, с первого выстрела, а рептилии очень живучи. Если кайман сорвется со ствола и упадет в болото, вряд ли я его отыщу.

Тщательно целюсь в бок позади лопатки... Выстрел!

По телу каймана пробежала дрожь, хвост вяло мотнулся, голова упала на ствол. Замер.

Держа ружье наготове, я пошел к нему. Нет, не двигается. До ствола десять метров. Десять метров по болоту. А глубина какая? И что в ней таится?

Очень кстати мне подвернулся сломанный сук. Он был гнилой, источенный термитами, но все же годился, чтобы прощупывать дно. Вперед... Ружье в одной руке, сук в другой. Прежде чем ступить, я проверял глубину. Дно твердое. Надеюсь, хвостоколы — если они здесь водятся — пропустят меня? Пираний в таком болотце быть не может.

Ну, вот и добрался, и глубина всего-то по пояс. Гладколобый никак не реагировал, когда я взял его за заднюю ногу и стал пятиться к берегу. Несколько слабых рефлекторных движений, и все. Как Фред говорит:

— Одного заряда картечи в упор достаточно, чтобы убить каймана, да только до него не сразу доходит, что он убит.

До берега осталось метра два; воды по колено. Еще несколько шагов...

Я занес ногу и вдруг... удар! Будто кто-то выбил изпод меня ноги. Ружье полетело в одну сторону, гладколобый — в другую, сук — в третью, а сам я, наполовину оглушенный, оказался сидящим до подмышек в воде.

Через несколько секунд я поднялся на ноги и вышел

на берег. К счастью, ружье попало на сухое место и кайман упал достаточно близко. Отсидевшись на поваленном дереве и сообразив, что произошло, я подтащил его жердью.

Электрический угорь, только и всего. Я должен был заранее предвидеть, что могу тут на него нарваться. Но я еще не освоился в бассейне Ориноко, у меня не развилось, так сказать, чутье на электрического угря. Самые крупные угри вырабатывают ток напряжением шестьсот-семьсот вольт. В общем-то недостаточно, чтобы убить человека (хотя такие исключительные случаи бывают), но вполне хватит, чтобы оглушить в воде рыболова. А там недолго и утонуть. Угрю от этого нет никакой радости, он кормится мелкой рыбешкой.

Измерить и препарировать каймана, даже если в нем неполных полтора метра, дело кропотливое. Я поспешил вернуться в лагерь. Мы еще до темноты управились с работой и выбросили ненужные остатки рептилии в реку, ниже нашего лагеря.

Потом искупались — на порогах, при свете фонаря: все-таки спокойнее!

На следующее утро мы встали на рассвете и двинулись вдоль речушки в глубь дебрей. За водоразделом, который здесь не так уж высок, начинались притоки Ваупес, впадающей в Риу-Негру — приток Амазонки.

Забраться бы туда, да нельзя, во всяком случае в этот раз. О такой экспедиции я пока мог только мечтать. Была у меня еще одна мечта: на большой пироге спуститься по Гуаяберо в Гуавьяре, а затем по Ориноко до Атлантического океана или хотя бы до Сьюдад-Боливара (дельта Ориноко). Сказочное путешествие. Правда, это больше двух тысяч километров. И нужно разрешение властей Венесуэлы. Да и снаряжение лучше того, которым я располагаю, чтобы я мог сделать что-то для науки. А только ради приключения не стоит его затевать.

Мы гребли по плесам, боролись с течением, тащили пирогу через перекаты... Так складывался наш день.

И целый день мы не видели никаких следов человеческой деятельности. Кругом были нетронутые дебри, с непугаными дикими обитателями.

Несколько обезьян саймири прервали свои прыжки с дерева на дерево и проводили нас внимательными взглядами.

Две древесные индейки, вышедшие на берег поестъ мелких камешков, при виде людей не спеша отступили за ближайший куст. И почти сразу вышли опять, как только мы отъехали.

На одном плесе по грудь в воде стоял тапир. Он подпустил нас на расстояние выстрела, спокойно повернулся и по битой звериной тропе затрусил в лес.

Песок хранил следы тапиров, капибар, оленей и диких свиней. Кое-где оставили отпечатки своих лап ягуары и оцелоты.

Бакланы и белые цапли не обращали на нас внимания; с деревьев кричали тулканы; парами и стаями пролетали мимо попугаи разных видов: от огромных ара до самых маленьких — зеленых.

Но когда появилась мускусная утка, я все-таки выстрелил: очень уж Энрике жаловался на голод. Зато потом я разрядил ружье и достал записную книжку. Мешочек с бораксом убрал подальше: хватит препарировать птичьи кожи. Мне было вовсе не лень, просто не хотелось без нужды убивать животных и расстреливать здешний покой.

Русло речушки становилось все уже, и все гуще лежали коряги. Местами мы с великим трудом протискивали пирогу сквозь нагромождение стволов и сучьев.

Под вечер мы остановились у широкой песчаной полосы. Дальше шел длинный порог: груды камня, обнажения коренной породы. Справа к речке подходило русло высохшего притока. А может быть, это был рукав самой речушки.

Здесь и кончилось наше путешествие. Тащить тяжелую пирогу через скалы и камни на такое расстояние двоим было не под силу. А рыбу можно было с таким же успехом ловить и тут. Вряд ли фауна выше порога сильно отличалась от той, которую мы могли найти около нашего лагеря. Итак, день-другой поработаем, и в обратный путь.

Ночью вдоль реки прошли два ягуара, перекликаясь через поток. На следующий день, когда мы коптили рыбу возле воды, из леса пришел тапир и искупался в заводи ниже порога. Чуть позже на дереве, растущем на том берегу метрах в семидесяти от нас, я заметил гарпию. Убедившись, что мы великоваты для ее аппетита, она улетела.

Клев был поразительный. Я живо наловил спиннингом рыбы на два дня; да и бидон со спиртом заполнялся быстро. После полудня я предоставил Энрике удить одному, а сам решил взглянуть на высохший рукав. Для вида захватил ружье.

В лес вела звериная тропа, которую, вероятно, протоптали тапиры. Во всяком случае, это они объели побеги на кустах возле соленого ключа, где сходились все дорожки. Откуда-то выскочил агути. Увидев меня, остановился и взъерошил шерсть на спине и боках, так что сразу стал вдвое больше. И так же неожиданно бросился в чашу, издавая на ходу звук, который больше всего напоминал язвительный смех.

Прямо передо мной из ничего возникла зеленая колибри, пискнула что-то на грани слышимых звуков и пропала.

А сухое русло вело меня все дальше. На дне торчали сглаженные водой камни, поблескивали редкие лужи. На сто шагов протянулся обезвоженный засухой порог. За ним я обнаружил длинный плес, еще заполненный водой, а на берегу — каменную плиту, удобное сиденье, с которого открывался вид на три стороны. Что ж, посидим...

Через прогалину ниже плеса прошагал маленький олень. На том берегу с дерева на дерево скакали саймири. Остановились, оглядели меня и запрыгали дальше.

Стало тихо и одиноко.

Постой, как будто что-то шевелится там, в кустах? Или это просто тень от листика? Да нет же, вот опять: дернулось и замерло.

Наконец я рассмотрел: это был хвост, точнее, кончик хвоста. На другом конце его была... пума. Она сидела на опушке совсем по-кошачьи и глядела в мою сторону. Возможно, я выдал себя каким-нибудь движением, и она решила проверить: опасен ли я, съедобен ли или ни то ни другое.

Дважды пума вставала, делала шаг-другой в сторону и опять садилась. Точно никак не могла взять в толк: что это за странное создание?

Молодая, неопытная пума, существо беспрдельно любопытное...

Не знаю, сколько минут прошло так. Красивая золотистая кошка становилась все беспокойнее. Шагнула в мою сторону, отпрянула назад, нырнула в кусты и выглянула уже в другом месте. Наконец с таким видом, будто ей все это надоело, пошла к скалам в нижней части порога. Мелькнула между двумя выступами и пропала.

Я молча повернулся кругом на своем камне и продолжал ждать. Не так-то легко меня провести.

Ну конечно, вон она: идет пригнувшись рядом с моим следом. Все ближе, ближе... У последних кустов остановилась и вытянула голову, точно желая получше рассмотреть меня.

В ее облике не было ничего угрожающего. Зубы не оскалены, уши не прижаты, шерсть вдоль спины не взъерошена. Хвост чуточку двигался, но это не были нервные подергивания, предвещающие атаку.

Наши взгляды встретились. Мгновение молодая пума

стояла неподвижно, затем бесшумно скрылась за деревьями. Юное приветливое дикое существо встретило что-то непонятное и предпочло тихо отступить.

Проводив взглядом пуму, я встал и пошел обратно в лагерь. Вечер мы посвятили рыбной ловле, а утром погрузили вещи в пирогу и двинулись вниз по течению.

Может быть, кто-то и нарушит покой дикого царства пум, оленей, тапиров и обезьян, но только не я.

НУСИ

Выдолбленная из ствола сейбы длинная узкая пирога с подвесным мотором быстро шла вверх по обмелевшей Сан-Хорхе. С берегов взлетали белые и пепельные цапли, маленькие черные и пурпурные ибисы. Закончив утренний лов, обсыхали на буреломе змеешейки: крылья расправлены, длинные шеи затейливо изогнуты.

Нас было четверо в пироге: моторист-метис, его чернокожий помощник, препаратор и я. Скоро лодка повернет обратно, а мы вдвоем с препаратором продолжим путь к намеченной цели — к быстрым прозрачным ручьям в предгорьях Западных Анд.

Мы будем изучать и собирать рыб, обитающих только в тех водах. И конечно, искать Нуси.

...Впервые я услышал имя Нуси почти четверть века назад, когда вместе с моим побратимом, вождем Хаинамби, охотился, рыбачил и ловил для коллекций лесных животных на земле племени энгвера, в дождевых лесах между истоками Тараса и Сан-Хорхе.

Шаман Мари-гама, добродушный старик, который руководил ритуалом моего усыновления, предостерегал меня от речного чудовища Нуси. А также от других заколдованных животных и лесных бесов. И наказывал не заходить в ингрумиа — охотничьи угодья злых духов.

— В лесу нельзя говорить громко, — наставлял он меня. — Женщина-дух Па-ку-не, Говорящая без голоса, этого не любит. Лучше не навлекать на себя гнев Па-ку-не. А когда идешь вброд через реку, особенно если это тихий илистый рукав, на дне которого много опавшей листвы, нужно все время проверять дно палкой. Не то нападет на тебя крокодил, или наступишь на хвосток-ла, или встретишь Нуси.

Мари-гама один раз видел Нуси; правда, это было давным-давно, еще в молодости. Чудовище сидело на берегу лесной речушки, и Мари-гама подкрался так близко, насколько хватило смелости, чтобы посмотреть на него. Шаман ведь обязан знать лесных духов и всякую нечисть. Правда, тогда он не был еще полноценным шаманом, а только проходил курс «демонологических наук».

У Нуси было толстое грузное тело, короткие уродливые ноги, длинная шея и почти круглая голова. Пасть внутри белая, совсем как у крокодила. Хвост свисал в воду. Он напоминал хвост очкового каймана, только был покруглее.

Из описания Мари-гамы я заключил, что Нуси не обычный бес вроде антомиа или санкахо, а какое-то животное. Но в таком случае оно должно попасть в мою коллекцию.

Потом мои друзья Баде-заби и До-чама дополнили описание. Оба мельком видели Нуси: один — когда нырял за рыбой, которую убил из лука, другой — когда спускался на плоту по реке.

Я все более убеждался, что «речное чудовище» индейцев — это черепаха, похожая на тех, что обитают в Северной и Центральной Америке. Но к какому роду она принадлежит? Чтобы узнать это, надо было ее поймать и передать для определения знающему герпетологу.

Тогда из этого ничего не вышло. Мои друзья энгвера, сами понимаете, ничуть не воодушевились, когда я по-

делился с ними своим замыслом. Да у меня и не было нужного снаряжения.

А потом пришлось все отложить: помешала поездка в Европу и Вторая мировая война.

Когда после семилетнего отсутствия я вернулся к моим индейским друзьям, многое успело перемениться. Мой побратим Хаи-намби и старый шаман отправились охотиться в вечные угодья, а других союзников для безрассудного, с точки зрения индейца, предприятия найти было трудно.

А тут еще сбежали два моих белых «помощника», захватив с собой большую часть снаряжения, в том числе аптечку. Ко всему прибавилась дизентерия, малярия, и в итоге мне пришлось начинать все сначала с пустыми руками в чужой стране.

Мало-помалу мои дела наладились, но время-то шло, и всегда на очереди стояли более важные экспедиции. Иногда я отправлялся не туда, куда хотелось, а куда посылали. И часто путешествия были настолько увлекательными, что я подолгу не вспоминал Нуси.

На гребнях могучих приливных волн Тихого океана я проникал в окаймленные манграми устья; ловил невиданных рыб в реках, которые рождаются на неизведанных склонах Макаренских гор и текут в далекую Ориноко; на суровых горных плато Восточных Анд искал озера, где можно было бы расселить холодноводных рыб; забирался в гроты в коралловых рифах, окружающих острова Сан-Андрес; ловил электрических угрей и кровожадных кариб в реках восточных льянос; разгонял палкой хвостоклов, переходя вброд мутный поток Съенага-Гранде. А в малоизученной реке Бау-до в Чоко я нашел даже «родственницу» Нуси — настоящую змеинойшейную черепаху *Chelydra serpentina acutirostris*.

И вот пришла наконец пора осуществить сокровенную мечту: отправиться на поиски Нуси, располагая и временем, и всем необходимым снаряжением.

Конечно, я первым делом пошел к моему другу, герпетологу, которого считаю одним из немногих настоящих знатоков тропического леса. Я надеялся увезти его с собой. Увы, он не мог меня сопровождать, так как уже обещал ехать с другой экспедицией, на один из дальних притоков Амазонки.

Во всяком случае, друг благословил меня и попросил поймать и доставить в цивилизованные края не только Нуси (желательно живую и неповрежденную), но и вообще побольше черепах, а также крокодилов и кайманов. Только не бить их в голову! Я обещал постараться, однако Фред бросил подозрительный взгляд на мой новый штуцер.

...Итак, мы в пути — препаратор и я. Препаратор Карлос Веласкес заслуживает отдельной главы, но это уж до следующего раза. С юношеских лет он почти всю жизнь проводит в научных экспедициях; трудно пожелать себе лучшего спутника в лесном походе.

Несколько дней мы собирали материал в водоемах на равнине, нашли там любопытных рыб и черепах. Правда, черепахи относились к хорошо известным видам, и мы брали только по две-три штуки. Кроме карранчин.

Карранчины обитают в маленьких илистых озерах саванны. По сравнению с большинством других черепах их область распространения сильно ограничена.

Красивыми их не назовешь, они дурно пахнут и могут больно укусить, если зазеваешься. Едят главным образом крупных пресноводных моллюсков *Ampullaria*. Мощные роговые челюсти карранчины легко отхватят кусок пальца.

Люди саванны не капризны, охотно едят почти всех местных черепах. Но и они брезгливо морщатся при виде карранчины.

Меня эти четвероногие уроды занимали потому, что они принадлежат к бокошейным черепахам — примитивной группе, которая, как утверждают учебники, водится только в южном полушарии. В экваториальной

Америке их следовало бы искать в области Амазонки. Мы же находили карранчин между восьмым и девятым градусом северной широты.

Я и прежде рассказывал о них герпетологу, но он слушал как-то недоверчиво, и теперь мы, чтобы порадовать коллегу, посадили в крепкую корзину десятков живых экземпляров.

Выйдя к деревне на берегу большой реки, мы наняли лодку и людей, погрузили свое имущество и пошли вверх по течению. К обители Нуси.

На четвертый день утром мы высадились на берег притока, который нас привлекал. Дальше, вплоть до границы владений индейцев, русло речушки было чересчур каменистым и мелким, с мотором там уже не пройдешь. Конечно, можно взяться за шесты, но это будет слишком долго.

Мой старый знакомый финн, расчистивший себе участок в этой глуши, одолжил нам двух верховых лошадей и нескольких вьючных мулов.

В саду его гасиенды был искусственный бассейн с фонтаном. Туда мы выпустили черепах: пусть ждут нашего возвращения.

Солнце уже садилось, когда мы на следующий день добрались до последней деревушки, расположенной в двадцати километрах от гор. Нас пустил переночевать один из двух местных лавочников.

Здесь кончалась вьючная тропа, дальше пойдем пешком. Большая часть снаряжения останется в деревне. Мы его заберем, когда найдем носильщиков. В два рюкзака и мой ягдташ мы уложили самое необходимое.

Накидка, крючки, лески, оба дробовика, легкий штуцер, несколько десятков патронов, гамаки, противомоскитная сетка, смена походной одежды (рубаша и штаны защитного цвета), аптечка, огромная банка спирта для консервации рыб, два алюминиевых котелка, немного соли, рис, кофе, сахар — вот и все.

На поясе у нас висели остро наточенные мачете и ножи: если в первый день не встретим индейцев, сможем сами соорудить себе шалаш. Главная часть нашего провианта бегала или летала в лесу или плавала в реке.

В двух непромокаемых мешочках лежали сигареты и сигары, а также подарки для индейцев.

Мы двинулись в путь, как только развиднелось. Первые два километра шли по лугам, среди высокой, в рост человека, росистой травы ярагуа. Гулко хлопая крыльями, над нами пролетали голуби гуарумера; зеленые амазонские попугаи парами спешили на деревья, где их ждал завтрак.

Луга сменил кустарник, и мы нырнули в сумеречный зеленый туннель.

Несколько лет назад тут был девственный лес. Жители деревни свели его, чтобы посадить кукурузу или маниок. Собрали урожай, а так как почвенный слой был здесь слишком мал (бананов не разведешь), участок забросили. Уже к концу очередного дождевого сезона лес начал отвоевывать свою землю. Появились побеги, кустики быстрорастущих с рыхлой древесиной и крупной листвой бальсы, цекропии и еще каких-то пород. Они переплетались с травами, с острыми как нож колючими лианами... И вот уже стоит сплошная стена, без мачете не пробьешься.

Хорошо еще, что тропу постоянно возобновляли рыболовы, дровосеки и те, у кого были свои маленькие участки выше по реке.

Затем мы вошли в разновозрастный растрохо, как называют в Колумбии вторичный лес. Здесь тропа была шире, деревца повыше, и между ними уже появилась поросль других пород: сейбы, караколи, сапана, воладора, седреллы. Если их никто не срубит, они устремятся ввысь и закроют небо. И возродится глухой дремучий лес.

Чем дальше, тем река стремительнее и прозрачнее.

Длинные пороги разделяли плесы и зеленые зеркала глубоких заводей. К самой воде склонялись сурибию с остроконечными, кожистыми листьями и твердой, плотной древесиной.

В десяти километрах от деревни кончались старые расчистки, и деревья сомкнули густые кроны высоко над нами. По обе стороны реки потянулись низкие гряды — предвестники гор. Кое-где обнажалась коренная порода.

Рубеж страны индейцев...

Из зеленой тьмы, из лесной пучины выплывали воспоминания.

Вон там, на пороге, опрокинулся наш плот, когда До-чама и я плыли в деревню за солью. В этом урочище в самое голодное время я подстрелил двух пекари; ночью притащил добычу домой, в хижину, где меня ждала жена. А вон на той гряде, за изгибом реки, убил своего первого медведя. Это было почти ровно четверть века назад.

Скоро первый брод. По соседству на перекате ревела вода. Любопытно, жив ли еще старый крокодилище, что прятался на плесе под порогом и таскал у индейцев собак и свиней? За ним же числился бесследно исчезнувший негр-золотоискатель.

Передав дробовик Веласкесу, я взял штуцер и подкрался за камнями к заводи.

Старика я не застал, зато шагах в двухстах от меня на песке лежало «новое издание» чуть поменьше двух метров. Ружье доброе, ему это расстояние нипочем, но ведь сколько потом возни — снимать кожу, вываривать череп. Был бы еще крокодил покрупнее. А на такого недомерка жалко тратить день. Это соображение спасло ему жизнь.

Мы срубили себе палки и вошли в реку; посередине было по пояс.

Вдруг у порога метрах в тридцати от нас что-то вспенило воду. Нечто большое, желто-зеленое скользнуло над дном плеса и пропало в глубокой заводи.

Я проводил мушкой загадочный силуэт, но он мелькал слишком глубоко: стрелять бессмысленно.

Кто это был: старый злодей или «наследник престола», не уступающий ему размерами? Сколько лет живет крокодил? С какой скоростью растет он на воле?

Мы еще многого не знаем.

...Позади пять-шесть бродов, впереди голый каменистый берег. Солнце перевалило через зенит и нещадно жгло нас. Ничего, еще один брод — и сделаем привал.

За рекой высился сумрачный дремучий лес, сочную зелень которого не могло спалить никакое солнце. Внезапно послышался шум сильных крыльев, и из леса вырвалась птица величиной с глухаря. Увидела нас, метнулась в сторону... Поздно. Тишину пробил выстрел, и гокко тяжело упал на камни. Есть приварок к рису!

Мы не заметили, когда на противоположном берегу появились индейцы. Вот они, два смуглых крепыша с красными набедренными повязками, в руках у них длинные духовые трубки.

Я повесил ружье на дерево, отошел от него, вытянул руку ладонью вперед и крикнул:

— Бари-саума!

— Бари-кауа! — последовал нерешительный ответ.

Один из индейцев пошел к нам через реку. В десяти шагах остановился, коричневое лицо с черными и красными черточками на щеках, носу и подбородке расплылось в улыбке.

— Мой отец До-хиви!

— Мой сын Има-нгаи!

Это был один из сыновей Выдры. Впервые я увидел его, когда он только-только научился ходить. Теперь ему лет двадцать пять — тридцать, женат (судя по раскраске), и дети, наверно, есть. А молодой парень, стоящий на том берегу, очевидно, его младший брат Кусто, который называл мою жену «белая мама».

Два часа спустя мы сидели в просторной хижине Вы-

дры и обсуждали, как поймать Нуси. У меня было такое чувство, словно я вернулся домой, чтобы продолжать жизнь там, где она оборвалась. Да, сколько лет назад?..

Завтра Веласкес и три сына Выдры сходят в деревню за нашим провиантом и снаряжением.

А еще через день началась охота на Нуси. В нескольких заводях мы поставили жерлицы: на проволочных поводках тунцовые крючки, наживленные рыбой бокачико. Поводки привязали к крепким, гибким ветвям сурибю, висящим над водой. Попробуй сорвись с такой снасти!

Рано утром пошли проверять. На двух крючках от наживки только клочья остались: острозубые дорады поработали. Третий крючок никто не тронул. Мы везде сменили наживку и направились к четвертой жерлице, которая стояла в глубокой заводи ниже каменного желоба.

Поводок был натянут как струна. Мы дружно ухватились за него и извлекли из воды отчаянно сопротивлявшегося сома багре пинтадо килограммов на пять. Вкуснейшая рыба, сегодня можно не тратить время на охоту!

*Отрадный улов, но ведь это не Нуси.

Пятый крючок исчез вместе с поводком. Не иначе крокодил или кайман позарился на рыбешку и утащил жерлицу. По тому, как пострадала ветка, можно было судить о силе рывка.

Осталось посмотреть шестой крючок, последний. Но и его не было, только проволока болталась. Она была погнута в нескольких местах и так иссечена, будто ее рубили тупым мачете. У самого крючка проволока переломилась.

— Нуси, — зашептали индейцы.

И покачали головами, глядя на меня из-под своих чубов...

Мы заменили пропавшие жерлицы, потом я из чистого упрямства поставил на плесах еще две. И пошел на ручей ловить мелюзгу для коллекции.

На следующий день было почти то же, что накануне. Попалась очень крупная рубио, больше моей руки. И опять сильно пострадала одна жерлица, та, которую я поставил в глубокой заводи километрах в двух ниже по течению: ветка притянута к самой воде, поводок дважды обмотан вокруг топляка, толстый крючок сломан.

Под руководством До-чама молодежь смастерила из бальсы добрый плот. Поперечины закрепили крюками из сурибио, которые легко входили в мягкую бальсу. Для большей прочности бревна и перекладки связали расщепленными лианами анкла. Получилось сооружение в три раза шире и раз в шесть крепче обычного рыбацкого плота.

Общими силами мы спустили его на воду на том самом плесе, где кто-то сломал мой крючок.

Никто из молодых не захотел составить нам компанию, но их отец вызвался рулить. Недаром он немного шаманил на досуге, и недаром его звали До-чама, что означает Речная Выдра.

Когда спустились сумерки, мы заняли свои места: До-чама — на конце плота, держа длинный шест, на носу устроился с гарпуном Веласкес, я сел посередине, положив на колени штуцер. У каждого из нас был охотничий фонарик на пять батареек.

Плот беззвучно скользил по расшитой звездами черной глади между темными угрюмыми стенами.

В лесу стрекотали сверчки и цикады. Хрупкий, трепетный звук, который голосом не воспроизвести. Издали, со склонов гряды, донесся резкий, яростный крик пумы.

И опять тишина.

Время от времени вспыхивали фонарики, выхватывая из тьмы, словно кадры: коренастая с покатыми плечами фигура препаратора... жилистый полуголый индеец... белые бальсовые бревна... зеленая прозрачная вода с серыми тенями рыб...

И опять темно, и на секунду ты будто ослеп.

Неожиданно индеец уперся в дно шестом, остановил плот и посветил. У самого берега, там, где в реку лениво вливался небольшой приток, зловеще мерцали два карбункула.

Очковый кайман. У крокодила глаза отсвечивают другим оттенком, погуще, как кончик сигары в темной комнате.

До-чама бесшумно развернул плот носом к притоку и выключил фонарик, а препарат зажег свой и направил луч прямо в глаза кайману. Тихо поднялась рука с гарпуном. Еще немного — и можно будет бросать.

Всплеск, мощный удар по плоту! Веласкес хотел уколоть каймана гарпуном, но второпях промахнулся самую малость и откинулся назад, чтобы не упасть в реку. Плот качнулся и стал опрокидываться. В луче своего фонаря я увидел на бревнах широкую бугристую голову, разинутую светлую пасть. Прямо в нее брызнул сноп огня из штуцера.

Рептилия будто съежилась. Пасть захлопнулась, и уродливая голова поползла обратно в воду. В этот миг Веласкес вонзил гарпун в шею каймана.

Минутой позже мы уже были на берегу и тащили убитого зверя из воды. Это была самка, довольно крупная для этого вида: больше двух метров.

Странно, как она отважилась первой напасть на плот? Может быть, в устье притока у нее остались детеныши? Я прошел несколько шагов и посветил в окаймленную травой черную заводь.

Вот и ответ: у самого берега блестело много крохотных двоеточий.

Мы обыскали весь плес, потом следующий за ним, но не нашли ничего похожего на Нуси.

На жерлицы взял только один сом, поменьше того, что попался первый раз.

Рано утром я тихонько подошел к заводу на притоке,

где видел кайманят. Положив на землю накидку, я стал наблюдать за ними из-за широких листьев муррапо. Герпетолог просил добыть не только взрослых ящеров, но и детенышей.

Вон на той стороне заводи в траве сразу трое. Один вскарабкался на плавающий обломок. Кайманята чуть побольше двадцати сантиметров — значит, вылупились недавно. Время от времени раздавались квакающие звуки: «Эк! эк!»

Я нагнулся за сетью. А когда выпрямился, увидел рядом с собой До-чама. Ему примерно столько же лет, сколько мне, то есть за пятьдесят, а ходит он в чаще бесшумно, словно тень.

Долго мы стояли неподвижно, наблюдая за кайманятами. Один из них поплыл через заводь. Вода была совсем прозрачная, и мы хорошо видели лягушачьи движения его задних ног. На дне под ним лежала груда прелых листьев.

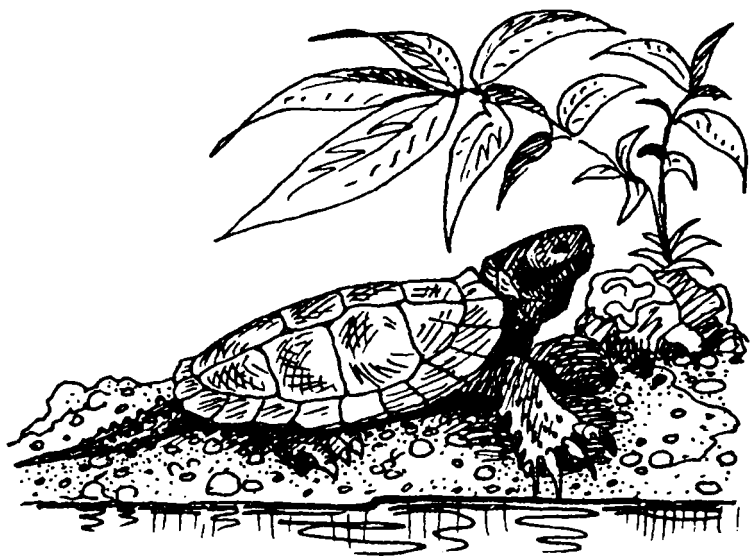
Вдруг листья всколыхнулись, да так неожиданно, что я едва успел приметить что-то светлое, напоминающее огромную, с кулак, голову черепахи с клювом, как у королевского грифа. В следующий миг голова исчезла вместе с кайманенком, и листья медленно легли на дно, скрыв все следы преступления.

До-чама и я переглянулись. Губы индейца беззвучно вымолвили: «Нуси», и он нырнул в заросли.

Через полчаса До-чама вернулся с Веласкесом и четырьмя парнями. Они принесли большую сеть, веревку и множество других приспособлений.

Глубина заводи была всего полметра, и мы точно знали, где спряталась Нуси. Десять минут спустя добыча лежала на берегу, опутанная сетью.

Но это было только начало! Не так-то просто совладать с двадцатикилограммовой бокошейной черепахой, которая способна отхватить вам пальцы своим мощным роговым клювом. Тем более если вы стараетесь обра-



щаться с нею бережно, чтобы добыть экземпляр живым и без единого изъяна.

Скрутить Нуси веревкой не удалось, черепаха одним укусом перегрызла ее. Наконец мы обмотали шею чудовища цепью и привязали ее к дереву. Затем индейцы сделали клетку из толстых палок. Мы посадили туда Нуси, просунули сквозь клетку две жерди и отнесли в стойбище. Здесь клетку поставили между сваями под хижиной.

Мы принялись мастерить ящик покрепче, а Нуси в это время превращала в щепки свою тюрьму.

Пришли домой свиньи; они тоже квартировали под хижинкой. Здоровенный хрюк принялся рыть землю возле самой клетки.

Мы были настолько поглощены работой, что ничего не заметили. Вдруг раздался дикий визг, и хрюк пулей метнулся в заросли.

Оказалось, Нуси прогрызла в торце клетки большую

дыру. Выждав удобную минуту, она молниеносно высунула голову и цапнула хрюка за морду, отхватив довольно большой треугольный кусок мяса. Но свинина пришлась явно не по вкусу бокошейной черепахе, и она выплюнула трофей. Кусто хотел достать его палкой, однако Нуси шутя перекусила ее.

К этому времени индейцы после долгих размышлений заключили, что пойманное нами животное — все-таки не Нуси. С виду-то она, конечно, смахивает на речного беса да и нравом тоже, но разве можно так запросто держать в клетке нечистого духа и не навлечь на себя никакой беды?..

Я попробовал возразить, что сам водяной не вынес бы такой соседки и удрал, но не смог убедить их. И индейцы перекрестили черепаху в Бачи. Ни Веласкес, ни я не стали спорить. Мы сами уже израсходовали на нее почти весь наш запас испанских и английских бранных слов..

Возле дома Выдры стоял загон из прочных толстых кольев. В ожидании, пока индейцы доделают транспортную клетку, мы перевели туда Нуси-Бачи.

Все вещи были собраны, и, чтобы время не пропадало даром, я решил заняться крокодилами. Бандит у брода так и не подпустил меня на выстрел, но два других зазевались, греясь на солнце, и пали от моего штуцера. Черепа ничуть не пострадали. Я добыл также на редкость крупного — двести сорок три сантиметра — очкового каймана.

Все банки со спиртом были наполнены рыбами.

И вот наконец все сделано, можно возвращаться с коллекциями в город. Сообща мы затолкали черепаху в новую клетку, затем индейцы помогли нам донести наше имущество до деревни. Мы наняли здесь пирогу, попрощались с нашими смуглыми друзьями и благополучно добрались до гасиенды финна. Оказалось, что «квартиранты», которых мы ему оставили, чувствовали себя превосходно.

Поставив клетку с Нуси посреди двора, Веласкес и я пошли извлекать их из бассейна. Только мы их выловили, как послышалось жалобное тьяканье. Одна из собак хозяина гасиенды неосмотрительно повернулась спиной к клетке, и неугомонная Нуси, которая за время путешествия успела уже высадить одну рейку, укоротила хвост несчастной сантиметров на восемь.

Во избежание новых бед мы купили толстую стальную проволоку и укрепили ею все соединения. Потом Веласкес отправился верхом за сорок километров в деревню и раздобыл там моторную лодку.

Ровно через неделю мы прибыли в город на побережье, где я заведовал небольшим научно-исследовательским институтом. В тот день, когда я уже решил отправить всех рептилий самолетом в столицу, дверь в мою лабораторию отворилась и вошел герпетолог. Он только что вернулся с Амазонки, привез мне оттуда интересных рыб.

Сперва мы осмотрели собранных мной змей, крокодилов и кайманов. Фред кивал: неплохо. Затем мы вошли во двор, где барахтались в своих загончиках черепахи.

Начали с обыкновенных. Мой друг снова одобрительно кивнул. Потом мы свернули за угол и остановились перед железной клеткой (я купил ее на распродаже имущества бродячего цирка), в которой сидела Нуси.

— Гм, — сказал герпетолог, — приличный экземпляр, а в общем-то ничего особенного. За пять долларов можно купить такую в любом зоомагазине. В Миссисипи их миллион. Но все равно спасибо, я понимаю, ты от души...

Фред осекся и замер, как хорошо натасканный пойнтер перед выводком куропаток.

— Где ты их поймал?

Умеренно дрожащей рукой он показывал на корыто, в котором весело плескались карранчины.

Я назвал ему место и спросил:

— Они тебе нужны?

— Еще бы! Новый вид, и район совсем необычный!..

Через несколько месяцев я получил по почте из Гарварда свежие оттиски: «Новый вид черепах *Chelida*, *Phrynops (Batrachemys) dahli*, Колумбия».

Одним из двух авторов статьи был Фред.

А сейчас передо мной лежит описание маленького сома, пойманного в одном из притоков Ориноко. Я закончил его сегодня утром и положил номенклатурный тип, а также около десятка паратипов в отведенные им банки со спиртом.

Новый вид, новый род.

Название рода я уже придумал: фамилия моего друга-герпетолога плюс окончание — *ichthys* (по-гречески «рыба»).

А как быть с видовым названием? По правилам это должно быть какое-нибудь латинское или латинизированное прилагательное.

Barbatus? *Acanthocephalus*? *Horridus*! Бородатый? Шиполовый? Устрашающий?

Но тут во мне просыпается совесть, и я скромно пишу: «*guayaquerensis*» — «Гуаяберский»...

Я в долгу перед этим краем.

Последняя река



Georg Dahl DEN SISTA FLODEN Stockholm, 1967

Доктору Эрнандо Рейес Дуарте, руководителю нашей борьбы за охрану природных богатств Колумбии, посвящается эта книга.



«ДЗИЗОРА УАНЬЯ ДО-НАМАЭРРЕ ПУЗА-ИН»

Глухой стук в глубине тропического леса. Кто-то где-то передает послание. Короткая дубинка из белого, как кость, твердого дерева кайман-чильо ритмично колотит по барабану, похожему на лодку.

Маленький смуглый человек в красной набедренной повязке отрывает взгляд от сети, которую он вяжет. С минуту напряженно слушает. Потом поднимается и идет за своим барабаном. Это выдолбленная кривая колода из чибоба, заостренная с одного конца, обтянутая тем, что некогда было желудком крокодила. Ладони человека легко ударяют по тугой пленке, передавая посла-

ние дальше: «Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин» («Старый человек спускается по реке к морю»).

По лесной речушке скользит через перекат пирога. Она выдолблена из бревна сейбы. Длинная, низкая и поразительно устойчивая, хотя такая узкая, что только-только впору сесть человеку.

На носу стоит молодой индеец с шестом, чтобы отталкиваться от скал и подводных камней. Его гибкое тело чуть-чуть покачивается, пружиня, как у лыжника на крутом спуске. Другой индеец рулит широким веслом, третий сидит с веслом в руках, готовый помочь, если понадобится.

Три молодых парня с характерными спокойными лицами индейцев энгвера — высокие скулы, подстриженные челкой густые иссиня-черные волосы. Они одеты в андеа — как бы лубяные плавки — и короткие набедренные повязки, но ожерелий на них сегодня нет, и лица не раскрашены. Между ними сидит в челне седой мужчина, он намного старше их. Хотя лицо, шея и руки его от многолетнего загара почти такие же смуглые, как у индейцев, все равно сразу видно, что это белый человек, европеец. Сейчас он одет так же, как его товарищи, а на щеках и носу видны следы индейского ритуального узора. Красная краска из ачиоте и жира дикой свиньи смыва, но черный сок плодов генипа не сразу поддается воде и мылу.

Поверх двух тонких бальсовых бревнышек на дне лодки лежат мешки и узлы из прорезиненной материи, которую делают лесные индейцы, пропитывая тонкий брезент соком гевеи. Раньше для того же применяли луб.

Лодка скользит дальше через бурлящие пороги, через глубокие тихие плесы — они сейчас, в засушливую пору, прозрачнее зеленого стекла. Весла вспугивают стайки рыб, с солнечных лужаек на берегу сползают в воду широкие черепахи. Красные и темно-фиолетовые цветки

на гирляндах лиан роняют в реку лепестки, за ними гонятся золотистые доряды.

Текут километры. Идут часы. Снова пережат, между камнями kloкочет белая пена. Последний маленький бунт реки перед тем, как равнина начнет ее укрощать.

Белый мужчина поворачивает голову и долго глядит на бурлящую воду, слушает ее песню.

Рулевой направляет длинную пирогу к песчаному берегу, за которым плотной стеной стоят невысокие деревья со светлой корой и большими сердцевидными листьями — белая бальса. Несколько ниже по реке возвышается могучее дерево караколи. Длинные, прямые, толстые, как канат, темные лианы свисают с его кроны, купая в воде свои корневища. Это анкла, самые крепкие и упругие среди здешних лиан. Выше по течению, рядом со стремниной, растут сурибио, низкие, сутулые, ветвистые, с блестящими ланцетовидными листьями. Узловые ветки далеко простерлись над рекой.

Четыре странника выходят на берег. Индейцы забирают из пироги мачете и топоры. Двое начинают срубить бальсу, самые высокие и толстые стволы. Третий живо сооружает наклонный навес из листьев бихао в таком месте, чтобы не видно было с реки.

Белый надевает кожаный пояс с мачете и финкой, берет дробовик и уходит в глубь леса. Через несколько минут индейцы слышат выстрел. Смотрят друг на друга, кивают, и снова топоры рубят пористую бальсовую древесину. За час до заката старик возвращается, на поясе у него висят два тинаму — забавные птицы чуть больше цесарки, с круглой мясистой тушкой, тонкой шеей и смехотворно маленькой головой.

Лагерь уже готов, кофе вскипел, первые два длинных бальсовых ствола срублены. На импровизированных подставках, прикрытые сверху большими листьями, копятся с полдюжины очищенных жирных дорад.

Смеркается. Белый подвесил между двумя деревьями

свой гамак и сетку от комаров. Индейцы постелили себе под навесом. Теперь все четверо сидят и ждут, когда сварится птица, которая кипит в котелке вместе с пятью-шестью очищенными корнями икаде.

В зарослях ниже по реке кричат маленькие длиннохвостые древесные чачалаки. Полчища насекомых и древесных лягушек начинают свой сумеречный концерт.

Белый грезит наяву. Переносится в мыслях на несколько десятков лет назад, вспоминает свои первые встречи с индейцами энгвера и их рекой. Не с теми молодцами, которые его сейчас сопровождают. Их еще не было на свете, когда Мари-гама, старый мудрый знахарь, усыновил молодого белого натуралиста и дал ему имя До-хиви — Речной Орел.

Полтора года лесной жизни было за плечами До-хиви, когда он впервые пришел в это племя. И он прожил у индейцев два года, с одним только коротким перерывом: ездил к морю за своей молодой женой. Она последовала за ним в дебри. Здесь они провели вместе четырнадцать месяцев. Жили в свайной хижине, одевались и раскрашивали себя, как индейцы, а иногда обходились без одежды; охотились, ловили рыбу, возделывали землю. Единственным неиндейским было у них скудное научное снаряжение, чтобы собирать фауну для университетов и музеев, кроме того, дробовик, штуцер, пистолет, аптечка и фонарь. Дважды они чуть не умерли с голоду и почти всегда жили впроголодь. Но они были молоды, а молодость вынослива, не падает духом и не боится передраг. Сельва их не сломила. И когда они в конце концов оставили ее, то сделали это прежде всего потому, что мечтали о ребенке, о сыне.

С тех пор До-хиви много раз навещал усыновившее его племя, временами жил у него, стараясь помогать и служить ему в меру своих сил. А в промежутках надо было делать свою работу, следуя своему жизненному предназначению. Он был шкипером рыболовного судна,

экспедиционным проводником, хранителем музея, учителем в интернате. И всегда — исследователем, все остальное было только средством для того, чтобы заниматься исследованиями.

В один прекрасный день его пригласили на должность профессора государственного университета, а через несколько лет предложили основать и возглавить новое исследовательское учреждение, составить программу экспериментов и наладить морские изыскания. Объем работы рос, росла и ответственность. Но как только представлялась возможность, он возвращался к своим смуглым друзьям в обширных лесах у подножия Анд.

Он видел, как отступает лес, как индейцев шаг за шагом теснят «поселенцы», присваивающие себе чужие земли, как молодых отрывают от родной культуры и развращают смертельные враги всех первобытных народов — виноторговец и миссионер. Правда, он делал все что мог, отстаивая права своих друзей, но этого было мало, слишком мало.

Теперь он снова их навещал, в последний раз, и простился навсегда. Немного их осталось, старых друзей, с которыми он сблизился тридцать лет назад. Престарелый знахарь возвратился к Солнцу. Его старший сын, «тотемный брат» До-хиви, ушел туда чуть раньше. Один за другим легли на отдых в лесную землю другие товарищи по охоте: Тот-который-пьет-из-многих-рек, Тот-который-не-разговаривает, Маленький Змей, Два Копья. Только Я-диби, До-чама и Не-эн-саби — Коршун, Выдра и Оцелот — встретили его скупой стариковской улыбкой, преданным дружеским взглядом. Это их сыновья спустились с ним вниз по реке и теперь помогают ему строить плот.

Он хочет проститься и с рекой тоже. Рекой, с которой знаком столько лет, рекой, чьих рыб первым исследовал и описал в книге, принесшей ему звание профессора. Он изучал много других водоемов: оба океана, омывающих берега Южной Америки, тихие блестящие горные озера

на студеных парамос Анд, лиманы, угрюмые мангровые болота, широкие и мелкие равнинные озера, укрытые ковром цветущих водных гиацинтов. И реки, впадающие в Карибское море, в Тихий океан, в залив Дарьен, в Ориноко и Амазонку. Но эта для него река из рек, его река. В последний раз пройдет он по ней от предгорий Анд до самого моря, пройдет так, как много лет мечтал. Не на большой грузовой пироге и не на шумном катере, а на бальсовом плоту, сама река тихо донесет его до побережья. Это будет не экспедиция, а общение.

Ведь он теперь сам хозяин своего времени. Теперь, когда пришла пора подвести итог делу жизни и покинуть страну, которой отданы многие годы. Чтобы вернуться на «родину». Родина — страна, которой он не видел добрых два десятка лет. Что он знает о ней теперешней, о ее ритме, новом лице? Не станет ли она для него чужбиной?

Старик пожимает плечами и усмехается про себя. Нашел из-за чего тревожиться! Разве он не был всегда и всюду чужаком? Не считая каких-нибудь редких минут...

Он поднимает голову и напряженно вслушивается. В темнеющем колодце леса зовет птичий голос:

— Па-ку-не! Па-ку-не!

Старик улыбается, вспоминая испанское имя этой птицы. Соледад — «одиночество».

Индейцы молча ложатся спать под навесом. Белый по-прежнему сидит у костра. Воспоминания — будто стая белых цапель над тропическим болотом на рассвете. Воспоминания о первом посещении индейцев, когда он был принят в общину вольных дикарей и получил имя.

ДО-ХИВИ

Мы встретились под вечер на берегу реки. Встретились нежданно-негаданно, во всяком случае, для меня. Кустарник словно сам расступился, и я увидел его, мое-

го друга с доброй улыбкой, — Обдулио, старшего сына знахаря.

Мы не раз виделись с тех пор, как я несколько месяцев назад впервые пришел в его хижину на расчистке под горой. Особенно часто я к нему навещался, когда на его отца, добродушного старого знатока лекарственных трав, которого креолы звали Хуаном, нашла злая малярия. К счастью, несколько инъекций помогли старику, так была заложена основа нашей дружбы.

Дружелюбие индейцев было прямо-таки трогательным. Они брали меня с собой на охоту, на рыбную ловлю, приносили мне из леса интересных животных и начинали обучать меня своему языку. Мы все больше сближались.

Энгвера прекрасно понимали, что я никогда не научусь тенью скользить через лес, как они, но зато у меня было современное оружие, которым я неплохо владел. Они подводили меня на выстрел к оленям, диким свиньям, медведям. Моя маленькая коллекция шкур и черепов постепенно росла.

Поскольку в моем лагере работали неиндейцы — креолы и несколько чернокожих ребят из Чоко¹, Обдулио предпочитал встречаться со мной в лесу, особенно когда хотел сказать мне что-нибудь важное.

Мы сели на мертвое дерево и молча покурили. Лесных индейцев не нужно занимать пустой болтовней, и они никогда не торопятся, кроме тех случаев, когда дело не терпит отлагательства.

Наконец Обдулио заговорил. Он пришел звать меня на охоту на следующий день. Я, разумеется, не имел ничего против.

— А на кого будем охотиться?

— Уи. Медведь. В горах.

Он показал на горную цепь к западу от реки. Настоя-

¹ Ч о к о — департамент Колумбии. — *Прим. пер.*

шие глухие дебри, нетронутый лес, каким он был еще до прихода индейцев.

Я кивнул и ответил:

— Хнг'са биа-буа (Ладно).

Обдулио промолчал, как бы собираясь с мыслями. Потом сказал:

— Я задумал, что мы пойдем на уи по-нашему. Не с ружьем, а с копьем.

Мне вспомнилось, как старый траппер, метис Эмилиано, от которого я узнал по-настоящему, что такое профессиональная охота на крокодилов, однажды рассказывал про ритуальную медвежью охоту лесных индейцев. Ее устраивали для того, чтобы молодые люди могли показать свое мужество и умение обращаться с оружием. Во всяком случае, так говорила Эмилиано его мать-индианка. Подробностей она, естественно, знать не могла, ведь ритуальная охота — сугубо секретное мужское занятие.

Сказать, что приглашение Обдулио меня заинтересовало, — слишком мало. Неужели я и вправду буду участвовать в таком деле? И как они ухитряются подойти с копьем к сторожкому черному медведю? Мне это представлялось самым трудным из всего.

Справлюсь ли я с копьем в случае чего? Много лет назад далеко за Полярным кругом кочевник Нила, мой старый друг, на счету которого было двадцать восемь бурых медведей, учил меня, как брать медведя на копье. Одно ясно — такого случая упускать нельзя.

— Хорошо, мой брат. Значит, ружья брать не надо?

— Возьми ружье с двумя стволами — то, из которого мой брат стреляет птиц. Может быть, нам встретятся паукообразные обезьяны, или олень, или дикие свиньи. В медведицу тоже можно стрелять, когда у нее нет медвежат. Но уи дью-макира надо убить копьем, в эту пору он ищет себе самку, он злой, не уступает дорогу человеку, а идет на него. Да и уи муэра тоже не отступит, если у

нее есть детеныши, которых надо защищать. И пусть лучше мой брат оденется так, как мы. В набедренной повязке легче двигаться, чем в одежде белого человека.

— Ладно, брат, — ответил я. — Где мы встретимся?

Индеец описал одно место километрах в двух от моего лагеря. Мы уже встали, чтобы разойтись, когда он добавил:

— Приходи один, брат!

— Я сделаю так, как говорит мой брат Обдулио.

— Не Обдулио, — возразил он с доброй улыбкой. — Хаи-намби. Обдулио я себя называю, когда кругом капуния, но мой брат может называть меня моим настоящим именем — Хаи-намби.

Я помолчал, думая о том, что вот и подтвердилось то, о чем я догадывался, слушая малопонятные для меня разговоры между индейцами. Потом спросил:

— У всех энгвера есть такие имена?

— Да, у всех нас есть настоящие имена, но чужакам мы их не называем.

Мы сели опять, и он продолжал:

— Имя моего отца Мари-гама, а брата, Хоакина, по-настоящему зовут Эй-ке-ауври-зама. Имена моих друзей, женатых на моих сестрах, — Доби-гари и Я-диби. Сына моей сестры, которого бледнолицые называют Рикардо, на самом деле зовут Са-ндьяма, а Хосе, что стал христианином, звали Хаи-вер-ки-са. Завтра я скажу моему брату имена других соседей, их жен и детей.

— А сами они не скажут?

— У нас это не принято, брат. Никто сам не произносит своего имени, особенно при чужих. Я назвал тебе свое имя, потому что между братьями все иначе.

Мы долго сидели и размышляли молча. Наконец я сказал:

— Мой брат знает, что в глубине души я индеец, а не капуния. Если я останусь здесь, когда уйдут чужаки, которые живут в моем лагере, построю себе хижину, рас-

чишу участок и съезжу за женой — может быть, на тот случай и мне лучше было бы называться индейским именем?

Белые зубы Хаи-намби сверкнули в улыбке.

— Нунг! — произнес он и в тот же миг исчез в высокой траве, как умеют исчезать только лесные кошки и лесные индейцы: беззвучно и бесследно. Но его краткий ответ наполнил мое сердце радостным предвкушением: ведь «нунг» означает «завтра».

На другое утро я еще до рассвета пришел в условленное место, на старую полузаросшую тропу, поднимающуюся на отрог. Свою одежду я тщательно спрятал на дереве, теперь на мне была только набедренная повязка, сандалии, пояс с ножом и мачете, патронташ. Кроме того, я взял двустволку двенадцатого калибра. Один ствол зарядил картечью, другой — пулей. Не прошло и пяти минут, как на тропе показались Хаи-намби и его младший брат Эй-ке-ауври-зама. Они несли корзины, мачете и копья, припасли копье и для меня. Недурное оружие. Наконечник был сделан из обломка мачете длиной сантиметров сорок и заточен с обеих сторон. Его вставили в расщеп двухметрового древка из темного твердого дерева и крепко привязали. Я взвесил копье на руках. Сбалансировано хорошо, удобное в обращении.

Братья раскрасились очень тщательно. Лицо, грудь, руки и ноги покрыты изящными геометрическими узорами, зубы черные от сока стеблей кидая. Хаи-намби отделил от своего ожерелья высушенный лесной плод, вынул деревянную затычку и показал мне, что этот маленький сосуд наполнен краской из размолотых семян ачиоте и жира дикой свиньи. Он окунул в краску щечку и нарисовал на моем лице несколько черточек. Потом сделал знак, чтобы я шел за ними, и мы зашагали в гору.

Следом трусили три собаки, три тощих животных

неведомой породы, совсем дикие на вид. У двух из них были страшные шрамы на голове и лопатках. Третья, маленький черный Бийон, принадлежавший Хаи-нам-би, был немного поупитаннее и явно играл роль вожака. Я знал, что он прекрасный охотник. К сожалению, индейские псы производят довольно отталкивающее впечатление, да иначе и не может быть, если подумать, как с ними обращаются. С другими животными энгвэра очень ласковы, но собака играет нелестную роль в их мифологии, и обычно с ней обходятся соответственно. Собака рождена под знаком Луны, значит, она вор, а на заре времен она покусилась на Великую Мать, от чего последовали разные неприятности для человечества.

Все в гору и в гору, час за часом... Я обливался потом, сердце и легкие работали на пределе. Хотя я тогда был в неплохой форме, мне стоило величайших усилий поспевать за плечистыми индейцами, а они шли как ни в чем не бывало — ни капли пота, ни малейшего признака усталости. Для их ступней с жесткой, словно ороговевшей кожей и подвижными растопыренными пальцами корни и камни были надежной опорой, а мои сандалии с кожаной подметкой поминутно скользили на каком-нибудь влажном корне.

Не меньше трех часов мы поднимались на узкий гребень, который вел на запад-юго-запад, в глубь необитаемого края. За все это время мы не видели дичи, только слышали, как впереди взлетело несколько ти-наму. В одном месте тропу пересекал вчерашний след пумы.

Никто из нас не говорил ни слова. Время от времени индейцы обменивались знаками, и только. Они великолепно друг друга понимали. Этот язык жестов так богат, что они могут подолгу беседовать, не открывая рта.

Примерно через полтора часа после того, как мы вышли на гребень, начали появляться следы медведя; ста-

рые отпечатки лап, несколько совсем свежих, царапины на стволах, сломанные пальмы, изуродованные горные дубы. Крупные желудевидные плоды горного дуба (*Quercus granatensis* или, возможно, *Q. columbiensis*) — одно из любимых блюд черного андского медведя.

В одном месте мне показалось, что медведь прошел совсем недавно, однако следы были недостаточно свежими, чтобы заинтересовать собак. Но вот под скалистым гребешком с редкими горными дубами и участками густого кустарника маленький Бийон вдруг остановился и уткнулся носом в след. Он тихонько ворчал, вся шерсть на загривке и на лопатках встала дыбом. С минуту пес стоял на месте, подняв голову и приносясь к ветру. Потом красноречиво посмотрел на хозяина и затрусил к кустам. Другие собаки не отставали от него. Хаи-намби побежал за собаками, Эй-ке-ауври-зама поспешил в обход гребешка. Где мне угнаться за этими быстроногими охотниками! К тому же мне, честное слово, не мешало отдохнуть. И я остался.

Местечко было неплохое. Достаточно простора для прицельной стрельбы, и многочисленные старые следы говорили о том, что здесь часто проходят медведи. Откровенно говоря, я вовсе не полагался на свое умение пользоваться копьем. Поэтому я прислонил его к кустам, взял в руки ружье и стал напряженно вслушиваться. Буквально в ту же секунду поднялся шум за гребешком. Собаки выли и злобно лаяли, один раз донеслось отчетливое «о-уфф», по которому сразу узнаешь рассвирепевшего медведя. Я замер в ожидании, держа палец на предохранителе.

Какое волнение сравнится с тем, которое испытываешь, когда собаки поднимали опасного зверя и ты знаешь, что он вот-вот покажется на расстоянии выстрела?! Удивительно сильное чувство, граничащее с физической болью... Несколько таких секунд легко перевешивают впечатления недели будней.



Что-то зашевелилось в кустах справа. И показался медведь, совсем небольшой медведь, преследуемый по пятам старой пегой сучкой Дыдьондрой. Медведя от меня частично заслоняло толстое дерево, корявый горный дуб. Подойдя к дубу, мишка вцепился когтями в ствол и полез вверх. Меня отделяло от него шагов двадцать. Вскарabкавшись на толстый сук в четырех-пяти метрах над землей, медведь остановился и поглядел вниз на собаку. Дыдьондра стояла на задних лапах, опираясь о ствол передними, и лай ее перешел в визгливое, тонкое тьяканье.

Серебристая мушка сверкнула на фоне косматой лопатки. И грянул выстрел. Тяжелая пуля заставила медведя покачнуться. Несколько секунд он еще цеплялся за ствол, стараясь дотянуться зубами до того места, куда вошла пуля. Еще выстрел. Второй ствол был заряжен волчьей картечью. Большой бесформенный ком сорвал-

ся с дерева и покатился вниз между камнями и кустами, где я потерял его из виду.

Шум, гам, лай собаки, медвежий рев... Вдруг между скалами появилось что-то большое, черное и ринулось по склону прямо на меня, будто сорвавшаяся глыба. Мощная туша, вздыбленная черная шерсть, разинутая пасть с желтыми клыками... Я едва успел отбросить не-
нужное ружье, схватить копьё и принять боевую позу: колени полусогнуты, упор на переднюю ступню. Правая рука у самого наконечника, левая — на древке сзади. Медведь бросился на меня. Я выставил копьё вперед. Столкновение было ужасающим, я упал на колени. Тяжеленный зверь теснил меня назад. Железо глубоко вонзилось ему в грудь. Ко мне тянулись когти, меньше метра отделяло меня от ревушей пасти. Коленями, ступнями я искал опору среди корней и камней. И все время думал об одном: я должен его удержать, не то эти когти и зубы дотянутся до меня. Сильнейший удар лапой по копыю, громкий треск. На секунду напор ослаб, и я встал, судорожно сжимая руками древко. К моему удивлению, оно легко подалось назад. Наконечник обломился и остался в ране, у меня в руках было только тяжелое пальмовое древко. Зверь поднялся на дыбы, норовя поймать меня передними лапами и подтащить поближе к своим зубам. Когти задели мое бедро, появились длинные кровавые царапины. Желтые клыки сверкали совсем близко. Я отскочил и ударил медведя по голове древком. Оно еще раз переломилось, но медведь опустил на все четыре лапы. Еще удар — я попал ему по носу и услышал рев, в котором слились ярость и боль. Снова замахваюсь... Но на этот раз широкая лапа отвела удар, я потерял равновесие и еле успел увернуться, когда медведь рванулся вперед, чтобы подмять меня. Он промахнулся чуть-чуть, острые когти вырвали клочок из моей набедренной повязки.

Дальше все происходило как во сне. Отскакиваю в сторону, бью палкой, отскакиваю. Пот заливает глаза. Прыгаю за дерево, получаю несколько секунд передышки. И опять он насаждает на меня, слышу запах кровавой пены на оскаленных зубах. Снова нас разделяет дерево. Мой следующий удар приходится в основание черепа. Медведь падает. Древко в моих руках стало еще короче. Я опять укрыт за деревом. Медведь встал, идет на меня, но уже медленнее. Из ноздрей и пасти течет светлая пеннистая кровь. Бью его по голове. Он ловит зубами мою правую ногу, я бросаюсь в сторону, клыки царапают мне лодыжку, но соскальзывают. Медведь на минуту остановился. Собрав последние силы, ударяю его древком по перек носа, пониже глаз. Древко разлетается в щепки. Швыряю обломок на землю, прячусь за дерево и стою, держа наготове финку.

Где собаки? Куда запропастились индейцы? Сейчас медведь снова пойдет в атаку — в последнюю атаку... Но медведь не шел. Он стоял на месте, понутив голову. Вдруг по медвежьему телу пробежала судорога. Послышался звук, похожий на вздох, медведь опустился на землю и замер.

Я тяжело сел на поваленное дерево. Меня била дрожь, зубы выстукивали чечетку. Правое колено было разодрано, на бедре — царапины, чуть выше лодыжки — глубокий след от клыков. Я был в поту и в крови, у меня все расплывалось перед глазами, скалы и камни словно плясали в красном тумане. Неожиданно рядом со мной возник Хаи-намби. А вон и Эй-ке-ауври-зама прыгает с камня на камень, спускаясь по склону. Около мертвого медведя он остановился, достал нож и с невозмутимым видом начал снимать косматую шкуру.

— Хорошо, брат, — сказал Хаи-намби. — Но почему ты не упер копые другим концом в землю? Так гораздо легче удержать медведя.

Трезвое замечание опытного охотника помогло мне

выйти из транса. Красный туман постепенно рассеялся. Я встал и помог Эй-ке-ауври-зама снять шкуру с медведя. Эта шкура была мне дороже всех моих прежних охотничьих трофеев. Заодно я понял, почему зверь не сопротивлялся дольше. Копье распороло ему легкое. Если бы не это обстоятельство, исход мог быть другим. Мне попросту повезло. Но где огнестрельные раны? Не мог же я на таком близком расстоянии дважды промахнуться, тем более по неподвижной мишени?..

Когда шкура была снята и грудная клетка зверя вскрыта, Эй-ке-ауври-зама обмакнул палец в кровь из медвежьего сердца и начертил у меня на лице и груди поперечные полосы. И вот наконец вся туша разделана. Хаи-намби вытер руки листьями:

— Пошли свежевать второго медведя!

Боюсь, у меня в эту минуту был не очень умный вид.

— Какого второго медведя, брат?

— Медведицу, ты ведь сам ее застрелил.

Зверь, которого мы только что освежевали, был старым самцом. Я поднял ружье, перезарядил его и пошел к дубу. Ну и ну! Между большими камнями, сраженная наповал пулей и дюжиной картечин, поразивших область сердца, лежала медведица. На ее черной косматой спине, скалясь, будто дух из преисподней, сидел маленький Бийон. Он охранял добычу. Две другие собаки ждали в сторонке с голодным и недовольным видом.

Хаи-намби улыбнулся.

— Теперь мой брат видит, почему я всегда даю этому песику лакомые куски и ласкаю его, — сказал он. — Это не какая-нибудь паршивая, вороватая лунная тварь, как вон те две, в нем живет дух мужчины.

Хаи-намби погладил своего четвероногого друга и дал ему кусок мяса. Только после этого Бийон оставил убитого зверя и начал есть.

Не буду скрывать, я был очень доволен, несмотря на боль и усталость. Не всякий день с утра удастся сразить

двух медведей, к тому же одного из них — копьём. Что бы ни случилось дальше, сегодня я славно потрудился. Вскоре и вторая туша была разделана. Но индейцы не раскрасили меня кровью медведицы. Этой чести охотник удостоивается только в том случае, если зверь убит холодным оружием.

Приключение кончилось, предстояла тяжелая работа — тащить мясо домой. Неотъемлемая, малоромантическая часть охоты в дебрях. Мы направились в стойбище Хаи-намби, нагрузив на себя обе шкуры, черепа и не меньше тридцати килограммов мяса. И это было далеко не все. В медведице, по-моему, было килограммов девяносто—сто, в медведе — около ста сорока. Я еще не встречал такого крупного андского медведя, а уж мне их довелось и видеть, и взвешивать немало.

В справочной литературе этот вид обычно называют очковым медведем и пишут, что он черный с белыми метинами на морде и вокруг глаз. Мне попадались такие медведи на Восточной Кордильере, но ни у одного из убитых и вообще виденных мной в Северной Колумбии светлых метин не было. Вероятно, здешние мишки со сплошь черной мордой представляют цветовую фазу обычного *Tremarctos ornatus*, для медведя характерны довольно широкие внутривидовые вариации.

Хорошо, что обратно почти всю дорогу идти под гору! То, что нам было не унести, мы подвесили на лианах и накрыли большими листьями, чтобы грифы не добрались. А затем двинулись в путь. Пошатываясь от тяжелой ноши, мы затрусили вниз по склону. Примерно через час нам встретились четыре молодых индейца, которые выслеживали стадо пекари. Хаи-намби попросил их помочь перенести мясо, и они охотно согласились. Трое пошли туда, где были убиты медведи, четвертый помчался, как спугнутый олень, звать еще соплеменников. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы пропало столько мяса! Это был бы великий грех, и Па-ку-не мо-

жет разгневаться, а тогда не миновать неприятностей. Судя по наставлениям, которые получил гонец, нам в этот день еще что-то предстояло. Я понял далеко не все, но уловил имя знахаря.

Мы продолжали путь с нашим грузом и часа через два вышли на прошлогоднюю расчистку в полутора километрах от стойбища Хаи-намби. Здесь нас ждал старик Мари-гама. Мы положили на землю свои ноши и оружие и подошли к нему поздороваться.

Я еще никогда не видел старого знахаря в таком облачении. На нем была совсем новая красная набедренная повязка и синий плащ, а свисающий до колен конец его а-деа из тонкого белого луба украшали магические узоры. Лоб Мари-гамы охватывала широкая бисерная лента, и разноцветные бусинки образовали кружевной орнамент. Такое же украшение прикрывало шею спереди. На грудь опускались ожерелья из когтей медведя и ягуара, а также из шейных позвонков пака, отгоняющих духов болезней. Не только лицо старика, но и все-видимые части тела покрывали хитроумные символические узоры, нарисованные черной краской.

В одной руке знахарь держал черную пальмовую трость около метра длиной. Ее рукоятка изображала стилизованную человеческую фигуру. В другой руке у него были три стрелы для охоты на птиц с духовыми трубками. Они чуть потолще спички, длиной около тридцати сантиметров, острые, как игла. На них не делают надреза в двух-трех сантиметрах от острия, как на стрелах для крупного зверя, и они не бывают отравленными.

Хаи-намби долго что-то рассказывал отцу. Говорил он медленно и так тихо, что я не разобрал ни слова. Старик вполголоса отвечал ему. Наконец Хаи-намби кивнул и подошел ко мне.

— Мой брат, — сказал он, — ты убил медведя копьем, это хорошо. Теперь мы, мужчины, хотим, чтобы ты стал

одним из нас, стал домиком, членом рода «хепа» — удава, большого удава дама дрома, который жил еще до того, как появилось Солнце. Но сперва мы должны узнать, можешь ли ты выносить боль. Так нужно, в братство принимаются только настоящие мужчины, из которых могут выйти хаи-бана и вожди.

Думаю, в ту минуту я согласился бы на все, что угодно. Конечно, я знал, что никогда не сравнюсь выдержкой с этими смуглыми лесными стойками, которые только посмеивались, когда я не очень умело врачевал их тела, орудуя ланцетом и хирургической иглой. Но теперь, когда мне так фантастически повезло при первом испытании, было бы просто обидно отступать. Вам часто удавалось поразить медведя копьем?..

Я понимал, что мой друг Хаи-намби заранее все тщательно подготовил, и был ему чрезвычайно благодарен. Поразмыслив минуту, я ответил:

— Хорошо, мой брат. Я горжусь, что удостоен такой чести. Только позволь мне сперва пойти к ручью и умыться. Мужчина должен быть чист, когда ему предстоит встреча с хаи-бана биа.

Хаи-намби молча кивнул. Похоже было, что мой ответ пришелся ему по душе. Я пошел к ручью, смыл с себя пот и кровь, незаметно проглотил таблетку аспирина, запил ее водой и вернулся к остальным. Хаи-намби предложил мне сесть на поваленное дерево и стал у меня за правым плечом; слева занял место Эйке-ауври-зама. Знахарь засунул трость и две стрелы себе за пояс, крепко сжал мне пальцами правую руку и третьей стрелой пронзил ее насквозь на ладонь ниже локтя. Тут же он выдернул стрелу и нацарапал ею на коже вокруг ранки изображение пятнистого хвоста удава. Потом опустил мою руку мне на колено и тщательно обернул окровавленную стрелу куском чистой лубяной материи.

Я сидел, стиснув зубы, и силился делать вид, будто

все это меня не касается. Попытался разобрать по лицу знахаря, доволен он или нет, да разве поймешь. Тем временем старик вытащил из-за пояса вторую стрелу, взял меня за левую руку и повторил операцию. Он действовал со знанием дела — стрела проткнула мышцу сантиметрах в полутора от артерии. И эту руку, естественно, украсило изображение змеиного хвоста. Вторую стрелу знахарь тоже обернул в клочок лубяной материи. После этого он взял третью стрелу и левой рукой нацелил ее мне в грудь, а правой поставил трость между моими коленями так, что голова фигурки, вырезанная на рукояти, оказалась вровень с моим подбородком. В следующую секунду левая рука старика метнулась вперед, словно голова атакующей змеи. Я смотрел в воздух мимо него, изо всех сил стараясь выглядеть невозмутимо, а главное, не моргать. Однако на этот раз стрела не вонзилась в меня. Она поразила фигурку на трости и переломилась. Старик протянул мне сломанную стрелу и сказал:

— Теперь, мой сын, ты один из нас. Хаи-намби — твой брат по тотему. Ты принадлежишь к роду домико, и твоим знаком будет хепа.

«Хепа» — название удава на языке энгвера. Отныне великая змея стала моим духом-хранителем. Удар стрелой по человеческой фигурке (после я рассмотрел, что она покрыта чешуей) был магическим действием, посвящением в тотем. Одновременно он служил как бы знаком союза между мной и моим новым родом. Сломанная стрела — очевидный символ мира и дружбы, известный многим народам. Что до духа-хранителя, то на мою долю достался далеко не самый худший. Если разобраться, удав-констриктор — безобидное существо. Конечно, он способен стащить у вас курицу, а очень крупный может и поросенка проглотить. Но фантастические рассказы о нападении удава на человека могут только вызвать усмешку у того, кто знает, что представители этого вида

лишь очень редко достигают в длину больше четырех с половиной метров. Правда, на Тринидаде отмечен экземпляр в пять с половиной метров, однако его надо считать аномалией. Даже четырехметровые удавы-констрикторы редки. К тому же они совсем не агрессивны в отличие, скажем, от куда более крупной и подвижной анаконды. Надо долго и упорно дразнить удава, чтобы он укусил вас.

После ритуала посвящения, оставив ноши на земле — их подберут другие, — мы направились к хижине Хаи-намби. В ту самую минуту, когда мы пересекали крутой овраг, спускающийся к реке, над нами пролетел белогрудый орел *Spizaethus*. Я показал на него и спросил, как он называется на языке индейцев.

— Хиви, брат, — ответил Хаи-намби. — Эта птица — добрый знак. Теперь ты До-хиви, потому что это первое животное, на которое ты показал после того, как стал одним из нас. Он такой же светлый, как ты, и далеко видит. До-хиви — Речной Орел — так тебя будут называть в нашем народе. Но сам этого имени не произноси, если хоть немного сомневаешься в человеке, с которым говоришь.

Так у меня появилось индейское имя и свой личный символ. Кстати (тогда я этого не знал), мне сразу присвоили имя взрослого мужчины, который прошел посвящение. А вообще энгвера меняет имя до двух раз. Первое, детское имя, иногда шутовское, иногда ласкательное, присваивается часто еще в младенчестве. Когда подходит переломный возраст, он получает «мужское» имя, которое обычно и сохраняет всю жизнь. Если же энгвера, став постарше, участвует в ритуальной охоте с последующим посвящением, ему дают третье имя, но оно обязательно только для будущих знахарей. Во всяком случае, так было в те годы. Теперь, тридцать лет спустя, возможно, пришел конец и ритуальной охоте, и хаибана биа.

...Пройдя последний лесок, мы вышли на просторную расчистку, но не сделали и десяти шагов, как из хижины высыпали женщины и дети и направились к огородам за ручьем. Мы остановились и подождали, пока они не исчезли.

В хижине оставались три пожилых индейца, и они торжественно приветствовали нас, когда мы поднялись по приступке. Им достаточно было увидеть в моей руке сломанную стрелу, чтобы догадаться, что произошло. А скорее всего, все было тщательно подготовлено заранее. Старик Мари-гама подошел к очагу, сделал канавку среди горящих головешек и положил в нее оба сверточка с окровавленными стрелами. Потом взял у меня сломанную стрелу и сжег ее тоже. Когда осталась одна зола, он сгреб ее на большой лист, вынес и скрытно от всех закопал в землю. Младший из присутствующих мужчин принес дров и снова развел огонь. Мне предложили сесть на маленькую бальсовую колоду, которой резчик придал сходство с кайманом. Хаи-намби подал мне новую андеа и новую набедренную повязку, и, когда я переделся, индейцы начали меня раскрашивать. Ритуал требовал, чтобы на мне были изображены все присвоенные мне символы: знак змеи, знак мира, грим на губах — знак женатого мужчины, наконец, мой личный знак. Мари-гама сам нарисовал мне на веках знак тотема. В заключение у меня на груди, на бедрах и на ногах шаблоном из бедренной кости тапира отпечатали черные узоры рода домико. Руки, запястья и лодыжки были обведены двойной черной линией с красными пятнышками, в просвете — символ «хепа», удава. Как только раскраска была закончена — она отняла немало времени, к тому же охотники тоже перекрашивались, — два индейца принесли огромный глиняный кувшин, литров на тридцать — сорок. Он был наполнен итуа — брагой из молотой кукурузы.

Итуа — праздничный напиток лесных индейцев, иг-

рающий важную роль во многих ритуалах; в частности, он соответствует трубке мира североамериканских краснокожих. У некоторых племен принято, чтобы добиться брожения, пережевывать кукурузу, маниок или другой продукт, содержащий крахмал, и выплевывать кашу в глиняный сосуд, где она потом и доходит. Энгвера для брожения добавляют в свежую смесь немного крепкой старой итуа. И они вовсе не употребляют маниок, предпочитая спелые бананы, ананас или сок сахарного тростника, но чаще всего мягкую кукурузу. Для ритуальной итуа выращивают особые виды кукурузы.

Хаи-намби наполнил большую деревянную чашу и поднес своему отцу, тот выпил брагу и вернул ему сосуд. Следующая порция была подана сидевшему рядом со мной Доби-гари, старшему зятю Хаи-намби. Доби-гари, естественно, был не «удав», а «зимородок»: «удав» не может жениться на женщине своего тотема. Он и несколько «коршунов» не появлялись, пока шла раскраска, они вошли в хижину только после завершения ритуала.

Доби-гари учтиво предложил мне разделить с ним чашу и пить первым. Я сделал глоток. Не люблю я итуа, но отказаться не мог. Тем самым я чудовищно оскорбил бы всех присутствующих, и прежде всего моего нового брата, который все устроил и угощал нас. Вообще, отказ пить или есть у энгвера почти равносителен объявлению войны. Поэтому я сделал вид, что пью с большим удовольствием, произнес одобрителное «биа кируа» и передал чашу Доби-гари. Церемониал продолжался, пока каждый не выпил примерно с литр этой гадости. Затем кувшин накрыли высушенным на дыму листом и отставили в сторону.

Теперь в хижину вошли женщины и дети. Хозяйки тотчас принялись стряпать. Они принесли с огородов маниок, батат и несколько банановых гроздей, к тому же с самого утра женщины мололи кукурузу для бека — своего рода булочек или лепешек, составляющих один из

главных продуктов питания энгвера. Два молодых индейца растянули медвежьи шкуры для сушки под потолком. Еда была почти готова, когда вернулись мужчины, ходившие за мясом. У них на спине были огромные ноши, однако и они всего не унесли, другие взяли оставшееся и должны были вот-вот подойти.

Со всех сторон сходились на праздник индейцы — мужчины, женщины, дети. Лесной телеграф работал безупречно. К началу великого пира в хижине собралось человек сорок — пятьдесят, да и после продолжали прибывать гости. Места хватало, еды тоже, и у всех был довольный и радостный вид.

Жена Хаи-намби наполнила две больших деревянных миски вареным и жареным мясом, сырыми и печеными бананами, вареным маниоком, кукурузными лепешками, жареной и копченой рыбой — достаточно, чтобы накормить дюжину хороших едоков. Одну миску она поставила перед знахарем, другую передо мной и дала нам сверх того по чашке мясного бульона и деревянные ложки. После этого она раздала еду остальным. Мисок не хватало, поэтому угощение клали на большие листья би-хао, которые ополоснули в ручье возле хижины и подержали над пламенем.

Каждая семья окружила свою отдельную зеленую «тарелку», лишь несколько холостяков сидели особняком в углу. Индейцы ели медленно, с достоинством, блюдя изысканные манеры: самые заманчивые куски сперва предлагались соседу. Все тщательно мыли руки перед едой и после еды; со мной они были так же вежливы, как друг с другом. Поесть они любили и могли поглотить поразительное количество пищи, вовсе не проявляя при этом жадности.

Я не представляю себе более гостеприимных людей, чем энгвера. Они всегда готовы поделиться последним бананом, последней кукурузной лепешкой с другом. Или с чужаком. Если вы в компании предложите индей-

цу сигару или сигарету, он зажжет ее, быстро прикинет, сколько человек присутствует, выкурит свою долю и передаст сигарету соседу, который поступит так же. Нет страшнее позора для индейца, чем если о нем скажут, что он «идьеа не́ко абарбоа» (ест один), иначе говоря, не делится с тем, кто в это время оказался поблизости. Правда, на сей раз даже шесть десятков индейцев не смогли всего съесть, хотя надо признать, что они старались изо всех сил.

Я ожидал, что после еды все лягут и будут спать, словно сытые удавы. Ничего подобного. Мужчины закурили самокрутки и продолжали пить итуа. Когда чаша обошла круг, Хаи-намби встал и что-то сказал. Старшие поддержали его одобрительными возгласами. Он снял пояс с мачете и ножом, принес свое копье, ружье, духовую трубку, колчан, лук и сложил все оружие под самой высокой из подвешенных к потолку платформ. Один за другим остальные индейцы последовали его примеру. Это была удивительная коллекция: духовые трубки, старые ржавые громобои двадцать восьмого калибра, копья, луки для охоты на рыбу и саженные стрелы с железным наконечником, остроги, мачете, ножи, топорыки...

После того как все разоружились, племянник Хаи-намби Са-ндьяма залез на платформу и стал принимать оружие, которое подавал ему снизу мой брат. Я подошел к Хаи-намби, отдал ему свое ружье, нож и мачете и спросил, в чем смысл происходящего.

— Мы всегда так делаем, перед тем как начинать пить всерьез, — объяснил он. — А то бывает, молодые охотники выпьют лишнего и затевают ссору — тут уж лучше, чтобы оружие лежало подальше. Голыми руками они друг друга не убьют, только поборются да подергают один другого за волосы. У нас исстари заведено убирать оружие, когда садишься пить итуа. Хороший обычай, и в моем доме пусть так будет. Ты, мой старший брат, мо-

жешь оставить при себе свое оружие, ведь ты ни с кем не повздоришь.

Конечно, я настоял на том, чтобы и мое оружие забрали. Раз я стал индейцем, на меня распространяются те же правила, что и на всех остальных. Про себя я подумал, что, если против ожидания дойдет до потасовки, у меня больше шансов отбиться кулаками, чем ножом или мачете. Индейцы мастерски владеют холодным оружием, а вот на кулаках драться не привычны, даже как будто не представляют себе, что это возможно. Вообще энгвера дрались очень редко, но уж если схватывались между собой, то всегда с оружием в руках и с твердым намерением убить противника. Если индеец убьет другого индейца, священный долг семьи убитого осуществить кровную месть, но она направлена только на самого убийцу. Иной раз на почве мести возникает межродовая вражда, которой не видно конца. Понятие о прощении и примирении индейцам почти неведомо, и в ненависти они заходят так же далеко, как и в дружбе.

Когда все оружие было убрано и Са-ндьяме поручили сидеть на платформе и охранять его (следовательно, ему в этот вечер больше не разрешалось пить итуа), мужчины сели в широкий круг поодаль от очага. Это их место в свайной хижине, тогда как женщины и дети жмутся к огню.

На дворе уже стемнело, но в хижине было достаточно светло от очага, нескольких самодельных масляных светильников и полудюжины свечей, представлявших мой маленький вклад в празднество.

Вдруг на опушке леса замелькали факелы. Пять-шесть молодых парней принесли оставшиеся куски медвежатины. Их накормили, потом они сели с нами в круг, около выхода, как полагается молодым и неопытным. Женщины принялись разрезать мясо на тонкие полосы, чтобы сушить его и коптить над очагом. Засаливать мя-

со у них не принято, соль здесь дорогой товар, ее нельзя разбазаривать. Пищу обычно варят без соли, и только в торжественных случаях к еде подается щепотка. Кувшинище с итуа поставили рядом с Хаи-намби, и постепенно завязалась беседа.

Поначалу мужчины вели себя очень сдержанно, даже церемонно. Говорили глухо, негромко, почти не шевеля губами, друг друга ни в коем случае не перебивали. Дождутся, пока говорящий закончит свою мысль, молча обдумают сказанное, потом, когда подойдет очередь, выскажутся сами. Чаша ходила по кругу, пока кувшин не был опустошен. Тогда двое молодых мужчин принесли другой, почти такой же огромный кувшин и откупорили его.

Волей-неволей приходилось выпивать глоток, когда чашу вручали мне, или хотя бы делать вид, что я пью. Я жульничал, насколько смелость позволяла. Когда появился второй кувшин, я, должно быть подсознательно, скроил кислую рожу. Во всяком случае, поглядев на Хаи-намби, я заметил его вопросительный взгляд. Едва заметно кивнув, он сделал знак своей жене. Она улыбнулась и принесла ему большую чашу с выжженным узором. Хаи-намби встал и протянул чашу мне. Она была полна почти до краев, но не итуа, а чем-то другим.

— Мой брат, — сказал он громко, чтобы все слышали, — по справедливости, ты сегодня должен получить подарок. Поэтому я дарю тебе эту чашу. Никто, кроме тебя, не должен пить из нее, и, как только она опустеет, женщины этого дома снова наполнят ее. Ты мой старший брат До-хиви.

Кольцо смуглых фигур отозвалось бормотанием. Все явно одобряли учтивую речь Хаи-намби. Я от души поблагодарил его и поднес чашу к губам. В ней был свежий кофе! Забота и такт Хаи-намби выручили меня.

Индейцы пили медленно, но прилежно, и в конце

концов кукурузное пиво действовало. Нет, они не утратили своего достоинства, просто стали менее чопорными. Несколько человек взяли в руки музыкальные инструменты. Три барабана: один — деревянный, обтянутый кожей дикой свиньи и заостренный внизу, другой — из обожженной глины, с оленьей кожей; на третьем, совсем маленьком, был натянут желудок крокодила. В остальном оркестр состоял из музыкального лука с одной струной, фаллической флейты и старой, сильно помятой, астматической губной гармоники.

И вот зазвучала музыка. Мне она показалась довольно монотонной, но я в этой области не знаток. Во всяком случае, для танца она вполне годилась. Несколько охотников помоложе встали и начали танцевать анкосо. «Анкосо» означает «гриф», а точнее, речь идет о черном грифе урубу *Coragyps atratus*.

Была исполнена настоящая пантомима. Индейцы изображали, как грифы парят в поднебесье, растопырив маховые перья, как снижаются широкими кругами, обнаружив что-то, как приземляются и неуклюже бегут по земле с расправленными крыльями, чтобы наконец остановиться и рассмотреть поближе добычу. Танцоры ходили на цыпочках, потом на полной ступне, потом стали все ниже и ниже приседать. Их руки в точности передавали движение крыльев черного грифа. Танцуя, они пели фальцетом:

— Вождь, охотник До-хиви убил двух медведей. Много мяса! А теперь слетаются грифы.

Слова песни меняются в зависимости от имени охотника, а также рода и числа убитых им животных. Танец анкосо исполняют только в тех случаях, когда речь идет о крупной добыче — тапире, медведе, пекари. Женщины в танце грифа не участвовали. Это танец охотников. Есть другие танцы, в которых женщины участвуют, есть и чисто женские.

Мои смуглые друзья продолжали танцевать, бить в

барабаны и пить итуа. Трепетный отсвет пламени ложился на гибкие, стройные тела, на раскрашенные лица, бесхитростные украшения. Люди и бархатно-черная ночь со звездами на небе и светлячками на опушке леса, вечный хор цикад, далекий вой пумы в горах — все сплелось воедино в дикой, своеобразной гармонии. И я почувствовал, что случилось долгожданное: я влился в новый мир, в корне отличный от моего собственного, но этот новый, самобытный мир уже становится и моим.

На дворе стоял сплошной треск разгрызаемых костей. Каждому псу в округе досталось по большой кости, и они усердно расправлялись с угощением, очутившись на седьмом небе индейских псов. Им некогда даже было рычать друг на друга. Три собаки, которые участвовали в охоте, лежали в хижине возле приступки. Им достались внутренности, мясные обрезки и кровь, и теперь они походили на надутые шары — того и гляди взлетят!

Я все сильнее ощущал страшную усталость. Охота и переход с тяжелой ношей по крутым тропам не прошли мне даром. Проколотые стрелами руки словно налились свинцом, пострадавшая от медвежьих когтей нога тоже болела. Конечно, я улучил минуту и незаметно промыл ранки дезинфицирующим раствором, но боль от этого не утихла. В голове упорно вертелась мысль о том, как это будет некстати, если у меня откроется заражение крови, ведь до ближайшего врача неделя ходу. Я готов был лечь где попало, только бы забыться сном на час-другой. В это время подошел старик Мари-гама, сел рядом со мной и спросил, не болят ли руки. Услышав утвердительный ответ, он предложил попробовать заживляющую смолу.

Из маленького мешочка знахарь достал несколько твердых черных комков, совсем не похожих на известные мне разновидности смолы. Взяв один комок пинце-

том из пальмовых щепок, он подержал его над светильником, пока смола не расплавилась, и накапал мне жидкой смолой на ранки. Потом подсушил над огнем несколько зеленых листьев и прилепил их сверху той же смолой. Так полагается обрабатывать свежие, незагрязненные раны, объяснил Мари-гама. Листья все равно какие, только не от ядовитых растений. Обязательно зеленые, чистые и без ворсинок. Лучше всего — листья тохати, их полезно также жевать при сильной боли. Или когда нечего есть, чтобы заглушить голод. (Речь шла о листьях кустарника, напоминающего коку, вероятно *Erythroxylum novogranatense*.) Но часто жевать тохати не стоит, предупредил старик, иначе без них уже не сможешь обходиться.

Он рассказал, что в лесу водится много разных пчел, есть «богатые» пчелы, есть «бедные». Смолу, которой он меня лечил, можно найти только в гнездах определенной черной пчелы. Она дает много меда, но очень уж злая.

— Старею я, — заключил Мари-гама. — У моих внуков уже свои дети пошли. Охотиться, ловить рыбу, рубить лес еще могу, но вот танцевать и пить итуа целую ночь, как молодые охотники, сил не хватает. Пожалуй, отдохну.

Он завернулся в свой плащ, лег на лубяную циновку и уснул, как дитя. Я выбрал уголок потемнее и стал искать удобное положение на пальмовых жердях для своего измученного тела. Слипающимися глазами я увидел, как ко мне подошли два молодых индейца и накрыли меня своими плащами.

Глядя в ночь, окутавшую дебри, я думал о том, что у меня, кажется, появился временный дом, из которого мне пока не хочется уходить. Завтра напишу письмо. Индеец отнесет его в деревню за горами. Дальше оно пропутешествует три-четыре дня в сумке конного почтальона до Ярумала, где начинается шоссе. Оттуда автобус

доставит его в Медельин на Центральной Кордильере, а потом оно полетит на самолете через горы, саванну и море, пока не попадет в руки женщины на другом конце земного шара.

Захочет ли она приехать сюда и разделить со мной общество вольных индейцев в нетронутых тропических лесах? Могу ли я надеяться, что хотя бы на несколько месяцев перестану чувствовать себя вечным чужаком? Как и все, что составляет подлинную суть жизни, это в конечном счете зависело от женщины. От живой, настоящей женщины. Или от символической Па-ку-не. Иногда они сливаются воедино — на один день, или на одну ночь, или хотя бы на те секунды, что реку пересекает тень коршуна. И уж если это случилось, вы не останетесь тем, чем были прежде...

СТРОИМ ПЛОТ

Светает. Звучит резкий трубный голос пенелопы. Над лесом пролетают крикливые амазонские попугаи, у реки перекликаются чачалаки. Маленький токе-токе (так индейцы называют манакина Гульда) исполняет в зарослях свою коротенькую, словно незаконченную, песенку. Как будто он забыл полстрофы и вставляет невпопад какие-то случайные трели.

Четыре странника проснулись задолго до рассвета. Утреннее купание уже состоялось, без него энгвера не чувствует себя человеком. Сейчас все четверо сидят у костра, едят копченую дораду и пьют кофе. После завтрака двое молодых индейцев продолжают заготавливать бревна. Для такого плота, какой попросил связать До-хиви, их нужно немало. Третий идет за лианами к чибоге.

Белый берет дробовик и шагает в лес поискать что-нибудь подходящее для голодных желудков. Это его часть работы — добывать мясо.



Обычная путевая провизия — поджаренная молотая кукуруза — годится, когда надо пройти небольшой отрезок с умеренной ношей или когда отправляешься охотиться, ловить рыбу на день-другой. В крайнем случае, если не требуется большого расхода сил, можно прожить на одной кукурузе целую неделю. Но при большой нагрузке (например, когда надо тащить тяжелую ношу, или рубить лес, или строить лодку, вязать плот) необходима пища посытнее, чтобы не донимало чувство голода. Да и настроение лучше, когда плотно поешь.

Старик направляется в ту сторону, откуда недавно донесся крик пенелопы. Две-три хохлатых пенелопы (по-научному *Penelope cristata*) и несколько горстей риса — приличный ужин для четверки голодных мужчин.

Он тихо крадется через лес. Время от времени останавливается, чтобы вслушаться и посмотреть — вправо, влево, вверх, где ветви переплелись в сплошной свод.

Обычно самое трудное при охоте в дремучем лесу — обнаружить дичь. А уж когда знаешь, где она находится, остальное всецело зависит от терпения.

Чу, кажется, это пава зовет? Негромкий, раскатистый крик — не сигнал побудки и тревоги, а переливчатый нежный свист, обращенный только к своей семье. Охотник усмехается про себя. Не будь пава такими болтливymi, вряд ли было бы возможно отыскать их в безбрежном хаосе древесных крон. Да и сейчас это будет не просто, тем более слух уже не тот, что прежде.

Старик поднимает ногу, чтобы перешагнуть через поваленный ствол, да так и застывает, держа ногу на весу. За стволом лежит на земле змея, серая змея с черным узором на спине. Голова, как висячий замок, курносая морда. Раскраска превосходно сочетается с устилающими лесную почву сухими листьями и сучками. Это чистая случайность, что он заметил неподвижную гадину, изготовившуюся для атаки. Фер-де-ланс, лабария, мапана экуис — у нее много прозвищ, и ни одного ласкательного. Медленно, осторожно-осторожно охотник ставит поднятую ногу обратно. В следующую секунду длинный узкий клинок его мачете выскакивает из потрепанных ножен и описывает в воздухе сверкающий полукруг. Тупая сторона клинка поражает тело змеи в дециметре от головы, ломая ей позвоночник. И еще один удар, в самую голову: ядовитую змею лучше добивать наверняка.

Острием мачете охотник заталкивает судорожно извивающееся длинное тело под лежащее дерево, чтобы кто-нибудь не наступил невзначай на ядовитые зубы. Затем он медленно идет дальше. Когда у тебя за плечами шесть десятков лет, добрая треть которых проведена в сельве и диких горах, не мешает и поберечь то, что осталось от сердца и легких. Для охоты в лесу пока еще хватает, но это ненадолго. Что будет потом?

Впереди, совсем близко звучит крик пава. Охотник

замирает на месте. Его взгляд пристально изучает ветку за веткой, крону за кроной. Что это красное там светится? Какой-нибудь эпифит из бромелиевых? Нет, яркое пятно шевельнулось... Это кожная складка на шее пава. Смотри-ка, в нескольких метрах выше, наполовину закрытая зеленой веткой еще одна птица. А вот и третья не столько перелетела, сколько перескочила на соседнее дерево. Полчаса спустя все три висят на петле из тонкой лианы. Охотник продолжает путь. На узкую звериную тропку перед ним выбегает тинаму, но он нарочно не замечает его: трех пенелоп четверым довольно.

У прозрачного лесного ручья он останавливается, ощипывает и потрошит птиц, смывает кровь с рук и присаживается на бревне, чтобы выкурить сигарету. Как приятно отдохнуть немного. Под деревьями, рядом с быстрым потоком, который скачет по камням с веселой песенкой, свежий воздух, прохладная тень. Охотник сидит так смиренно, что ящерицы и пичуги покидают свои укрытия, чтобы взглянуть на него.

Солнце уже перевалило через зенит, когда он наконец встает и не спеша идет обратно в лагерь. Проходя место, где состоялась встреча с ядовитой змеей, он покачивает головой. Это могло и плохо кончиться. Если бы зубы лабарии вонзились в его ногу, пришлось бы ставить крест на ближайших планах. А то и на его могиле... Невезучая правая нога, всегда-то ей достается. Дважды ее кусали ядовитые змеи. Где-то в кости до сих пор сидит обломок шипа хвосткола. Однажды в ней завелись нуче — личинки мухи *Dermatobia*; они совсем малюсенькими забиваются в поры, но постепенно разрастаются, становясь толщиной с карандаш, длиной с большой палец. Или вот еще памятка от медведя.

Длинное серое тело змеи облепили черные муравьи. Бродячие муравьи *Eciton*, слепые воины, которые сплоченными рядами маршируют через лес. Только вода или

огонь могут их остановить, все живое спасается от них бегством, литература полна кошмарных историй о набегах этих разбойников. А ведь чтобы спастись от них, достаточно сделать шаг-другой в сторону и пропустить колонну мимо. Так и с большинством других опасностей сельвы. Но не со всеми.

Муравьи поедают змею. Не убей он ее, они бы сейчас ели что-то другое. И, однако, есть люди, порицающие убийство змей. Эти люди ни разу не видели, как женщина или ребенок умирают в страшных муках от змеиного укуса. Они не способны мыслить биологически и подходят с меркой горожанина к жизни в диком крае...

Вот и лагерь. Сын Выдры поднимает взгляд от своей работы — он скручивает веревки из луба — и улыбается.

— Мзезе туси бедусиа? — спрашивает он. («Мой отец убил пава?»)

— Мбеа туси, — отвечает старик. («Три пава».)

Он разрезает птиц на подходящие куски и кладет их в котелок. Потом сидит и следит за котелком, а из гуши леса выползает вечерняя прохлада, и опять птица следад кричит свое извечное:

— Па-ку-не! Па-ку-не!

Старый охотник грезит о давних лесных ночах и о Па-ку-не.

ЛЕСНЫЕ НОЧИ

Высоко в небе над рекой висит луна. Полная луна, педеко дрома кируа — «та, которая пишет волшебными красками». Она расцвечивает перекааты пятнами серебристой пены, перебрасывает золотые мосты через глубокие тихие плесы. Река негромко поет. Журчит, воркует, булькает. То словно задорный девичий смех звучит, то будто парень шепчет ласковые слова.

С двух сторон к реке подступают заросли — пятнистые, как шкура пантеры, какое-то колдовское, чарующее смешение оникса и серебра. Дальше, сколько хватает глаз, простирается высокий лес. Исполинская бесформенная масса темного малахитового цвета. Он сейчас представляется мне чудовищным существом, таким спящим драконом. Или он вовсе и не спит? А неотступно следит за мной сотнями темно-зеленых глаз? Я ощущаю его дыхание. Оно нашептывает мне о лунной росе и влажной земле, о гниющих листьях и затившихся цветах, о жизни, весь срок которой один лунный час, и о жизни, которая длится тысячи лет, о любви, рождении и смерти в нескончаемой шахматной партии, где мраморно-белый свет играет против теней цвета умбры.

С каждым вздохом запахи меняются, как меняются голоса, звучащие в кронах деревьев, в зарослях сурибио, в густой вязи лиан. Голоса сотен незримых существ. Они скрипят, и щебечут, и тренькают, сливаясь в трепетный металлический хор. То вдруг утонут в чьем-то крике, рычании, стоне, то опять всплывают на волнах тишины.

На узкой косе между Икаде-до и Данда-до стоит белая статуя. Но это не холодная мраморная белизна, а живая, теплая, с оттенком лунного золота. Она не шевелится — статуя, которая вовсе и не статуя, а моя жена. Глаза ее чутко ловят малейший всплеск или рябь около лески, заброшенной в заводь под большим камнем ниже переката. Глядя на нее, я забываю о собственной удочке.

Мы начали удить через час после того, как зашло солнце. Стоящая между нами корзина до половины наполнена широкими золотистыми дорадами, скоро можно идти домой и коптить наш улов. Но сейчас нам всего на свете дороже эти минуты под луной, у певучей реки.

Мы оба воспринимаем ночь, но воспринимаем по-разному. Ей больше говорит лунный свет, этот неправдоподобный тропический лунный свет, который вливается в хижину и не дает нам уснуть, который завораживает ординарные заросли и берега, превращая их в фантастический сказочный край, и населяющие этот край немислимые, неслыханные существа кажутся более живыми и реальными, чем наши собственные тела. Свет, в одно и то же время неудержимо манящий своим волшебством и наполняющий душу глубоким, таинственным страхом перед непонятым призывом, которому ты должен подчиниться.

Моей душе ближе мрак, черный бархатный мрак под пологом сельвы. Я почти физически ощущаю его, словно черную жидкость, которая расступается передо мной, когда я вхожу в нее, но тотчас смыкается позади меня, как смыкается вокруг пловца вода в черном омуте. И рука невольно сжимает крепче древко копья или рукоятку мачете. Где-то во мраке скользят лабария и бушмейстер, лежат в засаде ягуары, но для меня именно мрак — реальная субстанция, а все эти существа из плоти и крови — лишь своего рода эманации мрака. И однако, он манит меня, манит так сильно, что хочется нырнуть в него, как ныряешь в воду.

Но я ощущаю и лунное волшебство, всем своим существом убеждаясь в справедливости древнего индейского сказания о лунном жале. В отличие от солнечного жала оно не убивает насмерть, зато отравляет нервы и жилы коварным ядом странного безумия.

Па-ку-не — «живущая в лесу», «говорящая без голоса» — называют индейцы лесную колдунью, которая привлекает охотника и обнимает его так, как не может обнять ни одна женщина, рожденная женщиной, и поедает его глаза и сердце. Индейцы рассказывают о ней только шепотом, только днем, только в хижине.

Теперь я знаю Па-ку-не. Если бы не дивная белая ста-

туя, что стоит в нескольких шагах от меня, я сегодня ночью устремился бы в заросли искать Па-ку-не. Вдруг статуя становится женщиной. Рука зашевелилась, и вот уже все тело полно кипучей жизни, ноздри расширились, губы то приоткроются, то плотно сомкнутся. Она осторожно выбирает леску... отпустила несколько метров... снова тянет, уже быстрее. На крючке — рыба, большая рыба.

Я берусь за мачете в ту самую секунду, когда сверкающий полумесяц взлетает на метр над водой и падает в рое бледно-золотых брызг. Еще рывок — добыча на песке. Короткий, резкий удар тупой стороной мачете, и она застывает недвижимо. Это рубиа килограмма на четыре — лососевидная рыба длиной чуть не с руку, с темно-красными плавниками, невыразимо красивая. Так и кажется, что ее выковал Бенвенуто Челлини из серебра, меди и электрона на радость какому-нибудь князю эпохи Возрождения.

Пора кончать и идти домой, нашего улова хватит на несколько дней, и не только нам, но и собакам, которые остались сторожить хижину. Забрасываю корзину на спину, и мы ныряем в бамбуковые заросли. Здесь нужен фонарик, чтобы не оставлять клочья собственной шкуры на жесткой и острой траве или на кривых шипах бамбука гуадуа. Тело не защищено одеждой, ведь мы пошли удить ночью в уединенный уголок, до которого от дома не больше километра. По той же причине у нас нет никакого оружия, кроме мачете.

Впереди открывается прогалина, отделяющая высокий бамбук от толстых стволов дремучего леса. Отсюда до нашего ближайшего участка кукурузы всего пять минут ходу. Вдруг мы замираем на месте и стоим, словно каменные, взявшись за мачете. Из темных зарослей на узкую световую дорожку от фонаря не спеша выползает змея. Тяжелое, мощное туловище, темно-коричневые ромбы на сером фоне — все ясно. Это бушмейстер. Боль-

ше двух саженой литой силы, этакая смертоносная лиана с колено толщиной.

Мы выдергиваем мачете из ножен, но это пустой жест. Что наш короткий клинок против этой бесшумной смерти! Сейчас бы хорошую длинную палку, а впрочем, палкой здесь не размахнешься: ветки мешают. Будь у нас ружье, лук со стрелами, даже копье, мы могли бы сразиться с драконом. Теперь остается лишь стоять на месте и ждать, что он соизволит предпринять.

Змея медленно свивается в широкую спираль и лежит, словно круглый ковер. Плоская голова с дюймовыми клыками покоится на одном из колец, маленькие гранатовые глаза замороженно глядят на фонарь. Эта тварь и не помышляет о том, чтобы спастись бегством или уступить нам дорогу, как поступило бы большинство других пресмыкающихся, ибо бушмейстер не ведает страха. Правда, она и не нападает. А просто ждет с возвышенным спокойствием, сознавая свою силу. Посмей кто-нибудь подойти слишком близко, и удар будет нанесен так быстро, что глаз не уследит.

Отойти в бамбуковую чашу, через которую пробираешься, согнувшись в три погибели? Нет, уж лучше стоять здесь, на прогалине. Погасить фонарь? И останемся мы во тьме с притаившейся у самых ног бесшумной смертью. А пока на змею падает луч света, она не двигается с места.

Медленно поворачиваю фонарик, направляя свет туда, куда змея ползла, когда мы ее заметили. И напрягаю зрение, силясь уследить за тем, что происходит за краем светового конуса. Рукоятка мачете стала влажной и скользкой на ощупь. Проходит минута, проходит вечность. Наконец бушмейстер начинает выпрямляться, потом трогается с места. С каждым дюймом скорость нарастает, широкая голова скользит по настилу из увядшей листвы вдогонку за круглым световым пятнышком, которое движется по земле перед самым носом змеи.

Уведя бушмейстера от тропы на расстояние, равное его двойной длине, выключаю фонарик. Мы стоим во мраке затаив дыхание, и слушаем, слушаем... Куда поползет теперь ядовитое чудовище? Вперед? А если обратно, искать пропавший источник света, что тогда? Мы чувствуем себя очень нагими, и нам вдруг становится очень холодно в теплой тропической ночи.

Бушмейстер уходит. Мы отчетливо слышим, как он метрах в десяти слева от нас заползает в бамбуковые заросли. Сухие листья гуадуа шуршат, словно мятая жесткая бумага, совсем иначе, чем листья зирпе на прогалине.

Проходит еще минута. Теперь мы слышим только цикад и древесных лягушек. Когда я снова включаю фонарик, видно лишь корни, хворост и опавшую листву. Мы чуть ли не бегом пересекаем прогалину, ныряем в прохладный мрак высокого леса и выныриваем уже на залитой лунным светом расчистке, где стоит наполовину поспевшая кукуруза. Наша собственная кукуруза.

Посреди расчистки, в пятидесяти шагах от опушки, лежит могучий ствол с гладкой серебристо-серой корой. Он опирается на толстые сучья, вонзившиеся в почву, и около полутора метров отделяют его от земли. В обращенной вверх части комля между досковидными корнями есть пространство шириной в четыре локтя. Мы вешаем на сук корзинку с рыбой, влезаем на ствол и забираемся в укрытие между корнями. И ждем здесь, когда зайдет луна и среди высоких кукурузных стеблей поползут белесые плети утреннего тумана. Спать можно днем, для этого есть трезвые дневные часы и свайная хижина. А сейчас мы вдвоем в ночной сельве, где боги и чудовища бродят при луне и Па-ку-не безмолвно поет в зарослях.

А может быть, это Па-ку-не лежит тут рядом со мной, между воздушными корнями поверженного исполина?

Вечер. Долину заполнили тени, только над кручами по ту сторону Икаде-до еще замешкались последние лучи солнца. Над обрывом, будто огромный шпиль из фуксиновых цветков, наклонилось дерево мора-демонте. Уже перекликаются долгим, странно печальным свистом тинаму. В дремучем лесу спустился сумрак. Под листовенным пологом порхают маленькие на-секомоядные летучие мыши. То тут то там вспыхнет желто-зеленая искорка, предвестник факельных шест-вий и звездных балов, которые затеют ночью светлячки. С хриплыми криками пролетают мимо попугаи — попарно, шеренгами, вереницами. Высоко над рекой, там, где персиковый цвет закатных лучей сменяется абрикосовым, размеренно махая крыльями, плывет в воздушном океане большая серо-голубая магдаленская цапля.

Медленно, неуклюже слезаю вниз с развилки на старом сурибио, где я просидел весь вечер, ожидая, не выйдет ли олень к Данда-до, чтобы напиться ее прозрачной зеленой воды. Олень не пришел. Вот его следы, оставленные вчера вечером и в другие вечера. Но сегодня за весь день из зверья под моим укрытием прошел только молодой агути, слишком маленький для тяжелой штуцерной пули. Да, я вышел на охоту со штуцером: у нас осталось всего полторы коробки дробовых патронов.

Неподалеку от моего дерева, в зарослях бихао, я спря-тал заплечную корзину с лесками, наживкой, фонарем и лубяным мешочком, в котором лежат полдюжины за-пасных патронов, пачка сигарет, зажигалка, пузырек с бензином, крючки и складной нож. Как и следовало ожидать, моя корзина облеплена черными муравьями. Ничего особенного, взял да смахнул их веткой, они ни-кому не внушают почтения, не то что злые бродячие му-равьи или свирепые кахона, которые всегда бегают с че-люстями наготове, чтобы не упустить случая во что-ни-

будь их вонзить. Или длинные, стройные ардиты, или смахивающие на бескрылых ос темные конга, от укуса которых по несколько дней держится жар.

Жесткие, плоские древесные муравьи не жалят и не кусают, и под одежду им не забраться, ведь на мне всего-то хлопчатобумажная набедренная повязка, пояс и сандалии. Да еще, разумеется, мачете — острый полуметровый клинок, тонкий, прямой и упругий, как шпага из Толедо.

Среди деревьев извивается сухое русло — мадресека. Во время дождей здесь протекает рукав Данда-до, а сейчас осталось лишь несколько темных луж, в которых плавают сухие листья и гниющие плоды. Русло выстилает гравий и окатанные водой круглые голыши; над ними висят облепленные бромелиевыми узловатые ветви с двухметровой бахромой папоротников-эпифитов.

Проглядывающее между ветвями синее небо с каждой минутой коротких тропических сумерек становится все темнее и темнее. А вот и вода заблестела впереди. Большая заводь, одно из самых рыбных мест на Данда-до. Над водой вздымается серая с чернью шершавая скала. Я перебираюсь на нее по длинной ветке сурибио. Скоро будет совсем темно. Включаю фонарик, световой конус скользит по воде. Сверкнет где-нибудь красный глаз? Обитавшего здесь крокодила настигла моя пуля на прошлой неделе, и, похоже, с тех пор никто еще не пришел ему на смену. Впрочем, когда речь идет о крокодилах, лучше не спешить с выводами.

Прошел час, как я начал удить. В корзине лежит одна-единственная дорада. Большая, красивая, ничего не скажешь, но ведь этого мало для двоих людей и двух собак с отменным аппетитом. Сажу на камне, напряженно ожидая клева, смотрю на озаренный звездами, блестящий, словно металлический, щит заводи, на едва различимые силуэты древесных исполинов за рекой.

Тихо. Идет перекличка жаб и лягушек. Большая ночная птица с мягкими перьями и огромной пастью время от времени кричит: «О-о-о-о-хуан». И как всегда, звучит хор насекомых, к которому я уже настолько привык, что перестаю его замечать.

Несколько минут назад в молодой поросли сурибио на другом берегу поднялся шум, трещали ветки, что-то глухо стучало о землю, как будто завязалась отчаянная схватка. Это длилось всего несколько секунд. Сейчас там царит тишина.

Слышу громкий всплеск у противоположного берега. Кто-то расписывает густые тени полосками из звездного серебра. Не иначе, рубиа гоняется за рыбьей мелюзгой. Где охотится рыба, там и рыбаку место. Сматываю леску и возвращаюсь на берег, чтобы перейти через речку пониже, по мелкому перекату. Перед самым бродом гаснет фонарик: лампочка перегорела. Ничего, луна уже всходит. Вешаю корзину и штуцер на толстый, надежный сук, привязываю к поясу лубяной мешочек и вхожу в воду. Теплая река ласково гладит колени.

Выйдя на другой берег, насаживаю на крючок свежую наживку. Несколько минут — и вот уже на камнях отчаянно прыгает крупная рыба — рубиа килограмма на два. Теперь завтрашний день обеспечен. Забрасываю удочку еще два-три раза, но клева нет. Что ж, пора и домой.

Леска смотана и привязана к поясу, вдруг что-то большое и мягкое проносится мимо моего лица. Летучая мышь? Из вампиров? Они здесь не редкость, но мне кажется, это было что-то другое, не те движения. Летун возвращается, и теперь я успеваю его рассмотреть. Ночная бабочка, но какая: размах мерцающих серыми блестящими крылышек около тридцати сантиметров. Это *Thysania agrippina*, самый крупный из серых ночных пилотов дремучего леса.

Бабочка присаживается на камне рядом со мной, сразу вспархивает и снова возвращается на тот же камень.

Эх, мне бы сейчас сачок! И садок побольше! А что, если попытаться осторожно накрыть ее набедренной повязкой, потом сдавить пальцами и держать, пока не перестанет трепыхаться? Попытка не пытка. Снимаю набедренную повязку и подкрадываюсь к бабочке, но в тот миг, когда я уже готов ее накрыть, она снимается с камня и летит прямо в чашу сурибио.

Надо сказать, что в зарослях сурибио обычно есть свободное пространство над самой землей, ведь это дерево больше всего любит каменистую почву, и под его ветвями почти ничего другого не растет. Я пригибаюсь, проникаю крадучись в чашу и пытаюсь увидеть в свете луны широкие серые крылышки. И вот — чистое везение — снова вижу ее, она сидит на ветке над самой землей. Медленно-медленно подбираюсь к ней, стараясь не шуметь, но она опять ускользает, летит в самую гущу пляшущих теней и лунных бликов, будто заманивает меня. Следую за ней. Кажется, села?..

Я не совсем уверен, призрачный лунный свет не прочь подшутить над человеческим глазом.

Вдруг слышу впереди какой-то звук, какое-то глухое, низкое ворчание. Должно быть, жаба. Три года брожу по сельве, а знаю далеко не все голоса лягушек и жаб. Делаю еще шаг. Ворчание принимает злобный, угрожающий оттенок. Нет, жаба тут ни при чем! Меня подстерегает в темноте теплокровное существо, притом довольно крупное. Останавливаюсь, нащупываю в мешочке зажигалку, поднимаю ее над головой и чиркаю колесиком по камешку. Трепещущий язычок пламени освещает кусты на несколько шагов. В лучах света над самой землей, шагах в четырех от меня, вспыхивают два глаза — большие желто-зеленые глаза. Различаю широкую голову, прижатые к черепу короткие круглые уши. Оскаленную пасть с блестящими клыками. Длинное мощное тело, расписанное черными и желтыми пятнами, как окружающая лесная подстилка. Нервно подергиваю-

щийся хвост. Тяжелое тело и широкие лапы хищника подмяли под себя создание потоньше, постройнее — только что убитого оленя.

Язычок пламени вздрагивает и гаснет, я остаюсь в темноте лицом к лицу с самым грозным из всех лесных охотников — старым ягуаром, охраняющим свою кровавую добычу.

Медленно, насколько могут выдержать нервы, беру зажигалку левой рукой, а правую опускаю на рукоятку мачете, сделанную из бычьего рога. Дюйм за дюймом вытаскиваю из ножен длинный острый клинок, потом делаю шаг назад левой ногой и снова чиркаю зажигалкой. Ягуар лежит там же. Вижу, как шевелятся мышцы под жестким коротким мехом. Кажется, он подтягивает задние лапы. Большая кошка готовится к прыжку. Малейшее мое движение может быть воспринято как угроза, и на меня обрушатся, словно подброшенные стальной пружиной, девяносто килограммов костей, мышц и жил, рвущие когти, свирепые клыки.

Осторожно, плавно изготавливаю мачете к обороне: рукоятка упирается в бедро, острие смотрит вперед. Теперь можно и отходить. Ступни дюйм за дюймом скользят по земле назад, я готов к схватке, хоть и знаю, что она безнадежна. Если ягуар пойдет в атаку, может быть, я и убью его, но прежде он разорвет меня в клочья. Мне дважды доводилось видеть, что может сделать ягуар с человеком в несколько секунд. Яркое и кровавое воспоминание, настолько яркое, что я гоню его от себя, чтобы не поддаться панике.

Расстояние между нами почти удвоилось, а ягуар все еще колеблется. Ему не нужна схватка с человеком, если ее можно избежать. Он хочет тихо, спокойно набить брюхо парным, кровавым мясом, напиться из речки и подыскать себе логовище, чтобы поспать всласть до предраассветного часа росы. Только бы я не покушался на его добычу, тогда и он не станет вздорить со мной.

И вот я наконец вышел из чащи на берег. Ярко светит луна, за моей спиной журчит речка. Привязываю лубяной мешочек на лоб, забираю свою рыбу и переправляюсь вплавь на другую сторону.

Десять минут спустя, вооруженный штуцером и импровизированным факелом, я снова вхожу в заросли сурубио. Но ягуара уже нет. Он захватил добычу и ушел, наверное сразу после моего отступления. Ушел в такое место, где можно поесть без помех. Если бы не кровь, шерстинки и клочья шкуры на земле, я мог бы усомниться, был ли он здесь вообще, не пригрезилось ли мне, может, луна и лес подшутили надо мной...

Моя набедренная повязка, которую я выпустил из рук, когда взялся за мачете, лежит в четырех шагах от того места, где ягуар убил оленя. Ждать и искать здесь больше нечего. С корзиной за плечами и штуцером в руке иду вдоль сухого русла, потом по берегу Данда-до до ручья. Этот ручей протекает вблизи нашей хижины, и я вхожу в воду. Шагаю вброд, по большей части вода мне до лодыжки, но есть места и по колено, и по пояс. Луна успела подняться довольно высоко, через просвет в лесном пологe над ручьем ее лучи озаряют мне путь.

Вместе с ручьем огибаю большие деревья хобо и вдруг вижу перед собой ее.

Па-ку-не.

В лунном свете — белая Па-ку-не, восхитительная, как сама лесная ночь. Она ждет меня. Решила, что я очень задерживаюсь, взяла мачете и ружье и вышла мне навстречу. Взявшись за руки, мы идем по ручью до тропы, ведущей к нашей свайной хижине на бугре. Купаемся в серебрящейся лунными бликами заводи. Потом поднимаемся в хижину и переворачиваем приступку.

Собаки могут спать на воле.

Вечереет. Солнечные лучи пронизывают наискось лесной полог возле реки. Они уже не дотягиваются до

земли. Над широким потоком еще царит день, а здесь, в лесу, медленно сгущается зеленоватый сумрак. Через полчаса вылетят из своих убежищ плотоядные летучие мыши; их маленькие насекомоядные родичи уже охотятся. Через час начнет звучать звездная песнь больших белошеих стрижей.

Десять километров пути к дому пройдено. Рано утром я отправился в деревню за покупками и, не задерживаясь, вышел в обратный путь. Скоро мне пересекать первую речку. Утром прошел дождик, и уровень реки поднялся, но ненамного, теперь вода уже спадает и очищается от мути.

В заплечной корзине лежат в прорезиненном мешке кульки с солью, сахаром, кофе, мукой, бутылка свиного сала, сигареты и спички. Кроме этого мешка, двустволки и мачете, мою ношу составляют две пенелопы и ошейниковый пекари.

Первыми я подстрелил птиц, это было в каких-нибудь двух-трех километрах от деревни. Еще через пять километров дорогу мне пересекло маленькое стадо пекари. Одним выстрелом я уложил молодую жирную свинку. Меня еще подмывало подстрелить кабанчика — у жоака были роскошные клыки, — но груз оказался бы для меня непосильным, поэтому кабанчик остался жив.

Когда я выходил утром, дома не было ни мяса, ни соли, так что теперь я стараюсь идти побыстрее. Охота отняла много времени, ночь наступит задолго до того, как я доберусь до хижины, а мне нечем освещать себе дорогу. Последняя лампочка в фонаре перегорела на прошлой неделе, а у деревенского лавочника лампочек не оказалось. К тому же ночь будет безлунная.

Солнце касается древесных макушек, когда я выхожу к первому броду. Река здесь широкая, но выше переката тянется длинный намыв. Я пересекаю реку по нему, снова углубляюсь в лес и вскоре выхожу к второму броду.

Здесь, пожалуй, поглубже. Я давно, как только отошел немного от деревни, сменил рубашку и штаны на набедренную повязку. Ненавижу, когда мокрые брючины хлопают по ногам и мешают идти. Тут мне, наверно, будет по пояс...

На самом деле оказалось еще глубже. Вода в реке опять прибывает, и в ней взвешена муть. Должно быть, в горах снова выпал дождь. Река и небо становятся все темнее. Вдруг от глубоких заводей снизу мимо меня проносится косяк бокачко. Рыбы идут у самой поверхности, от испуга то и дело совершая длинные прыжки по воздуху. Не иначе, за ними гонится рубиа. Или багре — большой тигрово-полосатый сом. А может быть?..

Несколько шагов отделяют меня от скрытого под водой широкого камня. Я ушиб ногу о него на днях, когда охотился за рыбой с луком и стрелами. Тороплюсь подойти к этому камню, взбираюсь на него, поправляю корзину на спине и держу ружье на изготовку. По-прежнему мимо меня мчатся испуганные бокачко. Вдруг у самого камня над водой появляется длинная бугристая спина. Потом остроносая треугольная голова. И раскрывается огромная белесая пасть, усаженная острейшими клыками.

Меньше двух метров отделяют дуло ружья от головы большого крокодила, когда из правого ствола вырывается заряд крупной дробы. На таком маленьком расстоянии дробь подобна одной тяжелой пуле. Голова уходит под воду, могучий хвост сбивает пену, брызги обдают меня с ног до макушки. Раз два ощущаю даже воздушную волну от этих страшных взмахов. Будь я на локоть поближе, и меня сбросило бы с камня в речку.

Волчья картечь из левого ствола поражает позвоночник корчащейся туши на ладонь повыше крестца. Секунду длинное тело еще бьется в судороге. Затем выпрямляется, коченеет и идет на дно желтым брюхом вверх. Живо перезарядить ружье! Потом я спрыгиваю с

камня, торопливо иду к берегу, выскакиваю из воды и снова углубляюсь в лес.

Два следующих брода преодолеваю без приключений. Оба потока широкие, и течение довольно сильное, но глубина небольшая, чуть выше колена. До чего не хочется входить в темную воду теперь, когда мое отвращение к крокодилам возродилось с новой силой, да выбора нет. От брода до брода я почти бегу.

Незадолго перед тем, как мне выйти к пятому, самому трудному броду, который мы прозвали Чертовым, как-то вдруг сгущается тьма. В древесных кронах на пригорках завывает ветер. Когда я наконец выхожу из леса на берег реки, то даже на фоне неба с трудом различаю собственную руку. Здесь меня настигает дождь. Он длится всего каких-нибудь десять минут, но чувство такое, словно я иду сквозь стену воды.

Шагаю через перекат. До противоположного берега несколько десятков метров, но вода успевает прибыть не меньше чем на ладонь, пока я добираюсь до него. Темень такая, что еле видно белые пятна пены, да и то лишь на ближайших камнях. Только по напору течения могу я судить, что иду в нужную сторону, ведь ни каменистого пляжа, ни леса за моей спиной уже не видно. А стремнина напирает так, что я с трудом удерживаюсь на ногах. Вот и берег наконец. Я вынужден переждать дождь, потом свечу зажигалкой и отыскиваю то место, где тропа от переката входит в чашу.

На опушке срезаю себе длинную палку, чтобы прощупывать путь. Сразу чувствуешь разницу, где натопанная дорожка, а где мягкая лесная почва. Двигаюсь страшно медленно, чуть не ошупью. На каждом шагу шарю палкой по земле, и все равно раз-другой напарываюсь на колючие пальмочки. Бреду, выставив перед лицом согнутый локоть, и всей душой надеюсь: хоть бы ядовитые змеи и бродячие муравьи не вздумали сегодня ночью воспользоваться этой тропой.

Что-то тяжелое с шумом ломится сквозь подлесок. Трещат ветки, шуршат под ногами сухие листья. Что за зверь? Поди угадай, это может быть кто угодно — от дикой свиньи до медведя. Если бы знали ночные бродяги, как смешон и жалок их злейший враг ночью, во мраке, без поддержки своего друга и защитника — огня! Да, если бы они это знали и воспользовались этим, наверное, человек был бы истреблен или, во всяком случае, стал бы такой же редкостью, как горилла или антилопа бонго. Но они не знают этого, к тому же у них не принято убивать ради удовольствия. Только человек, особенно полуцивилизованный, разрушает, движимый страстью к разрушению.

Где-то здесь неподалеку живет колдунья, старая знахарка, с которой дружна моя жена. Может, у нее найдется для меня огарок свечи, или факел, или хотя бы несколько лучин, чтобы мне было чем освещать себе путь. После дождя с листьев непрерывно капает, а в моей зажигалке бензин на исходе.

Лезу в мешок и отыскиваю большой сухой лист би-хао, в который завернут сахар. Скручиваю из листа факелок и продолжаю двигаться ощупью до тех пор, пока палка и ступни не сообщают мне, что тропа как будто разветвляется. Тут я зажигаю свой факел. Света от него немного, но ориентироваться можно. Так и есть — развилка. Сворачиваю влево, и примерно через сто шагов, когда лист уже догорает, вижу огонек в хижине колдуны. Делаю еще несколько шагов и кричу слова приветствия. Молчание.

Кричу опять. Огонь в очаге разгорается ярче, я различаю силуэт — старушка зажигает самодельный факел и подходит к приступке, держа в руке широкий мачете. Оробела, бедняжка. Хоть ты и колдунья, а не так-то просто разобрать, кто это кричит человеческим голосом в ночном лесу — на самом деле человек или антомиа, недобрый лесной дух. Подхожу ближе и снова здороваюсь.

Старушка узнает меня, и страхи ее проходят. Я объясняю, зачем пришел, она отвечает с беззубой улыбкой:

— Хороший мужчина! Идет ночью, не боится, не хочет, чтобы женщина с солнечными волосами оставалась одна. Я дам факел. Хнг-са биа-буа!

Это одобрительное выражение, едва ли не самая высокая похвала на языке энгвера.

Я получаю от нее факел, сделанный из сухого луба и кантурона — твердой черной смолы из гнезда диких пчел. Когда он горит, от него распространяется своеобразный приятный запах и много белого дыма. Но главное — он светит достаточно ярко, чтобы можно было различить тропу.

Следующие два километра я отмеряю довольно быстро. Приближаюсь к каменистой прогалине, где встречаются две реки. И вдруг замечаю на кронах деревьев отсвет, как будто на берегу горит костер. Костер тут, в глуши, — что это значит? Гашу факел и осторожно крадусь вперед. Не выходя из прибрежных кустов, останавливаюсь, чтобы проверить, что за народ здесь очутился среди ночи. А, индейцы. Тогда все в порядке. Но как их много! Что их сюда привело?

— Хаи-та зе-буруа? — спрашивает низкий голос от костра. Этот голос я узнал бы среди тысячи. Это Хаи-намби, мой брат по тотему. Он спрашивает, кто идет.

— До-хиви-те зе-буруа, — звучит ответ из зарослей в десяти — двенадцати шагах от меня. (Это До-хиви.)

Из тени выходит Са-ндьяма, у него в руке длинная духовая трубка, а на груди висит колчан с черными палочками, смазанными смертоносным растительным ядом не-ара.

Поделом тебе, неуклюжий бледнолицый, не пытайся незаметно подкрасться к лесным индейцам в их собственном лесу!

Через две минуты я уже сижу на камне у костра, ем печеную рыбу и пью кофе. Меня окружают мои лучшие

друзья: Хаи-намби, Доби-гари, Эй-ке-ауври-зама, Ду-ла, Я-диби, Не-эн-саби. Они рассказывают, что пришли сюда из-за горы порыбачить. Багре не поднимаются в речку за горой, а здесь они есть, и как раз сейчас идут большие косяки жирных кисаба и чумурру. На подставках для копчения уже лежит изрядное количество рыбы.

Мои друзья знали, что я скоро приду, и приготовили кофе. Откуда они могли это знать? Хаи-намби добродушно улыбается:

— Перед закатом Не-эн-саби ходил вниз по реке, проверял, много ли рыбы идет вверх через перекаты. Он слышал ружье моего брата, два выстрела. А мы еще раньше видели следы моего брата, следы утренние, вот и получалось, что теперь мой старший брат возвращается домой.

Эти благородные и деликатные люди не смеются над моей несообразительностью, а уговаривают меня хорошенько поесть и подливают кофе, потом спрашивают, останусь ли я с ними рыбачить или мне надо домой. Я говорю, что устал за сегодняшний день, тогда Сандьяма взваливает себе на спину мою ношу, остальные берут по головешке, мы пересекаем вброд Данда-до и идем напрямик через лес. Смуглые лесные люди провожают меня почти до самого дома, только на нашей расчистке они прощаются и покидают меня. Я стою и молча провожаю взглядом цепочку факелов — словно огромные светлячки качаются вверх-вниз между высокими метелками кукурузы, потом пропадают в лесу. И этих людей называют дикарями, шлют к ним миссионеров, чтобы «цивилизовать» их!

Я скидываю ношу на спину и иду к дому. У поваленного дерева, которое служит мостиком через ручей, издаю условный клич и вижу, как в высокой свайной хижине загорается лагерный фонарь — будто огненный цветок распускается.

Потом до меня доносится ответный возглас. Кажет-

ся, еще никогда в жизни я не ощущал так остро, что значит вернуться домой. Остались позади одиночество и ночной мрак и ливень, усталость и крокодильи челюсти. И возможно, Па-ку-не. Что мне Па-ку-не теперь? Единственная Па-ку-не, которая что-то значит для меня, которая может меня завлечь сегодня, ждет там, в хижине.

Поляну вокруг пышного дерева гуаяба заливают свет. Не яркий, резкий дневной свет, а мягкое, но вместе с тем насыщенное сияние, которое превращает поляну с обрамляющим ее кустарником и лесом в сказочный дворец из нефрита и серебра. То четко выделяется каждая травинка, то все сливается с глухой, угрюмой тенью на опушке.

Мой гамак подвешен на краю поляны, я сижу с ружьем на коленях в пяти саженях над землей, чтобы никакой запах не выдал меня тем, кто бродит внизу, под деревьями. Я рассчитываю на то, что падалица под гуаябой приманит какого-нибудь зверя. Животные каждую ночь ходят сюда, об этом мне рассказали аккуратные, сердечком, следы оленей, глубокие отпечатки пяток паки, трехпалые следы покрупнее — от ног капибары, помельче — от задних лап агути. Кто же из них выйдет на лунную поляну?

Самая желанная добыча — пака, но этот вариант исключен. Жирный веронгора, как его называют мои друзья индейцы, не любит никакого света. Днем он отсиживается в своей глубокой норе, которую подчас разделяет с бушмейстером, выходя из нее лишь после того, как гаснет последний закатный луч. Но пака и лунному свету не доверяет. И если это животное в такую ночь, как эта, покидает нору, то держится оно в густой тени под высокими деревьями. Бродит между корнями такая морская свинка неслыханной величины, от шести до десяти килограммов нежнейшего мяса.

Мог бы появиться агути, но ведь они чаще всего кормятся поздно вечером и рано утром. То же можно сказать об оленях. Сегодня у меня главная надежда на капибару, вот почему один ствол заряжен самодельной пулей, а другой картечью. Капибара, это удивительное создание, с виду нечто среднее между обычной свиньей и гигантской морской свинкой, — крупнейший грызун в мире; ее вес превышает пятьдесят килограммов. И мясо недурное, особенно у молодых животных.



Проходят часы, но никто не показывается. Во всяком случае, ничего такого, что мне хотелось бы подстрелить и унести домой. Вот семенит через поляну опоссум, он похож на огромную крысу, только голый хвост задран кверху и образует двойную завитушку. Маленькая сова садится на ветку поблизости от меня, дважды кричит, отвешивает глубокий поклон, потом расправляет мягкие крылья и пропадает во тьме. С осыпей

вверху между холмами доносится дикий раскатистый крик пумы. Так и представляешь себе разъяренную амазонку, обуреваемую жадой мести. И все оплетает, все пронизывает металлическими нитями трепетная музыка цикад, кузнечиков и сверчков. Луна огромна до неправдоподобия.

Вдруг в лесу отдается новый звук. Я не могу его определить. В сельве, наверно, тысячи звуков, которых я не знаю, но этот особенный, вроде бы чужеродный и в то же время — не знаю уж, как это объяснить, — он вполне к месту.

Опять...

Это не лесной голос, это какой-то струнный инструмент звучит. Но кто же может играть среди ночи здесь, в дремучем лесу?

Маленький олень вскачь пересекает поляну и пропадает среди теней раньше, чем я успеваю вскинуть ружье. Это сейчас не важно. Я должен определить источник чарующей музыки.

Еще десять или двенадцать вдохов седая лунная поляна вокруг гуаябы остается пустой. Но что это там на опушке, какая-то тень зашевелилась среди прочих теней. Секунда — и она превратилась в человека, он отделяется от леса и идет в мою сторону. Да ведь я его знаю. Это Ки-амана, земледелец с задумчивым, безмятежным лицом. Он что-то держит в руках — уж не скрипку ли, что сделал по образцу настоящей, которую видел в деревне?

Нет, это другой, новый инструмент, плод его собственных грез. Струны, возможно, скрипичные, но форма совсем иная. Не разберу как следует: похоже на ветвистый рог оленя, только он много крупнее, чем обычно бывают рога у оленей саванны. Какой-нибудь прототип арфы? Видоизменение примитивного музыкального лука?

Ки-амана остановился. Озаренное луной лицо обращено ко мне, но он меня не видит. Губы его приоткрыты, ноздри расширены. Глаза его видят лесных демонов, видят дива дивные, драконоподобных богов с перьями кет-

цаля и ары, но это сейчас несущественно. Он захвачен не тем, что видит, а тем, что слышит. Захвачен каденцией звуков, мелодией. Никак не может ее уловить во всей полноте. И тогда он совершенно замыкается от внешнего мира, всем слухом уходит в мир внутренний.

Он поднимает вверх свой инструмент и касается струн. Я лишен музыкального слуха, но мне представляется толика того, что он услышал.

Па-ку-не. И я припоминаю... Сидя в хижине знахаря, охотники вполголоса говорили о «той, которая живет в деревьях». И Ки-амана тогда прошептал про себя:

— Она поедает глаза и сердце человека.

Теперь его постигла эта участь.

Вдруг лицо Ки-амана преображается. Теперь это лицо фавна, но фавна не из Аркадии и не с Палатина, а из Чичен-Ицы и Майяпана¹.

Вот он опять пошел. Идет, не чувствуя под ногами земли. Сейчас Ки-амана охвачен творческим озарением. И когда вокруг него смыкается чаша, чудится мне, что она его ласкает.

Проводив его взглядом, отвязываю гамак, оставляю свою засаду и иду домой. «Та, которая живет в деревьях» нашла себе любовника на эту ночь. Надо уходить. Если замешкаюсь, она, чего доброго, и мои глаза съест вместе с сердцем.

А может быть, уже съела?

ИНТЕРМЕДИЯ

Стремнина несет через пороги красный плод, он кружит в водовороте и попадает в глубокую заводь между черными камнями. У самой поверхности возникает зо-

¹Чичен — Ица и Майяпан — памятники древней культуры майя. —

Прим. пер.

лотистый блик, это широкая рыба разворачивается и ловит яркую приманку. Плод исчезает.

Две пары глаз наблюдали движения рыбы. Сын Коршуна глядит на своего белого друга и указывает губами, как это принято у его народа.

— Ампарра дрома (Большая дорада).

Старик кивает.

— Мой сын, — тихо говорит он, — найди мне несколько зеленых кузнечиков, у которых широкие крылья. Тинкомиа.

Молодой индеец идет в заросли. Через десять минут он возвращается с кульком из листа бихао.

— Тинкомиа, — говорит он улыбаясь, берет топор и уходит вверх по течению, туда, где над речкой наклонились стволы сүрибио.

Старик готовит свою снасть — крепкое метровое удилище с катушкой и прочной нейлоновой леской, короткий металлический поводок, солидный крючок. Осторожно привязывает к крючку шелковой ниткой кузнечика, подкрадывается за широкими листьями к самому перекату и кистевым движением забрасывает приманку.

Кузнечик отчаянно бьется на быстрине, его несет в заводь у черных камней. Что-то блеснуло под водой. На приманку идет рыба, крупная дорада, не меньше килограмма. Она заходит сбоку и клюет. Рыболов тотчас подсекает. Удочка изгибается дугой, будто рапира, когда рыба, почувствовав крючок, бросается прочь: сперва вглубь, к укрытию между камнями, потом через быстрину к маленькому заливчику на другой стороне, где водоворот крутит обломанные сучья. Если дорада доберется туда, она будет спасена. И рыболов держит ее, держит так, что удочка становится похожей на лук. Рыба поворачивает обратно, всплывает, заходит на цель. Снова и снова смыкаются ее челюсти, но даже зазубренные, как пила, зубы дорады бессильны против стального поводка.

Она дергает, она тянет, наконец выбивается из сил, и старый рыболов осторожно подводит ее к заранее намеченному месту, где по песку и гравию можно вытащить добычу на берег. Удар по голове тупой стороной мачете — и можно подвешивать рыбу на лиане.

В это время в зарослях сурибио начинает стучать топор. Старик качает головой. Может быть, у рыб и впрямь не такой уж хороший слух, но вибрации, конечно, дойдут и испугают их. К тому же течение скоро принесет сверху свежие щепки и сучья. Лучше поискать другой уголок для рыбной ловли. Обернув рыбу в листья бихао, он перевешивает ее в тень, берет ружье и поднимается мимо переката к следующему плесу.

Здесь в реку впадает ручей. Он кишит мелкими рыбешками, самая крупная не больше указательного пальца. С полдюжины видов представлено тут, и у каждого свои повадки, каждый занимает свою крохотную нишу в микрокосме лесного ручья. Старик молча глядит на них, мысленно сортирует, перебирая латинские названия; две-три из этих рыбешек описаны и названы им самим. Но сейчас он их классифицирует безотчетно, больше по долголетней привычке к занятию, с которым пришла пора расстаться. В эту минуту для него гораздо важнее то, что эти *Rivulus elegans* как будто сделаны из золота и эмали, а *Gephyrocharax marthae* (они короче спички) кажутся олицетворением понятия «металлический блеск». А вон та, вся в синих пятнах — *Aequidens pulcher*... Но полно, он должен найти что-нибудь покрупнее для тружеников, которые мастерят для него плот. Старик перешагивает через ручей и идет дальше.

На следующем перекате он берет двухкилограммовую рубиа, на плесе — три дорады, а в глубокой, темной заводи под корнями упавшей сейбы — увесистую, черную мохарра, рекорд дня. Конец кузнечикам, а значит, и клеву. Сегодня рыба никакой другой наживки не признает.

Ничего. Добытого хватит с лихвой для четверых, пусть даже трое из них — молодые индейцы с завидным аппетитом.

Старик уже возвращается вниз, когда его обгоняет плот, совсем небольшой, из тонких бальсовых бревнышек. На носу, работая длинным шестом, стоит индеец, на корме опустилась на колено молодая женщина с грубо оструганным веслом. Между ними лежит на настиле из жердей какая-то фигура, завернутая в плащ. Две заплечных корзины подвешены на стойках из сучьев сурибио, чтобы водой не замочило.

Мужчина и женщина одеты только в короткие набедренные повязки. Они заметили старика в кустах на берегу, но не показывают вида, только сильнее разгоняют плот, и вот быстрина у переката подхватывает его и увлекает за собой. Когда старик приходит в лагерь, чужой плот уже причален возле лодки. Завернутая в плащ фигура лежит на берегу под тенистым деревом, женщина занята стряпней у костра, мужчина сидит и негромко переговаривается с тремя молодыми индейцами, которые вернулись из леса.

Белый идет за своей первой дорадой и складывает весь улов на берегу, в двух-трех шагах от воды. Потом моет руки и подходит к индейцам. Уголком глаза он видит, как женщина встала, нашла в своей корзине короткий нож и принялась чистить рыбу. Короткое приветствие, старик присоединяется к кружку мужчин. Несколько минут все сидят молча. Потом сын Оцелота говорит:

— Мой отец, люди с Зеленой реки привезли больного. У них больше нет своего знахаря, после того как дед вот этого человека умер в прошлом году.

Знахарь с Зеленой реки, Яри Домико — старый друг, брат по тотему удава... Один из многих, которые уже ушли из жизни. Выходит, этот молодой человек с умным, спокойным лицом — внук Яри.

— Куда вы направляетесь? — спрашивает старик.

Индеец с Зеленой реки мнется. Проходит несколько минут, наконец за него отвечает сын Выдры.

— Они слышали, что мой отец сейчас здесь, на этой реке, — говорит он. — И подумали, что, может быть, мой отец согласится лечить больного. Но они стесняются просить моего отца о помощи, потому что у них нет достойного дара для хаи-бана биа.

— Не нужно никаких даров, чтобы я помог внукам моего брата, если только это в моих силах, — говорит старик. — А что с больным?

— Его порубили мачете, — отвечает внук Яри. — Чужие люди, капуния, бледнолицые, пришли туда, где он посадил какао, и стали наполнять свои корзины его плодами. А когда брат моей жены попытался отстоять свое добро, они пустили в ход мачете. Если бы мы с моим братом тут не подоспели, они бы его убили.

— Вы сообщили об этом случае в деревню? — спрашивает старик.

— Сообщили. Алькальд хотел наложить на нас штраф за драку. А священник сказал, чтобы мы принесли свинью пожирнее, тогда он прочтет молитвы и зажжет восковую свечу. Но у нас нет жирной свиньи.

Старик опускается на колени около раненого. Мышцы на груди рассечены клинком, рана длинная, но не глубокая, ребра не задеты. Есть воспаление. На предплечье ножевая рана поглубже. Температура высокая, похоже на начинающееся заражение крови.

— Вскипятите два котелка воды! Подайте мне мешок с красной завязкой! Има-нгаи, тебе придется помогать мне. Вымой руки сперва водой с мылом, потом вот этим спиртом! А остальные пусть смастерят навес и широкие нары!

Не успел он договорить, как три мачете уже рубят кусты. Индейцы умеют работать быстро, когда знают, что это нужно. Три часа спустя больной лежит под навесом

на чистом покрывале. Раны очищены, продезинфицированы и перевязаны. Он получил пенициллин и стрептомицин, температура упала на несколько десятых. К счастью, на людях лесного племени, как правило, все быстро заживает.

Индейцы с Зеленой речки остаются в лагере. Мужчина помогает заготавливать материал для большого плота: жерди сурибио, чтобы скрепить основу, лианы анкла и луб махагуа для вязки, сапановые палки для настила под багаж, прутья мангалеты и листья бихао для навеса. Женщина стряпает и с разрешения «знахаря» присматривает за раненым.

Наступает вечер. Старый охотник сидит на своем гамаке и курит трубку. Рабочий день индейцев закончен, они сейчас купаются в реке пониже лагеря. Вот один из них возвращается, это внук Яри. Он говорит что-то жене, которая раздувает костер, стоя на коленях. Она встает и роется в одной из их корзин, висящих на ветке поблизости от плота. Вот достала сверток из прокопченных листьев и передает его супругу. Молодой индеец медленно подходит к белому охотнику, останавливается в двух шагах от него.

— Хаи-бана, — говорит он уважительно.

— Говори, сын мой, я тебя слушаю.

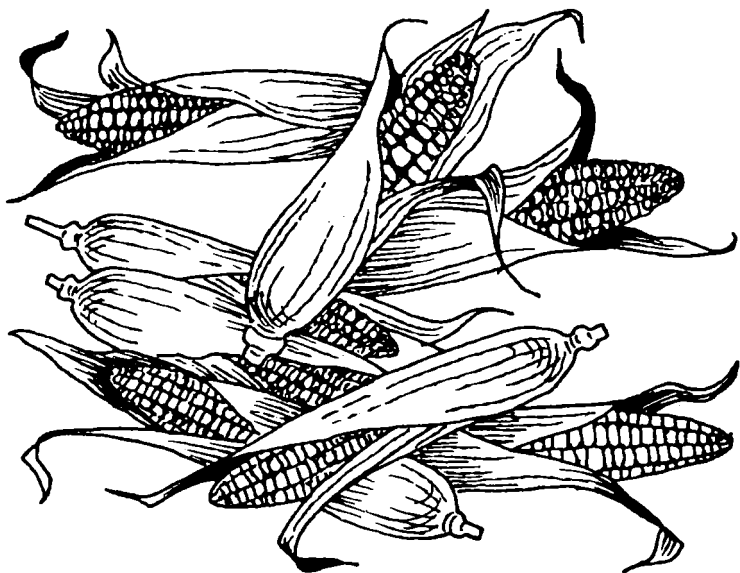
Индеец распутывает лубяные завязки и протягивает сверток старику. Охотник берет его в руки.

Восемь початков кукурузы. Два золотисто-желтых, два темно-красных, два густо-фиолетовых, два иссиня-черных. Четыре рода ритуальной кукурузы, которые знахарю положено выращивать около своей хижины. Плодородие, успех на охоте, врачевание и ключ к стране духов.

— С участка моего деда, — объясняет молодой человек.

Старик молча кивает.

Восемь — символ могущества, волшебное число, в нем соединяются и бесконечность, и бренность. Кукуруза священна. Дар мертвого знахаря живому.



СЕВ

Узкая долина между высокими кряжами, обросшими дремучим лесом, погружена в густую тень. Деревья и лианы роняют капли рассветной росы. Посреди горного склона напротив, над светлой зеленью молодого леса, стелется длинная белая прядь тумана. Несколько дождевых сезонов назад здесь прошел обвал и смел старые высокие деревья. Но рана уже зарубцовывается, сельва смыкается.

Высоко в светлеющих небесах плывут над долиной, над грядами светлые утренние облачка. Вдруг между двумя из них что-то вспыхивает, как будто искорка зажглась в тропической синеве. Это старый королевский гриф кружит там наверху, кружит так высоко, что с земли его только тогда и увидишь, когда луч восходящего солнца осветит белое брюшко и грудь и широкие под-

крылья. В его царстве уже полный день, и он видит на десятки километров вокруг, что происходит внизу, в переплетении голубых горных цепей между истоками трех рек.

Здесь, в предгорьях Западных Анд, рождаются Сину, Сан-Хорхе и Тараса. Вначале быстрые, прозрачные, с зеленым стеклом глубоких заводей между вереницами белопенных порогов. Веселые, буйные молодые реки — они еще успеют стать бурыми, широкими, степенными в своем долгом извилистом странствии через саванны Северной Колумбии к Карибскому морю. Только Сину сама доходит до моря; Сан-Хорхе вливается в Магдалену, а Тараса — в Кауку, тоже приток Магдалены. Но так далеко даже гриф не видит.

Зато ему, несомненно, виден широкий полукруг смуглых мужчин и женщин, тихо сидящих на просторной расчистке под крутой горой. Все лица обращены к большой свайной хижине. Все молчат, все напряженно ждут. Это не то спокойное, терпеливое ожидание, которое я про себя называю «каменное терпение». Одно дело ждать, когда сварится мясо, или рыба схватит наживку, или олень подойдет на выстрел. Сейчас совсем другое дело, другое ожидание, настолько напряженное, что им насыщен самый воздух, что его слышно сквозь тишину, которую оттеняет звонкий хор кузнечиков и цикад. Честное слово, мои уши воспринимают его не менее явственно, чем глаза — гордый орлиный профиль сидящего рядом со мной Я-диби.

Многие из собравшихся здесь энгвера пришли изда- лека, совершив до трех дневных переходов. Десятки километров пройдено по узким, извилистым лесным тропам, форсированы реки и горные гряды. И это лишь завершающее звено в цепи приготовлений. Прежде чем выйти в путь, они восемь дней (восемь — священное, могущественное число) постились и про- ходили очищение.

Купались в быстрых прозрачных горных ручьях, окутывали себя водой, в которой на медленном огне кипятились особые растения, ночами сидели в дыму священных курений. Воздерживались от табака, мяса, рыбы, кукурузного пива, пряностей и соли; все дни поста ели только жареную молотую кукурузу пукура, да и то ровно столько, сколько нужно для поддержания сил. Не убивали даже комара, не касались ничего мертвого или кровавого, не произносили грубых и бранных слов, не помышляли ни о чем дурном или злом. И все это ради мгновения, которое скоро, вот-вот наступит.

Миг — и горный лес над расчисткой уже купается в ярком утреннем свете: солнце дошло туда. Раздается пронзительный крик ястреба гуако, тараторят амазонские попугаи, перепархивая попарно с дерева на дерево, высоко над расчисткой летят к горе два красочных ара. Вдалеке раскатывается трубный голос пенелопы. И сквозь все эти резкие, дикие звуки пробивается нежный, мелодичный голосок маленького серого тропического крапивника, как будто ручей журчит между шершавыми, грубыми камнями.

А первые лучи солнца уже коснулись конусовидной крыши... сбегают вниз по скату... заглянули под стреху... В ту самую минуту, когда они достигают верхней ступени приступки, на ней появляется женщина. Она одета в короткую набедренную повязку из белой лубяной материи. На спине — корзина, висящая на лубяной ленте, обвязанной вокруг лба; из-под ленты с двух сторон на тонкое смуглое лицо блестящими иссиня-черными волнами спадают волосы. С мягкой шеи в ложбинку между крепкими полными грудями опускаются ожерелья из семян, черные с темно-красным и жемчужно-серые. Другие ожерелья набраны из квадратиков благоухающей бальзамной коры, квадратики коричневые, чуть темнее кожи, на которой лежат.

Женщина медленно поднимает руки, как бы привет-

ствуя восходящее Солнце. На секунду замирает в таком положении — живая статуя, воплощение молодого тропического плодородия.

Теперь руки опускаются вниз, за спину, и маленькие пальцы достают из корзины два больших кукурузных початка безупречной формы, один золотисто-желтый, другой — темно-фиолетовый. Женщина держит оба початка на вытянутых руках, словно показывает их Солнцу. Потом прижимает их к груди.

Мягко, плавно ступая, она спускается по приступке и останавливается на нижней ступеньке. Смуглые лица с кружевным черно-красным праздничным гримом поворачиваются в другую сторону. Из леса на расчистку быстрым широким шагом выходит мужчина. На нем новая андеа из лубяной материи, расписанная символическим красно-черным узором. В одной руке он держит длинное черное копье из пальмы макана. Острие копья влажное, матово-красное. За спиной у него на обрывке лианы висит только что убитый ошейниковый пекари, старый хряк с короткими острыми клыками. Разоритель огородов, враг кукурузы.

Смуглое тело мужчины лоснится здоровьем и силой, волосы мокрые после утреннего купания в реке. Мужчина, охотник, такой же неотделимый от леса, как темно-зеленая листва и пламенно-красные цветки бихао позади него. Он идет к ожидающей женщине, и в его движениях есть что-то от пумы и от орла. Он замедляет шаг, как будто колеблется. Острие копья опускается почти до земли. Мужчина наклоняет голову. Еще два шага, он останавливается и бросает свою добычу к ногам Кукурузной женщины. Кладет копье рядом с охотничьим трофеем и ждет, не поднимая головы.

Статуя оживает. Медленно ступая, женщина обходит застывший в немом ожидании полукруг. Каждой девушке она вручает желтый початок, каждой замужней женщине — желтый и фиолетовый. С опустевшей корзиной,

никого не обделив, она возвращается к приступке, вешает корзину на рогатину и поворачивается к охотнику. Секунду он неподвижно глядит на нее. Потом быстро подходит, поднимает женщину на сильных смуглых руках и уносит в хижину.

Над затаившим дыхание полукругом скользят тени утренних облачков. Кузнечики и цикады смолкли. Лишь крапивник продолжает петь, его тонкий чистый голосок серебряной нитью пронизывает время и пространство.

Знахарь, поседелый патриарх с обветренным лицом, встает и проходит в центр полукруга. Поднимает с земли копье охотника и бросает его в хижину. Шестьдесят пар темных глаз провожают копье и смотрят как замороженные на глубокую тень под крышей. Проходит две-три минуты. Или две-три вечности. Вдруг копье летит обратно из-под стрехи. Оно вонзается в землю между индейцами, подрагивая, и замирает.

Толпа что-то бормочет, громче, громче, и вот уже звучит ликующий хор. Как будто по расчистке прокатился океанский вал. Басистые голоса мужчин слагают подошву волны, звонкие голоса женщин — бурлящая пена на гребне. Копье объято пламенем, оно горит, как факел. Мужчины разом встают, рассыпаются по расчистке и собирают сухие палки, ветки, старые головешки — все, что может гореть. Топливо складывают в центре полукруга и от горящего копья разжигают костер.

Торжественная часть позади. Теперь кругом сплошные улыбки — и на морщинистом лице знахаря, и на девически гладких, белозубых лицах молодых охотников. Смеясь и перекидываясь шутками, женщины волокут убитого пекари к костру. Тушу опаливают, потрошат и разделявают. Отбросы сжигают. С другой стороны костра поджаривают мясо и кукурузные початки, которые раздала женщина. Но прежде отбирают лучшие, самые крупные зерна посередине початка, чтобы добавить их в посевной материал, который ляжет в

землю на огородах, когда все разойдутся по домам. Каждому кукурузному полю в краю прозрачных рек достанется толика благословения от Солнца и богини плодородия.

Всем положено отведать мяса. Женщины, кроме того, едят жареную кукурузу, при этом некоторые из замужних тайком дают несколько зерен своим мужьям. Подарок, выражающий любовь не хуже любого другого подарка.

Кукурузная женщина и охотник остаются в свайной хижине и больше не показываются, ведь венчание Солнца с богиней кукурузы Хаи-бе — это и их брачное торжество.

Солнце поднимается все выше и выше. Праздничный костер догорает, остается груда углей, на которых превращаются в золу и пепел последние косточки от пекари. Мужчины и женщины делятся на маленькие группы и отправляются в долгий путь домой, на свои расчистки. Они уходят радостные, в предвкушении важного дела. По берегам ручьев и рек лежат в ожидании новые расчистки. Топор и мачете повергли могучие деревья, огонь убрал бревна и сухой хворост. И теперь чистая щедрая земля ждет семян.

Высшие силы посулили дождь, и солнце, и добрый урожай. Земля даст людям кукурузу — источник жизни, даст священные золотистые зерна.

Годы будут идти, и другие смуглые женщины и мужчины будут расчищать поля в дремучем лесу, сажать кукурузу, собирать ее и поклоняться ей. Так сказали боги.

Копье охотника было объято пламенем.

Хаи-вер-ки-са бил острой рыбу на мелком перека-те выше брода, когда мы по крутой тропе вышли к тому месту, где смешиваются воды Данда-до и Туси-до. За ним на обрывке лианы волочилась целая связка темных

жирных рыб чумурру, но все равно лицо его не выражало радости. Хаи-вер-ки-са не приходил на Праздник кукурузы, Праздник срубленного дерева. Много земледельцев живет на лесных речушках, которые, соединившись в Уре, вливаются в Сан-Хорхе, но из всех только он один оставался дома. Ему не было доступа на древний праздник плодородия.

Лет пятнадцать назад, а может быть немного больше, одна старая индианка пришла вместе с дочерью в деревню Уре, бедное селение, где жили преимущественно потомки беглых рабов: негры, колонисты, золотоискатели. Здесь же находилась испанская миссия со священником и монашенками. Не знаю уж, откуда именно она явилась, не могу также сказать, почему искала общества чужестранцев, а не людей своего рода и племени, гостеприимных и щедрых энгвера. Как бы то ни было, мать осталась служить у монашенок, не прося никакого жалованья, только бы они воспитали ее дочь.

Девочку окрестили Инес. Она помогала матери стирать, носить дрова и воду, мыть посуду, убирать и делать всякую прочую тяжелую и неприятную работу, а ее за это обучали наукам. Она научилась бездумно тараторить молитвы, в которых не понимала ни слова, научилась лгать, лицемерить, красть по мелочам, узнала букву «о». Дальше этого ее образование не пошло. Монашенки говорили, что она «муи брута» — очень тупа. На самом деле Инес была не глупее других детей — смуглых, желтых или белых, — которым выпадает расти в таких условиях. Но ею никто по-настоящему не занимался.

Старая индианка умерла через несколько лет. Было бы неверно утверждать, что ее уморил непосильный труд: женщины энгвера — сильные и выносливые труженицы. Но ведь они обычно живут в открытых, просторных хижинах на двухметровых сваях, а не валяются на

грязном старом тряпье, брошенном на земляной пол в сыром сарае. И они купаются три-четыре раза в день, поскольку им никто не говорил, что заботиться о своем теле грешно. И не просыпаются среди ночи от страшных кошмаров, в которых запуганного человека преследуют картины ада и мысли о наследственном грехе.

У них, как правило, вдоволь еды: кукуруза и маниок, лесные фрукты, маленькие желтые томаты, побеги иракка, корни икаде и многое другое. Река поставляет рыбу, крабов и черепах. Мужчины добывают дичь в лесу, иногда женщины сами охотятся с собаками на агути, паку или на еще что-нибудь в этом роде. Большинство держит кур и свиней, уток и индеек, выращивает бананы, папайю, ананасы и гуаяву.

Словом, их стол обычно здоровее и разнообразнее, чем пища черных и белых деревенских жителей. И уж во всяком случае, им чрезвычайно редко приходится довольствоваться остатками чужой трапезы. И так как они не живут скученно в грязных селениях, у них реже бывают глисты, фрамбезия, туберкулез и малярия.

Так или иначе, старая женщина умерла, и вся работа легла на плечи дочери. Ей тогда было лет пятнадцать. Приблизительно в это время Хаи-вер-ки-са стал приносить в миссию дичь и рыбу на продажу. За несколько килограммов рыбы он получал рыболовный крючок, за двух древесных индеек — алюминиевый амулет. За оленя ему могли даже дать лоскут материи или грошовое зеркальце. У испанцев исстари заведено обращаться так с индейцами. Расплачивался щедрой рукой сам священник, но дичь и рыбу принимала Инес, поэтому Хаи-вер-ки-са продолжал носить в миссию дары леса. В конце концов он дал понять благочестивым сестрам, что не прочь бы взять Инес в жены. Хижина и огород у него имеются, есть все, что положено в хозяйстве индейца, только жены не хватает. И кроме девушки из миссии ему никто не нужен.

Сначала монашенки и слышать не хотели об этом. Разве можно, чтобы христианская девушка выходила замуж за лесного дикаря-язычника? К тому же в деревне не так-то просто было найти служанку, тем более покорную и молчаливую рабыню, которая не требовала никакого жалованья. И разве плохо чуть не каждую неделю получать свежую рыбу или мясо?

Монашенки не отказали наотрез, но и согласия не дали. Но в один прекрасный день святые сестры передумали. Хаи-вер-ки-са может жениться на Инес, однако сперва он должен креститься. Так решил священник, так и вышло. Их обвенчали, потом индеец увел новобрачную в свою хижину в лесу. При крещении Хаи-вер-ки-са получил имя Хосе.

Через полгода Инес родила сына. У индейских детей часто бывает светлая кожа, и этот мальчуган был очень светлый, да еще и рыжеватый. До него в этом краю был только один рыжий: испанский патер. Мальчик благополучно рос, вскоре у него появилась сестренок, а затем, с промежутком в один-два года, три маленьких братика. Все они были смуглые и черноволосые, как и положено детям из рода Белки. Заботы всем пятерым доставалось поровну. Энгвера, как и большинство индейцев, детей очень любят, и если в жилах малыша течет немного чужой крови, так ведь ребенок в этом не виноват.

Соседи не симпатизировали Инес. У нее была страсть дурно говорить о людях, она чрезвычайно гордилась своим «воспитанием» у монашенок и была нечиста на руку. На первые два недостатка еще можно смотреть сквозь пальцы, иное дело — склонность к воровству.

Жители леса привыкли оставлять свое имущество без присмотра. У них нет ни запоров, ни дверей. Для особо ценных предметов в лесу есть тысячи укромных мест. Но к ним прибегают очень редко. Когда надо куда-то уйти, индейцы «запирают» хижину, переворачивая приступку

ступеньками вниз. Этого достаточно, во всяком случае для самих индейцев.

А уж поле никак не запрешь.

Пока кражи ограничивались несколькими кукурузными початками, гроздь бананов или двумя-тремя плодами какао, ей все сходило с рук. Соплеменники бойкотировали Инес, Хаи-вер-ки-са ничего не замечал, во всяком случае не подавал виду. Его знали как славного и доброго человека, так стоит ли браниться с ним из-за какой-то мелочи.

Но когда у соседки пропала новая красная набедренная повязка, дело приняло другой оборот. Она поговорила с мужем, и муж пошел на реку, чтобы потолковать с Хаи-вер-ки-са, когда тот будет возвращаться с рыбной ловли.

Тихо, спокойно, как это принято у индейцев, он изложил суть дела. Хаи-вер-ки-са выслушал его и ничего не сказал, а только попрощался с ним и пошел напрямик к своей хижине. Вообще-то, конечно, бывает, что лесной индеец устраивает взбучку своей жене, но это большая редкость, и Хаи-вер-ки-са никогда даже в голову не приходило наказывать жену. Однако сейчас он был глубоко возмущен. Жена «очернила его лицо» перед соседями, а это для индейца едва ли не самое страшное. Он решительно приказал ей отдать ему украденное, чтобы можно было с кем-нибудь отослать владельцам их имущество. Великий позор, что говорить, но другого выхода нет.

Хаи-вер-ки-са нагнулся и взял палку из кучи дров, сваленных подле очага. По всем правилам Инес должна была подчиниться мужу, и все было бы в порядке, его честь была бы спасена. Инес ответила отказом. И добавила, что если только он попытается ее принудить, если вообще не прекратит тотчас же этот разговор, она заберет детей и уйдет в деревню, к монашенкам. Они, священник и полиция уж как-нибудь сумеют защитить ее от

«индос». Это слово она произнесла так, как его произносят креолы, словно оскорбительную кличку.

У энгвера дети принадлежат отцу с того дня, как их отнимают от груди. Дети — его душа, его имя, его кровь, его гордость, продолжение его существа. Хаи-вер-ки-са любил своих малышей, не исключая того горемыку, который не был его родным сыном. Угроза жены заставила его стусеваться, после этого он пропал. С того дня в доме заправляла Инес, а она не собиралась возвращать украденного.

Вокруг семьи у Пурру-до образовалась пустота. Молча, без бранных слов и укоров, соседи порвали с ними всякие связи. Инес была очень довольна. Пускай уходят. Подумаешь, какие-то невежественные индос, которые не знают «Отче наш», не могут отличить букву «о».

Семья все чаще навевалась в деревню. Снова священник и монашенки стали получать в дар рыбу и дичь. Когда Хаи-вер-ки-са удавалось подстрелить выдру или оцелота, шкуру относили торговцу. Инес покупала свечи, чтобы жечь их перед святыми образами, а остальные деньги сплошь и рядом шли в карман кабатчика. Хаи-вер-ки-са открыл, что ром бледнолицых действует куда быстрее невинного кукурузного пива. С ним можно даже на время забыться.

Однажды старший мальчик заболел. Знахаря поблизости не сыскать, врача в деревне никогда не было, и Инес поспешила за помощью к патеру. Разумеется, он не мог идти в лес чуть не за десять километров ради какого-то больного ребенка, но от него этого и не требовалось. Достаточно, если он помолится. Инес осталась в деревне, чтобы молиться вместе с патером, а отец тем временем ухаживал за маленьким больным как мог. Когда Инес на третий день вернулась из деревни, Хаи-вер-ки-са стоял со склоненной головой перед свежей могилкой, и четверо испуганных, притихших черноволосых ребятшек жались к нему. Теперь Хаи-вер-ки-са надо было

строить новую хижину. Когда в доме кто-нибудь умирает, полагается немедленно переезжать, иначе к вам могут наведаться злые духи. На этот раз Инес не возражала: она тоже верила в злых духов.

Мы вышли из лесу с Не-эн-саби, неся свою добычу — двух древесных индеек. У реки нам встретился старый знахарь. В засаде возле переката он подстерегал выдру, но баберама прошла слишком далеко для его древнего ружья, и теперь он возвращался домой.

Мы сели втроем на поваленное дерево, чтобы покушать и немного отдохнуть. В эту минуту на берегу показался Хаи-вер-ки-са. Благодаря лесному телеграфу мы уже знали, зачем он идет. Ему нужны были помощники строить новую хижину, дело это серьезное, на много дней, если браться как следует, одному никак не справиться.

Не доходя до нас несколько шагов, он остановился и учтиво поздоровался:

— Ба-ри-са-муа!

Казалось, темные глаза знахаря стали обсидиановыми, утратив всякое выражение.

— Буэнос диас, сеньор Хосе, — старательно выговорил он испанские слова.

Секунду Хаи-вер-ки-са стоял молча, потом зашагал дальше. Он не сказал ни слова, но его прямая фигура ссутулилась, как у мужчины, который поражен копьем или ножом, однако старается не показать виду.

Это было примерно через неделю после Праздника кукурузы. Я вышел из дома задолго до рассвета и теперь тихо сидел с ружьем на удобных ветвях сурибио в нескольких метрах над землей. Подо мной, почти у самого дерева, протекала лесная речушка. А на той стороне, как раз на расстоянии выстрела, тянулся песчаный пляж. Маленькие лесные олени приходили туда на во-

допой на восходе и за час до заката. Я заметил их изящные следы накануне, охотясь на рыбу с луком и стрелами. Заметил также широкие отпечатки лап старого ягуара.

Прохладное росистое утро в лесу. Дневные краски еще не родились, меня окружает бесформенная масса из малахита и темного оникса, пахнет душистой смолой, гниющими листьями, орхидеями, жизнью и смертью. Мимо проносится на крыльях величиной с детскую ладошку бабочка калиго. Скрипят, свистят и квакают древесные лягушки. Светает. Уже можно различить стволы и ветви, видно круги на воде — это дорада схватила упавший в реку лесной плод, видно и следы оленей на противоположном берегу. За узким пляжем стоит высоченной стеной дремучий лес, прикрытый завесой из широких листьев бихао и плетей страстоцвета.

Кажется, что-то шевельнулось в зелено-желтом массиве? Я осторожно поворачиваю голову.

Вот опять! В маленьком просвете на миг показывается изящная головка оленя и тут же снова пропадает за листьями. Отчетливо представляю себе, как олень стоит и слушает, и нюхает, и смотрит, прежде чем выйти на берег, где он будет виден издалека.

Для дробы расстояние великовато, для пули в самый раз. Значит, подожду с выстрелом, пока не увижу его как следует, чтобы свинец сразил оленя наповал, без мук и страданий. Иначе это будет не охота, а омерзительное убийство.

Но что за всплеск прозвучал там, выше по течению? На рыбу непохоже. Еще... еще. После первого всплеска олень окаменел. После второго тенью метнулся прочь между растениями, не дав мне хорошенько прицелиться. Ставлю курок на предохранитель и жду. По мелководью медленно шагает человек. В руках у него длинное черное копье для боя рыбы и свежий улов — связка кисабы. В ту



самую секунду, когда золотистый утренний свет падает на пляж, он выходит на песок.

И я узнаю его: это Хаи-вер-ки-са.

Он лишен возможности охотиться, вынужден довольствоваться рыбной ловлей. Ведь только у знахаря можно получить не-ара — быстродействующий яд для стрел, без которого из духовой трубки лишь мелких пичужек бить. Ружье заложено у деревенского кабатчика. Порох, дробь, пистоны — все стоит денег, а чтобы добыть деньги, опять-таки нужны хорошие шкуры, да еще надо сперва рассчитаться с кабатчиком и патером.

У самой воды индеец остановился, положил на землю копье и рыбу и сел на пятки. Тщательно, не торопясь, вымыл руки и вытер их о выцветшую набедренную повязку. Потом поднялся и подошел к плотной стене пышной тропической зелени. Медленно, осторожно взял он пальцами стебель алого цветка, бережно, чтобы не по-

вредить, отделил плеть от куста, поднес цветок к губам, повернув чашечку к восходящему солнцу, и легким дуновением послал пыльцу навстречу золотистым лучам. Затем положил плеть обратно на куст так любовно, словно это было драгоценное украшение. Несколько минут он постоял не двигаясь лицом к солнцу. Потом забрал свою рыбу, взял копье и пропал среди теней дремучего леса.

Хаи-вер-ки-са, вечно бездомный на рубеже двух миров, ни один из которых его не принимал, уединился в лесной глуши и тиши, чтобы приветствовать отцовских богов.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ

Не звучит больше гулкий стук топора в бальсовом урочище у переката. Бревна срублены, очищены от сучьев и коры и сложены у воды. Ни много ни мало — восемь толстых бальсовых бревен лежат в ряд. В глубокие зарубки в белесой древесине индейцы уложили крепкие поперечины и прибили их к бревнам рогатками из твердого дерева сурибио. Кроме того, они обмотали соединения лубом махагуа и прочно связали всю конструкцию длинными «лесными веревками» из расщепленных лиан анкла.

Во всем плоту ни одного гвоздя, ни единого куска металла. Все взято из леса. Инструмент — два топора да несколько мачете.

А можно было обойтись одними мачете. Или каменными топорами и долотами из зубов капибары. Только ушло бы больше времени.

Старый охотник стоит и смотрит, как индейцы мастерят надстройку: платформу для сна из сапановых палок, с циновкой из волокон ирака, навес из тонких жердей, листьев бихао и луба, скамеечку и столик из тесаной

бальсы, подставки, чтобы вешать узлы и корзины, боящиеся воды.

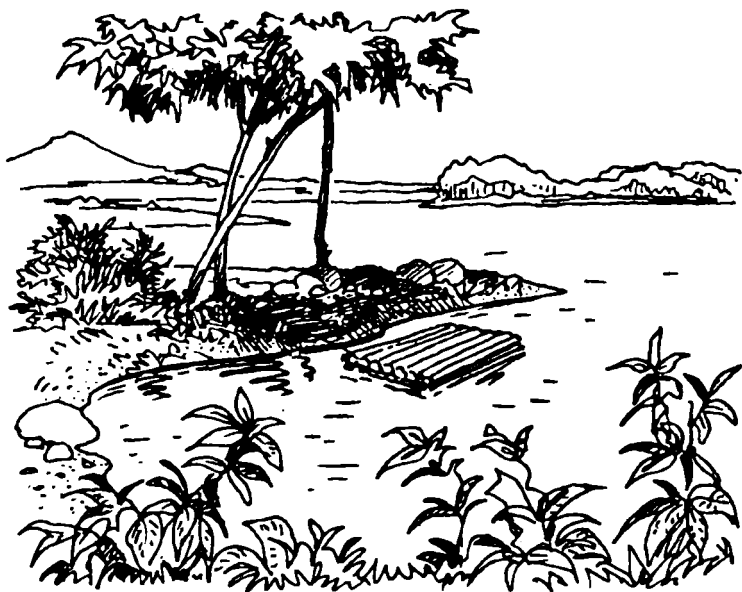
Плот вышел куда больше обычных, на которых перевозят кур, свиней, кукурузу и бананы, когда в селениях на реке открываются ярмарки с праздничными гуляньями. По правде говоря, это плот люкс. Ну и что? Отсюда до самого моря ни сложных порогов, ни теснин, лишь кое-где широкие стремнины без коварных подводных камней. Шест, весло и руль — вот и все, что нужно, чтобы судно не врезалось в берег; к этому здесь сводится вся навигация. Об остальном позаботится сама река.

В это время года на реку можно спокойно положиться. Сезон дождей в ее бассейне кончился, разве что где-нибудь в горах опорожнится случайная тучка. Прошла вверх бокачико, завершая свое ежегодное пятисоткилометровое странствие от равнинных озер до предгорий Анд, а это верный знак того, что всерьез установилась засушливая пора. Лишь месяца через два склоны гор оросят первые ливни, открывающие малый дождевой сезон.

Четыре пары ловких смуглых рук настилают листья бихао, выпрямляют жерди, наматывают луб на сочленения, завязывают узлы. Внук Яри трудится вместе со всеми, умело и с большой охотой. Все сыты, все довольны. Индейцы с Зеленой реки привезли с собой изрядное количество молодой кукурузы. Сын Выдры добыл острой здоровенного сома, а старик вчера под вечер подстрелил дикую свинью — ошейникового пекари.

Раненому уже намного лучше. За три дня антибиотиков и сульфадимезин в союзе с природным здоровьем победили инфекцию, раны начали заживать. Если и дальше так пойдет, старик послезавтра может трогаться в путь вниз по реке. Вообще-то никакой роли не играет, выйдет ли он днем раньше или днем позже. Теперь не иг-

рает. И куда приятнее будет плыть по реке, твердо зная, что его последний пациент в краю дремучих лесов поправляется.



А пища — что ж, с пищей вечная забота в сельве. Что-нибудь съедобное растительного происхождения всегда найдешь, правда, не много, прокормиться нельзя, особенно такой артели. Корни икаде, молодые побеги ирака, дикая маланга — голодная диета, если нет возможности охотиться и ловить рыбу. Не то, не то. Тропические фрукты? Они есть, но только не в дремучем лесу. Из тех, что здесь растут, мало какие годятся в пищу, да и не просто их отыскать. Сейчас, в засушливую пору, тропический лес приветлив, однако лучше не доверяться до конца этой приветливости. У нее есть границы, малейшая неосторожность — и она обернется своей противоположностью.

Один американец, поборник так называемой здоровой пищи, написал книгу о том, как он прошел от Дарьенского залива до Амазонки, питаясь исключительно дикими плодами и другими растительными продуктами леса. Этот человек был великий враль, он, скорее всего, в глаза не видел настоящей сельвы. Даже индеец не сумел бы совершить подобного перехода. На такой диете указанный путь можно одолеть только на самолете, захватив фрукты с собой.

Не богаты южноамериканские леса, даже самые глухие, и крупными мясными животными, никакого сравнения с роскошной фауной Африки или былыми стадами бизонов в Северной Америке. Конечно, дичь попадает. Тапиры — изредка, пекари, маленькие олени, медведи в горах, капибары вдоль рек. А кругом — труднопроходимая чаща, в которой звери мигом исчезают, почуяв опасность, и надо сказать, что они ее чувствуют загодя, как правило, раньше, чем вы успеете их обнаружить. Достаточно распространены обезьяны, грызуны и крупные птицы, но не всегда найдешь их именно тогда, когда они вам нужнее всего.

Лишь тот, кому на самом деле приходилось кормиться продуктами сельвы, знает, что это такое, и понимает, почему индейцы постоянно занимаются земледелием и рыболовством, тогда как охота для них случайное занятие, от силы подсобный промысел.

Лов рыбы в реках — дело более надежное, особенно теперь, в засушливую пору. Бывает, однако, так, что и рыбы не поймает.

ГОЛОД

В полутора километрах выше слияния двух лесных рек, у веселого ручья с прохладной чистой горной водой стоит наша свайная хижина. Позади нас — горная

цепь, впереди — долинка, в ней тут и там расчистки, малюсенькие просветы в сельве, на которых мы недавно посеяли кукурузу и посадили бананы. И кругом во все стороны простирается старый, матерый дремучий лес, каким он был еще до прихода индейцев. В зарослях сурибио, за расчистками, между деревьями-исполинами извиваются две мадресеки — высохшие каменистые русла.

За хижинкой мы тоже расчистили клочок земли в несколько десятков метров; с одной стороны он ограничен ручьем, с другой — подошвой горы. И здесь нами посажена кукуруза и разная зелень, как раз сейчас все пошло в рост. Сразу за огородом начинаются горы — крутые, лесистые гребни, разделенные глубокими ущельями. В ту сторону до ближайших соседей несколько дневных переходов. Сплошная глухомань, ни единой тропки, за день с топором пробьешься от силы километров на десять.

Мы пришли сюда слишком поздно и не успели как следует подготовиться к дождевому сезону. До сих пор дело ограничивалось отдельными ливнями, хотя и сильными, но короткими. Индейцы за рекой радостно улыбались и говорили о «кукурузном» дожде. Но сегодня назревает что-то другое. С севера, от простершейся за лесами саванны ползут по небу тяжелые мрачные тучи. Свинцовые, грозные, они словно готовятся штурмовать темно-зеленый горный редут за хижинкой.

Жарко, душно. Ходишь, и на тебя как будто что-то давит. Из дебрей плывут густые, насыщенные лесные запахи.

Летя в сумерках над долиной, тучи принимают облик леших, драконов, троллей. Между гребнями они сминаются, превращаясь в сплошной густеющий мрак. Первые молнии пронизывают сумрак огненными стрелами. Внизу воздух недвижим, ветер стих совершенно, ни один лист не колышется. Птицы примолк-

ли, даже сверчков и цикад не слышно. Лишь река продолжает петь так тихо и нежно, что голос ее кажется прозрачным.

И тут в горах рождается глухое рычание. Оно как бы разрастается вширь и могучей волной катит вперед — все громче, все ближе, все басовитее, на миг почти затухает, но снова становится оглушительным ревом. Ближе, ближе, с треском ломающихся ветвей, с гулом падающих деревьев. Вот уже и нас захлестнуло. Темная пустота над хижинкой наполнилась голосами. Гиканье, вой, свист. Сидя под хрупким листовным навесом, мы слышим будто лай исполинских собак, конское ржание, воинственные кличи попеременно с гулкими звуками труб и рогов. Над лесом мчится псовая охота великанов. Под напором могучего урагана наша лачуга дрожит как осиновый лист. Дрожит, но держится, хотя крыша ходит ходуном и столбы гнутся от порывов ветра. Мы затушили очаг и привязали все легкие предметы. Сколько это может длиться? Никто не знает. Ложимся навзничь на вибрирующие жерди пола, спасаясь от ветра, но все равно он нас треплет и дергает.

Еще один звук вплетается в общую гамму. Сперва будто кто-то бормочет, но бормотание перерастает в неистовый рев. Земля и небо стерты завесой чудовищного ливня. Дождь летит почти параллельно земле, врывается под стреху и хлещет нас, словно плеткой. Миг — и мы уже мокрые насквозь. Сбрасываем пропитанную водой одежду, оставляем только сандалии да пояс с мачете, на случай, если хижина развалится и выбросит нас в ревущий мрак.

Всю ночь свирепствует буря. Между ливнями молнии полыхают так часто, что нельзя сосчитать. Они выхватывают из тьмы терзаемые ветром деревья с обломанными ветвями. И снова ливень все стирает, снова мы слепы и глухи, отчаянно цепляемся друг за друга и за перекладину на сваях.

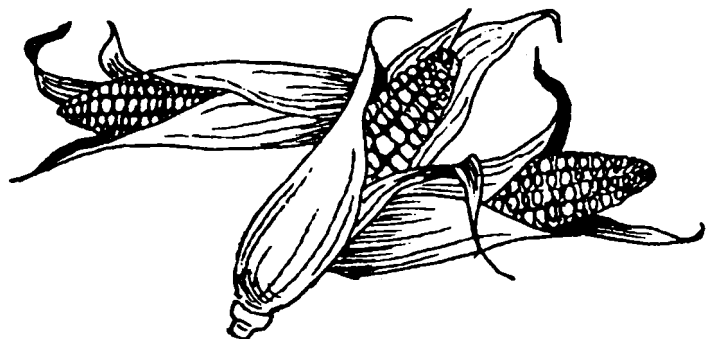
Наконец наступает утро. Ветер почти затих, дождь прекратился. В небе плывут рваные серые тучи, последние клочья от плаща неистового исполина. Сыро, влажно, пахнет гнилью и мхом. Свистопляска прекратилась, во всяком случае на ближайшие несколько часов. Но буря успела натворить достаточно бед.

Ручей у нашей хижины уже не назовешь ни маленьким, ни приветливым. И вообще это не ручей, а широкий бурый поток двухметровой глубины, полный ветвей, стволов и прочего лесного мусора. Он пенится, он ворчит. Мостика, разумеется, нет и в помине, а вброд перебраться немыслимо. И нам достаточно видеть этот ручей, чтобы представить себе, во что сейчас превратились Икаде-до и Данда-до. Мы их слышим, и этого довольно, даже если бы нам не были видны пенистые струи, которые резвятся под каучуковыми деревьями в ста шагах от того места, где обычно проходит берег реки.

Обоим сразу приходит в голову одна и та же мысль. Мы начисто отрезаны от всех людей, заточены на маленьком треугольнике суши между двумя реками и глухим горным краем. Мы предоставлены самим себе. Пока реки не войдут в свои берега, нельзя по ним плавать и нельзя связаться с индейцами.

Сколько продлится наше заточение? Этого нам никто не скажет теперь, когда начались большие дожди. В обычных условиях нас могла бы выручить рыбная ловля, сейчас это исключено. Можно ловить рыбу в реке, но не в затопленном лесу. Дичь, естественно, ушла от потопа в горы.

Тщательно проверяем наши запасы продовольствия. Около пяти килограммов риса, килограмм муки. Двадцать три початка кукурузы. Килограмм сахара, пять кило соли, полтора кило кофе, баночка чая, два литра свиного сала. Три грозди бананов, совсем зеленых, они еще даже для варки не годятся. Это все, на что могут рассчитывать два человека и две собаки, пока не изменится обстановка.



Ну что бы этой буре разразиться несколькими днями позже! Наши домашние животные — поросята, куры, индейки, утки — остались у индейцев на той стороне Икаде-до, и там же лежат продукты, закупленные нами в деревне: рис, соль, сахар, мука, несколько банок масла и прочее — итого три ноши, около семидесяти пяти килограммов. Сейчас они для нас так же недоступны, как если бы мы их хранили на Луне.

Жена испекла два блина и принялась по мере сил и возможности сушить наше мокрое имущество. Я смазал ружья, нацепил на себя мачете и пошел в лес, взяв дробовик и одну из собак. Вторую собаку оставил дома, чтобы жене не было скучно.

В долине пока всякая охота исключена. Остается только тащиться на гору. Вверх по крутым долгим склонам, где на каждом третьем-четвертом шагу надо пускать в ход мачете, чтобы проложить себе путь и пометить обратный маршрут.

Проходит час за часом. Лес будто вымер. Подстреливаю навскидку одного тинаму, мяса в нем побольше, чем в рябчике, да ненамного. Следов никаких, дождь все стер. Собака ищет, мечется туда-сюда, потом сдается и трусит следом за мной, мокрая, понурая.

Пополудни опять начинается дождь, редкий, но

упорный. Поворачиваю и иду назад по своим следам. За час до сумерек я дома. Выпиваю чашку кофе, потрошу птицу и забрасываю удочку в ручей. Ловлю, пока видно, а весь мой улов — пять сомов, самый большой весит от силы граммов двести. Сегодняшней добычи хватит на ужин и на завтрак, если добавить рису. Дождь продолжается. Вода в ручье спала на несколько дюймов, но река только еще больше разлилась.

Завтра выйду в горы пораньше, попытаюсь разыскать пропавшую дичь. Ведь где-то она должна быть, хоть мне и не удалось выследить ее сегодня. Авось завтра больше повезет.

Проходит завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и еще много дней, и все дождливые, и каждый чуть голоднее предыдущего... Мы по-прежнему совершенно изолированы. Неизменно во второй половине дня начинается дождь и льет до следующего утра.

От охоты проку с гулькин нос. Иногда тинаму попадется, иногда лесной перепел, иногда голубь. Только один раз я подстрелил пенелопу. Потом выпал день совсем без добычи. Десять часов бродил я по лесу, наконец обнаружил высоко на дереве ленивца и потратил на него три драгоценных патрона — все равно, какое мясо, лишь бы мясо! А ленивец, как назло, застрял на ветке в пятнадцати метрах над землей. Было совсем темно, когда я вернулся домой с пустыми руками.

С рассветом я уже был на месте. И убедился, что меня опередила пума. Хорошо поработала, оставила от ленивца кости, когти да клочья шкуры. В этот день я добыл только тукана, из его темного мяса вышел жидкий супчик нам на ужин. К этому времени у нас оставалось около килограмма риса, полбутылки сала да самые зеленые бананы, которые от варки делались черными и горькими. Половодье на реке не кончилось, а в ручье клева-ла одна мелюзга.

Наши силы были на исходе. Моя жена только что

перенесла тяжелую малярию, она с трудом поднималась по приступке без моей помощи и большую часть дня вынуждена была лежать. Я еще мог ходить на охоту, но на длинных подъемах у меня подчас мутилось в глазах.

Наступил день, когда дождь не прекратился на рассвете, а продолжал нудно, упорно лить все утро. Не мечтал я о выходном, но отдых мне пригодился. Вот только сосущий голод не давал покоя. В мокрых кустах я отыскал несколько кузнечиков, взял самодельную удочку и пошел к ручью. Два часа прилежного лова принесли с полдюжины малявок, в обычное время они сгодились бы от силы на наживку для ловли рубиа. Теперь это была наша пища.

Возвратившись к хижине, я поставил удочку к дереву, взял нож и опустился на колени, чтобы очистить на колоде мою жалкую добычу.

И тут... Тихо прошелестели кусты, и шагах в пятнадцати от меня в ручей вошла самка оленя. Вот она, совсем рядом.

А оба моих ружья лежат в хижине.

Оставалось только одно: окаменеть и ждать, пока она пройдет мимо. Я не решался даже моргнуть. Застыл, изображая пень. Она миновала меня, достигла кустов между хижинкой и ручьем и, продолжая шагать по воде, скрылась из виду. К счастью, у меня на ногах были остатки теннисных туфель на толстой каучуковой подметке — лучшая обувь для бесшумной ходьбы. Как только олениха зашла за куст, я метнулся к хижине, в два прыжка одолел приступку, схватил двустволку и поспешил к прогалине в излучине ручья. Осторожно выглянув из-за кустов, я снова увидел ее, нас разделяло шагов двадцать, она уходила от меня.

То ли она меня все-таки услышала, то ли увидела — так или иначе олениха сделала мощный прыжок и вскочила на высокую бровку у опушки леса. Она еще не ус-



пела приземлиться, когда раздался мой выстрел. Это было все равно что бить птицу влет. Я пересек вброд ручей и вскарабкался на влажный, скользкий уступ. Где же олениха? Нету, словно и не было ее. Но я мог поклясться, что попал в цель.

Собаки промчались мимо меня и ворвались в чащу. Минуты две было тихо, потом я услышал грубый голос Леона, и Баталья звонко затыкала. Напали на след! Описав небольшую дугу в зарослях, собаки продолжали гон по прямой, вверх по склону, и вскоре их голоса затихли вдали.

В это время кто-то появился на другом берегу ручья. Это моя жена, опираясь на палку, притащилась со штуцером, хотя ее ослабевшие руки не могли даже поднять тяжелое оружие для выстрела. Я помог ей перейти через ручей и подняться на бровку. Здесь мы остановились и стали слушать: может быть, гон повернет в нашу сторону.

Ни звука.

— Я мог бы поклясться, что попал в эту олениху, — сказал я с горечью.

Моя жена, ничего не говоря, смотрела на переплетение ветвей рядом с нами.

— А это что? — спросила она наконец.

Я шагнул вперед. Олениха... Убита наповал, голова и шея прострелены насквозь. Собаки встретили агути и погнались за ним. А она была убита в прыжке и упала, не оставив следов на бровке, поэтому они промчались мимо, в нескольких шагах и не заметили ее. При мысли о том, что я сам чуть не прозевал добычу, мне стало страшно.

Когда собаки вернулись — они догнали агути и расправились с ним, — туша уже была разделана и висела около хижины. На сковороде шипели печень и почки. Мы ели очень осторожно, начали с нескольких маленьких кусочков. Только тот, кто ел свежее мясо после долгой голодовки, поймет, как это было вкусно. Двадцать раз повернешь во рту каждый кусочек, чтобы хорошенько им насладиться, прежде чем проглотить.

У ручья пировали собаки, которым достались внутренности. Моя жена поджарила еще мяса и сварила суп, а я засолил большие куски и сделал подставку из палок, чтобы закоптить остальное на индейский лад. Соли на все не хватало.

В тот день наш обед затянулся надолго. Печень, почки, мясо, суп, мозговые кости — все казалось нам прекрасным. Потом мы выпили кофе и выкурили по сигарете, созерцая долину и речную террасу. Она снова стала приветливой и красивой. Выглянуло солнце, небо очищалось от туч. Вода в реке уже спала на целый метр. Мимо нас пролетели два ярких попугая ара, словно сине-красно-желтый фейерверк. Лучи вечернего солнца были цвета спелого персика. Запах гнили улетучился,

теперь пахло свежеполитым цветником. На горе печально пересвистывались тинаму. На склоне над хижинной прозвучал резкий трубный клич пенелопы, и тут же чуть поодаль откликнулась другая индейка. Дичь возвращалась.

Нет, не могу сидеть без дела. Я взял длинный мачете и начал срубить им жерди.

— Ты что делаешь? — спросила жена.

— Хочу сколотить насест для кур, — ответил я. — Если вода в реке и дальше будет так спадать, послезавтра, пожалуй, смогу их привезти. Мне кажется, с яйцом блины вкуснее, а как по-твоему?

— Не будет тебе никаких блинов, пока мясо не доедем, — сказала она, изображая строгость, — так и знай, ненасытный обжора.

И я сразу понял, что жена идет на поправку, добрая пища пошла ей впрок.

Через два дня наши домашние животные были доставлены и размещены, весь провиант привезен из-за реки, кроме того, я выменял несколько корзин кукурузы для кур и индеек. В коптильне висела рыба, а еще через день я подстрелил у реки пекари.

Призрак голода был надолго изгнан из нашей хижины.

ВНИЗ ПО РЕКЕ

Има-нгаи, сын Выдры, укрепляет на подставке последнюю корзину с имуществом. Погрузка закончена. Он еще раз ошупывает лубяную намотку и узлы. Смотрит вверх по течению, где под мерцающей от росы чадрой из листвы сурибио поет и журчит небольшой перекал, потом вниз — там гладкая поверхность воды тускло поблескивает сквозь предшествующую восходу редкую мглу. Одни лишь добрые признаки. Значит, можно и в путь.

Молодой индеец возвращается на берег, садится на камень у самой воды и снимает ожерелье с двумя баночками для краски, сделанными из пустых орехов. Сегодня ему нужна только черная краска. Он приготовил ее вчера вечером. Теперь он расписывает лицо косыми линиями и крестиками и двойными кольцами — знаками горя и смерти. Его товарищи сидят около шалаша и помогают друг другу гримироваться. Закончив раскраску, Има-нгаи смотрит на свое отражение в реке. Затем встает и подходит к белому, который сидит с сигаретой в руке на оставшейся в излишке бальсовой колоде, перед пустой миской из-под кофе. Они обмениваются взглядом. Молча. Зачем говорить, когда понимаешь друг друга без слов.

Старик встает. Он ощущает внезапную усталость, в последнее время это с ним случается все чаще.

У ног старика лежит что-то, завернутое в синюю материю. Он разворачивает узелок и подзывает индейцев. Каждый из четырех — сын Выдры, сын Ястреба, сын Оцелота и внук Яри — получает по новому мачете в бахромчатых ножнах; еще он дает троим строителям по новому сверкающему ножу. Сверх того они получают рыболовные крючки, нержавеющие поводки, свинец для грузил.

И наконец он поднимает с земли синюю материю и протягивает ее индейцу с Зеленой реки.

— Отдай жене, — говорит он. — А эта коробочка с желтым порошком для ее брата. Пусть посыпает им раны до тех пор, пока они совсем не заживут.

С минуту индейцы молча рассматривают подарки. Потом идут к навесу и возвращаются с терпеливо вырезанными из твердых лесных плодов звериными фигурками, диковинными куколками из бальсы, на которых соком генипы нанесен магический узор, опахалом из волокон ирака для раздувания огня, изящно сплетенной корзинкой.

Приняв и погрузив на плот подарки, старик берет в руки шест. Поворачивается и смотрит на четверку молчаливых краснокожих.

— Когда я буду идти под звездами вниз по большой реке, — говорит он, — я буду думать о моих сыновьях и их отцах. Думать добрые думы, которые отгоняют зло.

Маленькие смуглые люди оживляются, услышав древнюю формулу: так прощался знахарь со своим племенем.

— Когда мы будем работать на наших полях, или ловить рыбу в реке, или сидеть в наших хижинах, мы будем думать о нашем отце, — отзывается Има-нгаи, сын Выдры.

Потом нагибается и отвязывает лубяную веревку, которой плот привязан к торчащему из земли корню.

Старик упирается в дно шестом и толкает. Течение подхватывает плот, разворачивает его и несет к излучине за деревом караколи. Дойдя туда, старик оглядывается назад. Четверо в траурном гриме стоят на том же месте, только внук Яри сходил за барабаном и теперь сидит, положив его на колени. Под его руками барабан оживает, и летит в зеленые дали весть:

«Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин» («Старый человек спускается по реке к морю»).

Проходят часы. Текут километры. Солнце давно взошло, оно уже вытерло росу и испарило утреннюю мглу. Река становится шире и степеннее, течение — медленнее. Сейчас шест не нужен. Старик может сидеть под навесом из листьев бихао и править длинным веслом. Достаточно держать плот подальше от берега и избегать топляка, на котором бакланы и змеешейки просушивают расправленные крылья после утреннего лова рыбы.

Одна за другой впереди взлетают цапли. Огромные серо-голубые магдаленские цапли, белые цапли: большие — с желтым клювом и малые — с черным клювом,



черными ногами и светло-желтыми, будто чужими, пальцами. Маленькие, шуплые, голубые флоридские цапли и их белые годовалые птенцы, оперение которых еще не приобрело пеструю переходную окраску. Кваква сидит неподвижно на ветке и только провожает плот взглядом. Выпь каннабис беззвучно шмыгает в высокую траву на безлесном участке.

Отсюда начинаются выпасы. Лес сведен топором и огнем поселенца. В первый год пал принес хороший урожай, на второй год — посредственный, на третий почва уже была истощена. Поселенец устал сражаться с голодом. Уступил за гроши свои права на участок богатому скотоводу, ушел в лес и принялся снова рубить и жечь. Его ранчо было в сто раз хуже легких индейских хижин. Дети его росли в постоянном недоедании, больные малярией, неграмотные — росли те, которых смерть не косила еще в младенчестве.

Покуда шло освоение равнины, удобной для скотоводства, годовой цикл мало менялся. Правда, дождей с каждым годом становилось меньше, но это никого не беспокоило, лишь бы хватало воды для скота. Низменность превращалась в саванну, во время дождевого сезона она все еще зеленела тучными пастбищами, однако с каждым засушливым периодом все больше высыхала и выгорала. Потом равнинной земли для возделывания стало не хватать. Поселенцы начали вторгаться в долины между холмами и кряжами. Здесь тысячелетиями жили и возделывали землю индейцы. Они расчищали маленькие клочки. Чтобы почва не истощалась, сажали вместе с кукурузой бобовые — так научил их опыт отцов. Взяв все от расчистки, возвращали ее сельве. Поселенцы поступали иначе. Они жгли и рубили лес без разбору, обнажали берега рек и склоны крутых холмов. Обращались с деревом, как с врагом. Наступал сезон дождей, и начиналась эрозия. Здесь земля истощалась еще быстрее, и крупные скотоводы на нее не зашли.

В стране, которая меньше полувека назад была одной из самых богатых в мире благородными древесными породами, стал ощущаться недостаток в деловом лесе. Поселенцы продолжали рубить махагонию, седрелу, лаурель-комино. И жечь ее: кому выгодно возить лес, когда дорог нет и в помине.

Речка становится еще шире, еще мельче. Новый поворот, и вот впереди заблестел поток поразмашистее, от берега до берега добрых сто метров. Поле зрения расширяется, и весь вид становится другим теперь, когда берега расступились. Вблизи ни леса, ни холмов — простор для взгляда. Плот увлекает размеренное течение главной реки.

Сплошные пастбища кругом, лишь тут и там высятся одиночные деревья. Старые строптивые великаны, не

поддавшиеся ни огню, ни топору. Стоят, как памятники прошлого, удерживают позицию, да недолго им еще стоять. На песчаной отмели у берега важно расхаживает аист ябиру. В голубом поднебесье кружит скопа — совсем такая же, какую старик больше полувека назад видел над лесным озером в краю своего детства.

Большая река катит свои воды дальше широкими извивами. Бальсовый плот на ней, как былинка. Лишь изредка приходится подгребать рулевым веслом, чтобы держать нос прямо по курсу. Об остальном заботится сама река.

За новой излучиной — новый вид. Река повернулась чуть ли не вспять, и за буреющими пастбищами и обезлесенными холмами старик теперь видит дикие кряжи, предгорья Западных Анд. Могучие голубые хребты волна за волной теряются в синих туманах. Слава богам, они еще покрыты настоящим, исконным лесом. Андские леса — высокая сельва. Снова рождаются воспоминания.

ВЫСОКАЯ СЕЛЬВА

На склоне за свайной хижинкой на дереве воладо гукает маленькая сова. В прибрежных зарослях поблизости звучит какой-то шорох. Похоже, что кто-то бежит через кусты по сухим прелым листьям. Три-четыре скачка, и животное, скорее всего это агути, — уже под защитой высокого леса за расчисткой. Там посвободнее, легкий шелест — и снова тихо.

Тихо, если не считать металлического трезвона цикад, кузнечиков и сверчков. Этот звон будет длиться до тех пор, пока сюда не дотянутся лучи солнца.

Тихо.

Но вот что-то зашевелилось у очага. Мелькает блик света: кто-то подложил дров и принялся махать опаха-

лом из пальмового листа, раздувая головню, которая тлеет в золе со вчерашнего вечера. Головня не простая, дерево особое, оно может тлеть несколько суток, сохраняя жизнь огню. Ярче, ярче, и вот уже по сухому поленью заплясали язычки пламени. Различаю бурый потолок из пальмовых листьев и смуглую женщину, которая сидит на пятках и терпеливо раздувает огонь в очаге. Молодая хозяйка дома, жена Не-эн-саби. Вот она поставила на три очажных камня глиняный горшок с кукурузным кулешом и вешает рядом на деревянный крюк мой основательно побитый котелок.

Летучий отсвет пробуждающегося огня играет на темно-коричневом, с черными мазками копоти от дыма коническом своде, ложится на пол из темно-серых пальмовых брусьев, на столбы из светлого дерева балаустре, на развешенные повсюду корзины и калebasы со всякой мелочью, которая накапливается даже в индейском хозяйстве за месяцы и годы. Темно-коричневые духовые трубки, блестящие черные луки и остроги висят на стропилах рядом с удочками из белых прутьев мангалеты и матово-черными колчанами из бамбука и кожи муравьеда.

Гениальная постройка эта свайная хижина индейцев чоко, всецело сделанная из материалов окружающего леса. Она кажется легкой и хрупкой, пол буквально покачивается под ногами, а на самом деле прочность и гибкость ее таковы, что она может противостоять самым яростным бурям тропической сельвы. Хочется сравнить свайную хижину с живым существом, во всяком случае пока в ней кто-то постоянно обитает и между тремя камнями очага горит огонь.

У индейцев чоко заведено так, что если кто-то из семьи умер, остальные тотчас переселяются, а заброшенная хижина служит обителью душе покойного. Во время моих странствий я иногда ночевал в таких лачугах. Но это бывало только когда я ходил один: индеец лучше ус-

троится под открытым небом. И даже мне, хотя я отнюдь не мистик и к тому же никогда не был чрезмерно впечатлительным, пустая, покинутая хижина представлялась мертвой, и не так, как беспризорный дом белого человека, а по-настоящему мертвой. В ней сумрачно, сыро, даже костер не может ее оживить. Утратив живую упругость, она быстро превращается в груды преющего хвороста. Приходится вампирам и большим темно-коричневым скорпионам, которые вселились к покойному, чтобы составить ему компанию, искать себе другое убежище.

Но эта хижина — я в ней гощу не первый день — еще живая и приветливая. На нарах по краю пола заворочались неясные фигуры. Встаю, надеваю пояс с ножом и мачете, беру фонарик. Мне полагается первым спуститься к ручью для утреннего туалета.

На этот счет есть строгий порядок. Во-первых, я старший из мужчин, во всяком случае единственный, у кого уже появились седые волосы, во-вторых, я некогда был усыновлен старым могущественным знахарем. Правда, мудрый Мари-гама два года как умер, но кто поручится, что он не передал какие-то из своих тайн приемному сыну, который хотя и не может считаться полноценным хаи-бана биа, иногда все же исцеляет больных и явно совсем не боится злых духов...

Так судят мои смуглые друзья, и зачем мне их переубеждать? Пользуясь их взглядами, я порой могу помочь им, если случилась беда и нужны скальпель и шприц. Словом, обувайся — и к ручью, чтобы после тебя остальные могли умыться в свою очередь.

Выйдя на берег, застаю врасплох ползущую вверх по лиане длинную древесную змею Охубелис. Луч фонарика заставляет ее замереть, и она тотчас обращается в лиану. Бурое тело змеи чуть толще моей шариковой ручки, но тоньше указательного пальца. Зато длина изрядная: около полутора метров. Посчитав, что я веду себя слишком

назойливо, змея поворачивает ко мне свою заостренную голову и разевает щучью пасть, но это показной жест. Ее короткие ядовитые зубы расположены совсем глубоко, чуть ли не в глотке, она не может ими как следует уку- сить. Яд — его совсем немного — достаточно эффективен против еще меньших змей и ящериц, но для человека вряд ли опасен. Я сужу так потому, что меня дважды ку- сали представители этого вида, и никаких последствий не было.

Поскольку я уже заспиртовал один экземпляр, а в банках мало места, отпускаю змею с миром и вхожу по пояс в прохладный чистый горный поток. Еще темно, но до рассвета осталось уже немного. Над кронами деревь- ев на востоке мерцает Венера. С мокрыми волосами под- нимаюсь обратно в хижину. Одна из женщин ставит пе- редо мной миску с дымящимся кофе.

Кофе, табак и соль — моя слабость, роскошь и в то же время звено, связующее с миром, который простирается за лесами и реками. Они да еще полдюжины книг в про- резиненном мешке, что висит над моим ложем. И кроме того, ружье (трехстволка, два ствола двенадцатого кали- бра для дробы, третий для пули), патронташ, походная аптечка, бритва, фонарик, бидоны с консервирующей жидкостью, обувь на резиновой подметке да несколько защитных рубаш и брюк, которые мне здесь в лесу ни к чему. В остальном мое снаряжение вполне могло бы сой- ти за индейское, исключая разве рыболовные крючки с поводком из нержавеющей стали.

В хижину поднимается До-чама — Речная Выдра. По- лучает миску кукурузного кулеша и выпивает его. Затем подходит ко мне и тихо спрашивает:

— Уанда ми, м'бебр? Катума-да?

— Ага, м'бебр. Уанда ми.

Вот и готова рабочая программа на сегодняшний день, ведь здесь охота считается работой. Мы пойдем в горы. Дальше все зависит от того, что нам попадется.

Выдра снимает со стропил духовую трубку, колчан и мачете, а я протираю стволы и проверяю содержимое патронташа. Десяток дробовых патронов, пять с пулей. И достаточно. Расточительность неуместна, когда до ближайшей лавки неделя пути.

Жидкий рассвет просачивается сквозь древесные кроны, когда мы молча поднимаемся по длинному склону в безлюдный горный край, служащий водоразделом между истоками Тарасы и Сан-Хорхе. Один за другим звонкие птичьи голоса начинают приветствовать новый день. Среди круч за рекой звучит глухое, низкое рычание, словно какой-нибудь грозный зверь злобствует от того, что мрак рассеялся прежде, чем он успел завершить свой кровавый ночной обход.

Я невольно улыбаюсь про себя. Это всего-навсего рыжие ревуны устроили утренний концерт, а ревуна уж никак не назовешь диким и кровожадным. Нет в сельве животного миролюбивее и симпатичнее, чем гуа, как их именуют краснокожие, разве что большая черная паукообразная обезьяна. Эта стая от нас далеко, по меньшей мере километра два в сторону от пути нашего следования, и я этому рад. Мои друзья индейцы большие любители обезьяньего мяса, они всегда уговаривают меня стрелять по ревунам, а у меня рука не поднимается убивать это безобидное существо, которое к тому же так медлительно, что уложить его ничего не стоит.

У овражка посередине склона До-чама останавливается и показывает на глубокий отпечаток между сухими листьями на красном латерите.

— Данда хено. Нозда ке-вара. (Тапир прошел вчера поздно вечером.)

Энгвера берет след, как охотничий пес, я следую за ним в нескольких шагах.

Солнце уже часа два как взошло, когда мы выходим на горное плато, но воздух в глубокой тени под пологом

леса еще прохладный и по-утреннему свежий. Мы почти неслышно ступаем по толстому ковру опавшей листвы, мало-помалу превращающейся в почву. Высокий лес сейчас безмолвствует. Идем как будто под сводами исполинского храма, и стволы лесных великанов высятся вокруг нас, точно колонны. Ни один звук, ни один отголосок не нарушает угрюмой, величественной тишины, царящей в этом полуподвале природы.

Лишь изредка до нас сверху доносится что-то вроде шепота. В зеленом пологе в тридцати метрах над нашими головами жизнь бьет ключом. Там поселился лесной народец, любители солнечного света. Там играют, оплодотворяют друг друга, размножаются и умирают все эти красочные обитатели верхнего яруса: птицы, древесные ящерицы, бабочки, жуки и цветы, прелесть которых мы, привязанные к земле, не можем оценить в полной мере.

Эти дети солнечного света и лунного сияния не опускаются на сумеречную, влажную лесную подстилку. Вся жизнь их проходит на кронах, лишь изредка на землю падает какой-нибудь фрагмент их безвестного бытия, и мы видим редкостное перышко, лепесток цветка, отливающее радугой крылышко бабочки.

Лесная подстилка с виду мертва — груда мусора, кладбище растений и животных. Однако если стоять совсем тихо и хорошенько приглядеться, можно и тут обнаружить жизнь. Просто она заимствует краски у коричневых стволов и увядшей листвы. Вон тот сухой, бурый сучок на молодом деревце — вовсе не сучок. Это очень подвижное насекомое длиной около двадцати пяти сантиметров, так называемый палочник. Стоит ему заметить вблизи малейшее движение, как он замирает, вытянув две-три ножки, словно веточки, и неподвижно ждет, пока не минует опасность. А диковинный узкий листик на той лиане — на самом деле тинкомия — богомол. Темно-коричневая ящеричка ползет вокруг древесного ствола.



В ямке между корнями жаба с узкой темной полоской вдоль спины, похожей на жилку увядшего листа, прижимается к земле и замирает, чтобы мы ее не заметили. Между ветвями, словно обрывок лианы, висит *Bothrops schlegeli*, бурая плоскоголовая древесная змея с цепким хвостом.

Перед нами с земли вспархивает что-то почти невидимое, пролетает несколько метров, выписывая ленивые зигзаги, и вдруг исчезает, будто уходит в другое измерение. Если бы я как следует проследил, где именно произошло исчезновение, пожалуй, я отыскал бы пропавшее существо, ведь оно всего лишь село и замерло. Существо это — бабочка, но бабочка без красок. У нее почти нет чешуек, из которых сложены восхитительные узоры на крылышках ее родичей там наверху, под солнцем. Крылья этой бабочки, из рода *Cithaeris*, прозрачны, как тончайшее стекло, если не считать едва уловимого

голубого оттенка, который различим лишь на белом фоне, да жилок, проступающих тонкими черными ниточками.

Толстый ковер из гниющей листвы тоже кишит жизнью. Крохотные жучки, тысяченожки длиной всего два миллиметра, паучки и едва различимые невооруженным глазом краснотелки, всякие клещи и прочая мелюзга, обитающая на увядших листьях, между ними, под ними. С микроскопом я мог бы обнаружить, что эта мелюзга, эти живые крупинки — чудовища и великаны в фантастическом мире, где несчетные мириады бактерий и других микроорганизмов неустанно трудятся, обращая в прах остатки былой жизни, чтобы они могли стать основой будущей новой жизни.

Отвлекаясь мыслью от этого подземного царства бытия и переводя взгляд на пятна голый земли среди прелой листвы, я вижу следы крупных ночных бродяг. Здесь прошли пума и ягуар, тапир и ошейниковый пекари, олень и медведь, гигантский муравьед. А теперь здесь оставляем следы мы — два охотника.

Индеец энгвера, отделенный всего несколькими поколениями от эпохи, которую вернее было бы назвать деревянным, нежели каменным веком и которая тем не менее создала такие маленькие технические шедевры, как свайная хижина и духовая трубка с отравленными стрелами. Человек, могущий в любую минуту расстаться с набедренной повязкой и мачете, шагнуть обратно в деревянный век и благополучно в нем жить. И белый, «длинноногий гот», который, не в пример своему товарищу, утратил исконную связь с природой и теперь пытается наладить с ней взаимопонимание нового рода, совсем не похожее на то, что составляло суть мировоззрения его предков в смутные стародавние времена, прежде чем пришло христианство и уничтожило зародыши культуры, предвещенной в песнях Эдды.

Вдвоем мы выслеживаем тапира, зверя, чье место, собственно, в миоцене, это больше десяти миллионов лет назад, в то время наши предки еще не спустились с деревьев на землю и не научились ходить на задних ногах. Выслеживаем поразительное существо, которое не вымерло только в двух самых древних областях дождевых лесов на земном шаре: индомалайской и южноамериканской.

Строго говоря, мы охотимся за ним по разным причинам. Моему товарищу нужно мясо, побольше мяса, чтобы он мог расчищать кустарник и сажать кукурузу много дней подряд, не тратя лишнего времени на охоту и рыбную ловлю для прокорма семьи. А мне очень хочется узнать, обычный ли это южноамериканский равнинный тапир или крупный *Tapirella bairdi*, который считается обитателем Центральной Америки, однако доходит до северных предгорий Западных Анд. Во всяком случае, его встречали на Сину. Впрочем, по правде говоря, и я не отказался бы от сочного, мягкого жаркого!

До-чама нагибается и показывает: след вдруг изменил направление. Скупые жесты индейца для меня не менее красноречивы, чем изреченное слово:

— Данда вернулся через водораздел... спустился к истокам Пена... по этому следу нет смысла идти дальше... лучше пойдем напрямик обратно... может быть, нам еще что-нибудь попадетсЯ.

Я одобрительно киваю. Индеец свое дело знает. Слова не нужны. За много лет охоты в обществе смуглых жителей леса я твердо усвоил, что в лесу не положено болтать.

Па-ку-не, лесная женщина, этого не любит, и не стоит без крайней нужды привлекать ее внимание. А то еще приглянется ей охотник, и она навсегда заточит его в своей зеленой обители, если «хай» — дух-хранитель охотника — не сможет дать ей отпор. В чужой монастырь со

своим уставом не ходят. В южноамериканской сельве лучше делать так, как делают индейцы, пусть даже у вас другие побуждения.

Меняем курс и идем вдоль узкого гребня по старой звериной тропе. Ни До-чама, ни я не ходили здесь прежде, но судя по солнцу, этот путь должен привести нас домой. Внезапно тропа кончается, через несколько минут кончается и гребень. Он просто обрывается у наших ног. Некогда здесь был обвал, и вот результат: почти отвесная скальная стенка высотой метров пятьдесят — шестьдесят. Мы останавливаемся над обрывом. Перед нами ложбина. По уступам крутого противоположного склона сбегает ручей, исчезая под зеленым лиственным пологом. Мы глядим сверху на кроны. В ложбине стоят старые высокие деревья, великаны сельвы: воладор, альмендра де монте, чибога. Но больше половины составляют караколи — великолепные деревья, известные науке как *Apacardium excelsum*. Как всегда, караколи увиты и посажены эпифитами, лианами, бромелиевыми и всякой всячиной, имени которой я не знаю. А еще там есть нечто такое, при виде чего я цепенею в благоговейном молчании. Цветущие орхидеи *Cattleya*. Не две-три штуки, к тому же наполовину скрытые в ветвях, как я привык их видеть, а десятки, сотни. И тут же рядом их прекрасные сестры: *Cypripedium*, *Odontoglossum*... О бессилие слов!

Май — месяц новых дождей, месяц ураганов и орхидей. И мне как раз в мае посчастливилось увидеть цветущий лесной полог сверху, каким его видят королевский гриф, и хохлатая гарпия, и белошей сокол. Синяя искрящаяся морфо порхает среди королей цветочного царства в двадцати метрах подо мной.

Мы долго стоим молча. Потом индеец поворачивается и идет обратно вдоль гребня, я следую за ним. Лишь когда мы снова выходим на знакомую тропу, он глядит на меня и говорит:

— Хаи-поно. (Цветы духов.)

И хотя я не верю ни в духов, ни в богов, ни даже в тех кумиров, которых сам сотворил, мне нечего ему возразить.

Километр за километром... Наступает самая знойная и тихая пора, когда вся жизнь замирает. В этот час жарко даже под пологом сельвы. До-чама и я устраиваем привал. Мы нашли водную лиану и напились из нее, но сперва передохнули и остыли немного, а иначе сколько ни пей, все тут же выйдет потом. Теперь сидим на поваленном стволе на краю небольшой речной террасы и ждем, когда спадет зной и животные снова начнут двигаться. Вдоль реки тянется старая тропа, по ней до стойбища можно дойти часа за два. Во второй половине дня больше шансов встретить на этой тропе дичь и вернуться домой с мясом.

Снова мой товарищ обращается к жестам. У него есть предложение. Он думает подняться на гряде и идти вдоль гребня параллельно реке, чтобы поискать на горе обезьян, пока я буду следовать по нижней тропе. Так вдвое больше надежд что-нибудь раздобыть.

Хороший план. Я тихо ударяю кулаком по ладони в знак одобрения. До-чама улыбается; вообще он не из улыбчивых. Потом встает и беззвучно исчезает. Ему идти в два раза больше моего, зато он в отличие от меня наделен умением лесного жителя двигаться так же быстро и бесшумно, как окружающие его тени.

Я выкуриваю самокрутку и тоже трогаюсь в путь. На этой террасе есть солонец, у него почти всегда можно встретить дичь. К солонцу спускается одна из охотничьих тропок индейцев. Собственно, тропы нет, а есть тут и там на ветвях и тонких деревцах старые зарубки. Путь выбирали очень просто, по принципу наименьшего сопротивления, чтобы не надо было пробиваться шаг за шагом, орудуя топором или мачете.

Иду не спеша, время от времени останавливаясь, что-

бы посмотреть и послушать. Ходить медленно и тихо, смотреть в оба и держать ухо востро — одно из первых правил охотника в сельве. Самое трудное здесь — обнаружить дичь, разглядеть зверя в беспокойном смещении зеленого, коричневого, серого. Нередко, первым увидев охотника, зверь попросту затаивается и ждет, пока человек пройдет мимо. Конечно, животные иногда обращаются в бегство — чаще всего когда им кажется, что они обнаружены. Если двигаться тихо-тихо, можно услышать зверя раньше, чем он вас заметит, тогда преимущество на вашей стороне.

Как раз сейчас я слышу что-то. Не стрекот и не ворчание, а нечто среднее. Это токует самец гокко, и он должен быть близко, ведь его странную, негромкую любовную песню слышно в лесной тиши от силы на две сотни шагов. К токующему гокко подбираются примерно так же, как к глухарю. Быстро делаешь два-три длинных шага, пока он «стрекочет», потом застываешь на месте и прислушиваешься.

Выглядываю из-за ствола и на краю поляны вижу птицу. Крупный *Craх alberti*, величиной с глухаря, сидит на горизонтальной ветке метрах в трех от земли, почти как раз над «эль саладо» — солонцом, неровным овалом песчаной почвы, из которого сочится минерализованная вода. Теперь только незаметно подойти к следующему толстому стволу, и цель будет в пределах досягаемости моего ружья. Из этого гокко выйдет хороший обед для всех нас, больших и маленьких. Наконец я у выбранного дерева, выглядываю из-за него, поднимаю трехстволку... и опускаю ее.

У солонца собрались бидо, целое стадо. Бидо — большие белогубые пекари. Они менее распространены, чем маленькие ошейниковые пекари, и предпочитают нетронутые тропические дебри, где их не так тревожат люди. Зато белогубых редко увидишь маленькими группами по шесть — восемь штук, как ходят их меньшие соро-

дичи. Они собираются в стада от десятка до сотни, даже нескольких сотен голов и неустанно рыщут по дебрям в поисках корма. Во время сезона дождей они почти всюду могут найти что-нибудь съедобное: корни, личинок, червей, ящериц, змей, всякую падалицу. Они отъедаются, нагуливают жир, почти как домашние свиньи, и тогда нрав у них совсем миролюбивый.

Другое дело в засушливую пору. С кормом туго, за ним приходится далеко ходить, и бидо редко едят досыта. Белогубые пекари становятся тощими, грязными, неопрятными, и в это время нет в лесу зверя злее. Похоже, они даже превращаются иногда в хищников, во всяком случае, олени и ошейниковые пекари при виде их обращаются в паническое бегство. Но и тогда они сами на человека не нападают, однако готовы дать отпор и сразу идут в атаку, дай только повод. Сейчас, в начале малого дождевого сезона, пекари еще худые и, вероятно, весьма раздражительные.

Очень медленно и очень осторожно делаю несколько шагов в сторону, чтобы получше видеть солонец. Длина прогалины — метров двадцать пять, ширина — двадцать, посередине светлый песок, по краям бурый ил, тут и там серыми пятнами лежат опавшие листья. Возле самого источника яма, в ней купаются несколько пекари. Некоторые развалились в мутной воде, видно только голову и часть спины. Другие стоят во весь рост, пьют, ищут личинок в земле. Бидо по природе ночные бродяги в отличие от ошейниковых пекари, которые активны днем. И сейчас у белогубых часы отдыха.

Стараясь не шуметь, перезаряжаю ружье, заменяю птичью дробь оленьей. Затем проверяю пути к отступлению. Когда стреляешь по белогубым, будь готов к тому, что они могут всем стадом броситься на тебя, и уж тут их ничто не остановит, разве что автоматическое оружие.

Вижу слева ветровал, нагромождение стволов и оборванных лиан, над которым свисает толстый сук. Как

раз то, что мне надо. Почему-то в сельве очень трудно найти удобное для лазания дерево, особенно когда в нём больше всего нуждаешься.

Медленно отхожу в ту сторону и, забывшись, пересекаю поляну так, что меня замечает гокко. Гул жестких крыльев. Птица срывается с дерева и шумно летит над солонцом. Пекари выскакивают из ванны и стоят, подняв голову и наострив уши. Смотрят, принимают. Если я теперь выстрелю, они как пить дать бросятся на меня.

Кто добывает себе пропитание в сельве, всегда должен быть готов схватиться с недовольным медведем или крупной кошкой. Но только глупец попытается отразить атаку стада белогубых пекари.

Шаг за шагом к ветровалу... Оттуда до пекари будет метров сорок, для пули в самый раз, но прежде чем открывать огонь, мне надо подойти шагов на десять — двенадцать поближе к намеченному мной спасительному суку. Подойти так, чтобы свиньи меня не увидели и не учуяли. Их тут много, я вижу штук сорок, да, наверно, в лесу за солонцом еще есть.

Часть пути к ветровалу меня прикрывают молодые деревца, дальше остается метров восемь по открытому месту. Что ж, буду стрелять из-за последнего деревца.

Резкий, пронзительный визг ошеломляет меня. Из кустов что-то выскакивает и мчится прямо на мои ноги. Косматая туша, голова с шелкающими острыми клыками. Приклад трехстволки сам вжимается в плечо, и падающий хряк с шести метров получает заряд в лоб, дробинки даже не успевают рассеяться.

Пекари с ходу делает кувырок и падает, а мои длинные ноги уже несут меня бегом через прогалину. Прыжок на бревно, на другое, одна рука хватается за лиану, вторая за сук, несколько секунд — и я сижу на удобной, надежной развилке в пяти метрах над землей, перезаряжая ружье.

Я вовремя отступил, потому что у солонца — тревога. Хряки воинственно носятся по подлеску, а свиньи и поросята сбились в кучу. Два хряка чуть не спотыкаются о своего подстреленного товарища. С минуту стоят на месте, обнюхивая его и вытекшую из раны кровь. Потом, громко хрюкнув, бегут дальше, словно ищут укрывшегося врага. Судя по тому, что они не берут мой след, ведущий к ветровалу, чутье у них не ахти какое. То, что пекари не видят меня в моем укрытии, менее удивительно: дикие звери редко смотрят вверх, если они сами не древолазы.

Не обнаружат меня — тем лучше! Не то устроят еще настоящую осаду, а мне бы хотелось до ночи вернуться домой с мясом.

Вдруг откуда-то со склона до меня доносятся странные, размеренные звуки. «Тапп-тапп-тапп-тапп, тапп-тапп, тапп-тапп». Четыре-два-два, четыре-два-два. Словно кто-то стучит палкой по сухой вибрирующей ветке. В первую секунду я теряюсь, потом меня осеняет догадка. До-чама услышал мой выстрел и теперь дает мне знать, что находится неподалеку, на случай, если я в нем нуждаюсь. Очевидно, он напал на след стада и идет сюда.

Не спеша прицеливаюсь в самую жирную свинью и всаживаю ей пулю сразу за лопаткой. Сам я, может быть, и не донес бы до дома такую добычу, но мой товарищ До-чама, хоть он мне едва по плечо, не боится никакой ноши, особенно если это мясо. Выстрел действует как повторный сигнал тревоги, но воинственность хряков заметно поумерилась. Наконец пекари собираются вместе и быстро уходят вдоль реки вверх. Возглавляют шествие старые грозные секачи, за ними, с небольшим промежутком, трусят свиньи и поросята.

Пусть идут с миром. Конечно, я бы не прочь присовокупить к моей коллекции череп старого секача, но живя вместе с энгвера, приучаешься убивать не больше того,

что можешь съесть и сберечь, иначе недолго и потерять доброе расположение и дружбу индейцев.

Стадо скрывается в лесу за солонцом. Слышно, как перекликаются свиньи, издавая странные, визгливые звуки. Потом все стихает, но я сижу на своей ветке еще минут десять, прежде чем слезть, подойти к кабану, прислонить ружье к дереву и начать разделку туши. Около солонца До-чама уже потрошит свинью. Из луба махагуа и крепких лиан делаем лямки и взваливаем ноши на спину. Я кладу лямки на плечи, индеец обвязывает их вокруг лба. Начинается долгий и трудный путь домой. За полчаса до заката сбрасываем добычу на берегу возле хижины. Дальше ею займутся женщины. Пока они разрубают и коптят мясо, мы, охотники, можем искупаться.

До чего же славно лежать в чистом теплом ручье, подставляя ласковым струям усталые ноги и ноющие плечи. А потом подняться в свайную хижину, сесть, удобно прислонясь спиной к толстому столбу, и неторопливо выкурить сигару.

Да еще эта добрая душа, Хаи-кари-ума, позаботилась обо мне, сварила кофе. А там и обед готов. Мясо, печень, маниок — все сыты, довольны, день выдался удачный. Но что лучше всего: впереди еще много дней до того часа, когда придет пора мне сказать «до свидания» и отправиться вниз по реке в мир бледнолицых.

РУБЕЖ САВАННЫ

Плот причален лиановой веревкой к торчащей из воды макушке поваленного дерева — могучей сейбы. Река подрыла бровку, на которой стоял великан. Во время сильного ливня несколько лет назад берег обрушился и безжалостно сбросил дерево в разбухший, бушующий поток. И поплыло оно вниз по реке, пока не дошло сю-

да, где в то время простиралась широкая песчаная отмель. Короткие жесткие корни сейбы зарылись в песок, ствол развернулся кроной по течению и застрял здесь, как на якоре. Вторым якорем стал воткнувшийся в дно обломанный толстый сук. Постепенно река нагромодила целую баррикаду вокруг комля, а под кроной вырыла яму. В сезоны дождей, в разлив буйные водовороты тянули и дергали сейбу, в засуху палящее солнце калило части дерева, торчащие над водой. Ствол и ветви слиняли, стали серыми, обветренными. Утром и вечером очковые кайманы и речные черепахи, а иногда и крокодил взбираются на широкое бревно погреться на солнце. Нередко бакланы и змеешейки после утреннего лова рыбы рядами сидят и отдыхают на ветвях и, расправляя крылья, просушивают свое темное оперение. Причудливые пестрые панцирные сомики и тонкие, как лезвие ножа, слизистые крысохвосты, отдаленные родичи электрического угря, нашли приют под кроной, в лабиринте обломанных сучьев и гниющих ветвей, а под комлем поселилась злющая водяная змея *Helicops* с двойным рядом черных пятнышек вдоль темно-серой спины.

С тех пор как сейба застряла здесь, река дважды меняла русло, не считая непрерывных изменений дна и берегов. Однако эти перемены оказались недостаточными для того, чтобы топляк оказался на суше или совсем ушел в песчаное дно. И все же благодаря им отмель переместилась, и ниже излучины появилась глубокая заводь. Тяжелый ствол погрузился еще больше.

Старик на плоту добрался сюда час назад, когда солнце завершало вторую треть пути от зенита до ровного горизонта саванны. Зачалил свое судно за дерево, расстелил на палубе гамак, натянул полог от комаров и принялся удить. Сначала — на маленький крючок с кусочком мяса, чтобы добыть хорошую приманку, потом — на крючок поглубже, наживленный сомиком, у которого удалил шипы спинного и грудных плавников.



И вот клюнул багре бланко, большой плоскоголовый сом, с черными полосами по бокам бледного брюха. Он расстался с водой без сопротивления и превратился на сковороде в «чичаррон де багре». Огонь горит в ящике с песком, нижняя часть которого погружена в воду. Из остатков багре получилась насадка для двух ставных удочек. Потом старик сварил себе котелок кофе и предался созерцанию.

Сколько хватает глаз — никакого жилья. Пастбища, небо да несколько деревьев, еще не павших от топора. И далекие голубые горы. Ястреб на дереве, две цапли на берегу, стайка водорезов, которая проносится мимо, вспенивая воду.

И река. Его река. Могучая, спокойная, от берега до берега два штуцерных выстрела.

Крупная рыба поднимается к поверхности саженьях в двенадцати от плота, лениво изгибается и исчезает, на

миг показав над водой длинный и тонкий плавниковый луч. Но и без него, по типичному движению безошибочно опознаешь большого тарпона. Он поднимался сменить воздух в плавательном пузыре. Стало быть, этот огромный представитель сельдевых все еще доходит сюда, до рубежа саванны. Одно время казалось, что тарпон в этой стране тоже обречен, но теперь появилась надежда спасти его для будущего. Впрочем, это уже другая история.

У нижней излучины, где в широкую реку неторопливо вливается маленький приток, стоят, почти скрытые диким хлопчатником и рицинусом, развалины лахуг. Крыши из пальмовых листьев давно обрушились вместе с источенными термитами гнилыми стропилами. Лишь несколько толстых столбов из твердого, не поддающегося гниению дерева лаурель-комино еще торчат из земли, к ним льнут остатки покосившихся камышовых стен, обмазанных серой известкой. Возле развалин береговой уступ подрыт и срезан рекой. Три дождевых сезона назад он обвалился, и поток унес большую часть того, что было когда-то деревушкой. Поля превратились в пастбища. Там, где некогда десять нищих семей отвоевали у сельвы клочки земли для кукурузы, риса, маниока и бананов, один асьендадо, владелец двадцати тысяч гектаров земли, пасет двадцатка коров и быков.

Лет двадцать назад граница леса еще доходила сюда, до Тьерра-Санта. Но и тогда это был единственный участок, где к реке спускался клин нетронутой сельвы шириной несколько километров. С каждым годом лес оттесняли в горы, и теперь до него десятки километров голой степи. Да и клин сельвы продержался так долго только благодаря затянувшейся тяжбе из-за земли, которую во времена испанской колонизации отняли у индейцев и даровали некоему благородному кабальеро, обязав его сделать из исконных владельцев христиан и

рабов. Покуда длилась тяжба, никто не мог изгнать ни поселенцев, ни лесорубов, раз в год сплавлявших вниз по реке огромные плоты из красной седрелы и других пород драгоценного дерева, которого тут было предостаточно.

А дальше произошло неизбежное. Лес теснили до тех пор, пока он не отступил от деревушки — горстки беспорядочно разбросанных лачуг — на много километров. Когда самые дорогие породы вырубili, тащить к реке бревна и доски стало невыгодным. Лесоторговцы исчезли, и с ними исчезла возможность для поселенцев приработать что-то в неурожайные годы.

Скотоводы выкупили землю у некоторых поселенцев. Вернее, они уплатили только за «улучшения», ведь сама земля, так решил в конце концов суд, теперь принадлежала им. Поля засеяли травой и превратили в пастбища. У бедняков не было никаких бумаг на право владения землей, в которую они вложили столько лет труда и которая успела истощиться без удобрений, не считая участков у самой реки и ее притока, где разливы оставляли немного ила. Как хочешь, так и выкручивайся. Поселенцы были зажаты между владениями скотоводов. Либо получай выкуп и уходи, либо оставайся на своем клочке и перебивайся впроголодь, либо, если ты крепко сидишь в седле и достаточно покорен, иди на службу к богатым вакеро.

Для тех, кто уходил, имелись две дороги: первая — вдгонку за лесом, где их ждало то же, что было в Тьерра-Санта, вторая — в города, где еще не хватало промышленных предприятий, чтобы принять растущее количество сельских жителей, лишенных земли и дома.

Старик на плоту осторожно выколачивает пепел из любимой трубки, потом проверяет удочки. Сомики и крысохвосты съели наживку, придется добывать новую. Живая насадка лучше всего. И вот уже пойманы два подходящих колючих сомика. Теперь осторожно укрепить

их на крючках и забросить в глубокую заводь. Дальше остается только ждать.

Солнце тронуло горизонт на западе, небо — кровь и розы. Мимо проносятся белые цапли, на миг становясь алыми, когда их подкрылья окрашивает вечерний луч. *Вместо ястреба на дереве на берегу сидит маленькая длинноногая пещерная сова из тех, которые гнездятся в норе под заброшенным термитником, где-нибудь повыше, куда не доходит разлив.

Смеркается. Над самой водой носятся большие летучие мыши. Как это ни покажется странно, они ловят рыбу. Их задние ноги оснащены очень большими когтями и соединены с хвостом и между собой кожной складкой, образующей нечто вроде сачка, которым удобно выхватывать из реки мелкую рыбешку. Летят кваквы, чем-то напоминающие огромных ночных бабочек. Скоро и их уже не различить во мраке, только слышны иногда каркающие голоса.

Узкий лунный серп серебряной лодкой висит в небе над рекой и саванной. В преданиях индейцев это пирога, на которой плывут по небосводу духи.

Недалеко от плота по поверхности воды расходится серебристый клин. Старик достает карманный фонарь. Конус электрического света падает на острие клина, и там загорается огонек. Похоже на темно-красный уголек или на тлеющий кончик сигары в темной комнате. Глаз водяной змеи был бы похож на звездочку, глаз очкового каймана — на большой ярко-красный рубин. А вот такой багровый отсвет рождается лишь при встрече электрического луча с глазом крокодила.

Человек на плоту протягивает свободную руку за штуцером, засунутым между узлами. И вот блестящее дуло смотрит туда же, куда направлен круглый фонарик. Серебристая мушка ищет и находит светящийся глаз. Большой палец подает вперед предохранитель, указательный касается курка. Несколько миллиметров, легкий нажим —

и длинная острая пуля устремится к цели со скоростью, в два с половиной раза превышающей скорость звука.

Но выстрела нет. Старый охотник запирает предохранитель и кладет ружье на колени.

Крокодил, убитый в воде, сразу тонет и всплывает под действием газов обычно лишь на следующий день.* Поди угадай, где именно он всплывет, в скольких километрах ниже по течению. Чаше всего тушу находишь, уже когда полным ходом идет разложение и над ней трудятся стервятники. Большой крокодил становится редкостью, кое-где он совсем истреблен, поговаривают о том, чтобы запретить охоту на него. Так зачем убивать животное, от которого тебе все равно никакого проку. Другое дело, если бы он напал.

Крокодилы этой реки всегда пользовались дурной славой. Тридцать лет назад люди не решались вечером спускаться к реке, чтобы умыться. Это считалось опасным для жизни — и не без оснований. Даже двадцать лет назад тут еще водились очень крупные экземпляры, и тогда никто не отважился бы спать на плоту.

Теперь острорылых крокодилов стало так мало, что их стараются не трогать; да и кайманов заметно поубавилось.

Луч фонарика провожает красный глаз вниз по реке, пока уголек не тонет в следующей заводи. Старик кладет на место фонарь и ружье и раскуривает свою трубку. Потом сидит и смотрит на звездный бал светлячков над хлопчатником у развалин деревни Тьерра-Санта. Когда-то он здесь гостил. Тогда около деревни проходила конная тропа, и Мануэла Санчес сдавала койки проезжим. Мануэла Санчес и Паблито.

ПАБЛИТО

Педро Санчес появился в Тьерра-Санта в конце Второй мировой войны. Прежде он работал в приморье, в

пакгаузах Ковеньяса, куда пригоняли со всей саванны скот для вывоза в воюющие страны. Усердный человек мог там неплохо заработать, и Педро прилежно трудился и копил деньги.

У него была мечта жизни: хуторок. Небольшое, но свое хозяйство, которое после него достанется сыну. Об асьенде он и не помышлял, в первом поколении без стартового капитала это просто неосуществимо. А вот добротный дом и немного скота, чтобы семья жила прилично и не знала голода, чтобы не было так, что только-только концы с концами сводишь, — это представлялось ему вполне возможным. И будет хоть какое-то наследство первенцу, Паблито.

А война подходила к концу, и в один прекрасный день Педро оказался без работы. Фирма перестраивалась. Педро и его жена устроили совет. Потом забрали свое имущество и отправились к рубежу саванны, поближе к сельве, где еще можно было обзавестись клочком земли без денег.

В Тьерра-Санта у Педро был дядя, Гумерсиндо, которого он не видел много лет. Естественно, он туда и поехал вместе с женой и сынишкой. Если дядя хорошо обеспечен, глядишь, и поможет племяннику на первых порах, в крайнем случае хотя бы посоветует, где лучше обосноваться. И они на самом деле застали старика Гумерсиндо Санчеса в Тьерра-Санта, в ветхой лачуге на берегу реки. Его первая жена умерла много лет назад, а когда он снова женился, дочь и оба сына ушли от него, крепко повздорив с мачехой. Года через два вторая жена тоже ушла к мужчине помоложе, захватив с собой из вещей Гумерсиндо все, что могла унести. Хозяин не мог ей помешать, он лежал без памяти в приступе малярии.

Теперь старик Гумерсиндо почти все время проводил на реке, сидел и ловил рыбу, а его полями завладели сорняки. Работать мотыгой, лопатой и мачете старик

больше не мог. Иной раз и возьмется, но кончалось это всегда одинаково: у него начинала кружиться голова, и он шел в тень отдыхать. Гумерсиндо попросту изнемог от хронической малярии и частого недоедания с детских лет.

Некому было доглядеть за его нехитрым хозяйством. Одна рыба из реки да кусок-другой волокнистого маниока с огорода — вот уже и целый пир, такое он не каждый день мог себе позволить. В особо торжественных случаях Гумерсиндо удавалось выменять на сома покрупнее две горсти соли или несколько листьев табака, из которого он дрожащими руками скручивал маленькие корявые сигары калилья. Свою латаную-перелатаную одежонку он сам стирал в реке с мыльным корнем, что рос на песке у притока. Обувь он уже много лет не носил.

Так обстояли дела, когда Педро, племянник, явился сюда со своей семьей — женой Мануэлой и годовалым сынишкой Паблито, который висел, закутанный в тряпку, на материнской спине. Мануэла несла на голове большущий узел: циновки, полог от комаров, одежду. Остальное имущество лежало в заплечной корзине отца семейства. Да еще топор на плече и длинный мачете в самодельных ножнах.

Сосед Гумерсиндо привел их к пустой лачуге. Старик, как обычно, ушел на реку. Мануэла села на старую, надтреснутую ступу для кукурузы и дала мальчугану грудь — у жителей саванны принято кормить детей грудью до двухлетнего возраста, — а Педро пошел искать дядюшку. Вскоре мужчины вернулись, правда, без рыбы, но это теперь не играло роли. Молодые привезли с собой сушеного мяса, соли, кофе, два килограмма желтого сахара и многое другое.

Мануэла подвесила гамачок Пабло, затем не мешкая принялась убирать и стряпать. В старой развалюхе, где много лет никто не наводил порядка, словно вихрь

закружился. Потом она пригласила мужчин к столу, и старик Гумерсиндо увидел такую роскошь, о какой давно уже и не мечтал. Суп, мясо, рис, кофе с сахаром... Ему казалось, что он вдруг очутился в царстве небесном.

На следующий день Гумерсиндо повел Педро смотреть участок. Племянник без лишних слов пустил в ход свой длинный мачете и проработал до самого заката. Через два дня земля дядюшки была расчищена, деревца и кусты срублены, заготовлено дров на несколько дней. Педро притащил во двор сухих бревен, разрубил и расколол их топором. Утром третьего дня Педро отправился на разведку в лес. Уже в полутора километрах от деревни стеной высилась сельва, здесь еще хватало места и можно было найти неистощенную почву. Педро разметил подходящий участок, прилегающий к одному из полей Гумерсиндо, и приступил к работе. Было самое благоприятное время года, только что кончились дожди, лес вдоль опушки уже начал подсыхать.

Сперва предстояла «соколада». Другими словами, надо было срубить весь подлесок — молодые деревца, папоротники, лианы и прочее, что составляет нижний ярус сельвы.

Расчистив всю площадь между высокими деревьями, Педро взялся за них. С утра до вечера его топор стучал по подножиям лесных великанов. Это тяжелый труд, он требует немалых усилий. Педро рубил и рубил, обливаясь потом. Попьет воды с желтым сахаром и снова рубит. Он знал толк в этом деле, не валил подряд дерево за деревом. Надрубит до половины или побольше; даст подсохнуть на корню несколько дней, а уж потом берется за ключевое дерево — такое, которое в падении может захватить с собой десяток других. Тут надо действовать с умом: ключевое дерево валить на подрубленного соседа, чтобы они вместе упали на третье дерево, и так далее. Смотришь, и рухнул весь лес на площади в четверть гектара.

В тот год выдалась долгая засуха. Педро расчистил около трех гектаров и оставил сохнуть срубленные стволы, чтобы сжечь их перед самым началом дождей.

Пришел срок, когда он больше не решался валить лес: ведь если стволы не успеют высохнуть раньше дождевого сезона — вся работа насмарку. Но дел хватало, он срубил всю молодую поросль, которая успела подняться на старых участках, и принялся заготавливать материал для нового дома.

Крепкие угловые столбы из лаурель-комино с такой твердой древесиной, что топор еле берет, промежуточные столбы из черного древовидного папоротника, стропила и балки из ароматной коричневатой седрелы. Не счесть, сколько охапок листьев стройной «пальма амарга» ушло на кровлю, сколько лиан было потрачено на вязку, но Педро весело трудился от зари до зари. Мануэла охотно помогала ему носить листья, сплести лианы, не отказывалась и от другой, посильной для нее работы. Разумеется, надо было думать и о сегодняшнем дне, чем-то кормить семью. Правда, Мануэла выкопала на старых полях немного маниока и бататов, а старик Гумерсиндо прилежно ловил рыбу, но этого не хватало. И Педро приходилось не меньше двух дней в неделю работать с артелью лесорубов, которые поднялись по реке из соседнего селения, чтобы заготовить бревен, напилить досок из седрелы и ногаля и сплавить все это вниз, когда начнет прибывать вода.

Доски пилили вручную. Обопрут бревно седрелы одним концом на помост из толстых жердей, один человек станет на бревно, другой — на землю под ним, и тянут длинную пилу. Работа была сдельная, платили с дюжины досок, и слаженные, опытные пильщики могли за день осилить и тройную норму.

Первым напарником Педро был Гуальберто, чернокожий парень из Чоко на берегу Тихого океана. Работник хоть куда, но и выпивоха изрядный. С субботы до

вторника от него не было проку. Все эти дни он по большей части спал, а Педро тем временем корпел на своей расчистке или на постройке дома. Он-то вел умеренную жизнь, ради своей мечты во всем себе отказывал, ни гроша не тратил на спиртное. И Педро начал присматривать себе другого напарника.

Это было не так-то просто. Пильщики, как и старатели в горах, отгородившись от нужды несколькими ассигнациями, сразу чувствовали себя богачами и ударялись в запой.

Им не давал покоя голод. Не острый голод, который может удовлетворить плотная трапеза или женщина, а голод скрытый, неотступный, рожденный многолетней нехваткой белка и витаминов. Им упорно чего-то не доставало, они редко ощущали полное довольство. К концу напряженной трудовой недели тайный голод организма все сильнее давал себя знать, и они пытались утолить его алкоголем. А уж как начнут пить, не успокоятся, пока хмель не перейдет в беспамятство.

Педро жилось лучше, чем другим. Мануэла умела готовить и не пренебрегала зеленью. Выращивала лук, помидоры и разные приправы на маленьких грядках около лачуги, на полях Гумерсиндо собирала папайю и маленькие зеленые лимоны. В свободные часы она тоже прирабатывала — стирала лесорубам, иногда стряпала для них, а на вырученные деньги покупала кур и петушков. Яйца большей частью продавала, но иногда и мужу перепадало яйцо к рису и маниоку.

Подобно большинству метисок, Мануэла была прилежная труженица. От природы молчаливая, с виду даже замкнутая, она, однако, унаследовала мягкое индейское чувство юмора, и на ее улыбку было радостно смотреть.

Педро был квартерон. Во всяком случае, в его жилах текло больше европейской, чем африканской крови, да еще, вероятно, несколько капель индейской. Когда три

расы смешиваются без разбору несколько десятков лет подряд, не сразу поймешь, что получилось. Невообразимая смесь генов уже породила новый тип, который постепенно выкристаллизовывается все отчетливее. Педро смеялся чаще, чем жена, возможно, унаследовал что-то от легкого нрава приморских негров, но в глубине души был достаточно настойчивым и серьезным. Уж если решит что-нибудь, будет упрямо, неуклонно добиваться своего.

С началом сезона дождей пришел конец дополнительным заработкам. Лесорубы ушли вниз по реке на огромных плотках. К тому времени Педро завершил подсечку, да и в дом в общем-то можно было въезжать. Большая, вместительная постройка возникла между рекой и притоком на бугре, возвышающемся на несколько метров над равниной, на которой сгрудилась деревушка.

Педро раздобыл лопату и окопал дом канавой, чтобы был сток для дождевой воды, потом принялся рубить осоку для стен. Каркас и крышу он уже соорудил, только стен настоящих еще не было, одни перегородки из бамбуковой щепы. Два закутка: один — для молодых, второй — для Гумерсиндо. Нары из пальмовых жердей. В остальном постройка была открыта всем ветрам, но это дело поправимое, было бы время. Сперва очаг надо огородить двумя стенками, а там и дальше пойдет. Если достанет времени и сил, можно даже соорудить отдельно маленькую кухню в стороне от дома, все-таки меньше опасность пожара. Но это дело не срочное. О том, чтобы настилать пол, никто и не помышлял. Деревянный пол — это же уйма работы, и ведь не успеешь оглянуться, как заведутся мыши да крысы, не говоря уже о скорпионах и пагокильях, маленьких курносых, плоскоголовых гадюках, больших охотниц до мышей. Можно, конечно, сделать цементный пол, но это для «лос рикос» — толстосумов. Педро и Мануэлу земляной пол вполне устраивал.

Куда важнее подготовить насесты для кур и загоны для свиней, которых они собирались завести, как только будет корм для домашней живности. У Педро еще сохранилась большая часть сбережений из Ковеньяса. Этих денег должно было хватить и на поросят, и на рабочий инструмент. Но прежде всего надо было отсеяться. Как только пошли всерьез дожди, Педро и Мануэла посадили кукурузу и рис, не нуждающийся в затоплении. Происходило это так. Муж шел впереди и делал острой палкой ямочки в земле, жена следовала за ним и клала в каждую ямку по несколько зерен. Перед этим кукуруза ночь пролежала в мокрых свертках из листьев бихао, что ускоряет ее прорастание. Так предки Мануэлы сажали кукурузу тысячи лет до прихода белого человека, и колонисты не видели нужды что-либо изменять. Пожалуй, они просто не представляли себе, что могут быть другие способы.

Возможно, они слышали про машины для посева и уборки и про иные нововведения, но не приняли эти слухи всерьез. Машины стоят больших денег, только богатые могут себе позволить такой расход, беднякам он не по карману. К тому же в глубине души они считали, что смысл всех новинок в том и заключается, чтобы сделать богатых еще богаче, а бедных — беднее.

Отсеявшись, Педро начал сажать бананы. Он еще раз расчистил старый участок Гумерсиндо, все равно от него было мало проку, и выкопал ряды гнезд в трех метрах друг от друга. Один из соседей дал ему двести саженцев, а Педро обещал отработать. Вскоре все саженцы выстроились в аккуратные шеренги. Пройдет год — и можно собирать крупные твердые платанос, пригодные для варки и жарки.

Обычные съедобные бананы ямайского типа не пользовались любовью жителей саванны, которые называли их «киниентос». Почему-то их здесь считали вредными, особенно сырые, и предпочитали печь или варить незрелыми, как мучные бананы.

Пока что все шло хорошо, однако Педро этого было мало. Как только кукуруза дала ростки, он посадил между ними фасоль, как обычную коричневую «фрихоле», так и лимскую «хаба». У индейцев исстари было заведено для улучшения почвы сажать фасоль вперемежку с кукурузой. Сверх того он посадил маниок, яме и батат. У Педро была легкая рука, все посаженное и посеянное шло в рост. К сожалению, не одно. Лес все время пытался отвоевать потерянное. Что ни день, пробивалась поросль кустарников, деревьев и всевозможные сорняки, как будто они сознательно вознамерились задушить молодые культурные растеньица. Поселенец знал лишь одно средство борьбы с сорняками: мачете. Знай руби с утра до вечера, пока твои зеленые питомцы не подрастут настолько, что смогут сами управиться с большинством дикарей.

Решив эту задачу на своих участках, Педро перешел на поля соседей и вскоре рассчитался за двести банановых саженцев. Соседи на первых порах присматривались к новичку, но быстро убедились, что он и его жена люди славные и работающие; правда, кое-кто немножко завидовал энергии молодого поселенца.

Кончился малый сезон дождей, его сменила «веронильо» — малая засуха, скупые на осадки недели июля и августа. А когда пошли большие дожди, у нового дома уже были готовы две стены из длинных, толщиной в большой палец, стеблей осоки, да и третья стена наметилась.

И можно было собирать молодую кукурузу, чокло, сладкие зерна которой — подлинная отрада для жителей саванны. Четверо обитателей домика сразу ощутили прилив свежих сил, отведав плоды своего первого урожая.

Паблито ел, рос и набирался сил; да он и прежде не был хилым. Здоровый, достаточно упитанный мальчуган, он почти всегда был веселым и добрым. Обычные детские болезни его миновали, он даже малярией не бо-

лел, потому что Мануэла по вечерам прятала его от комаров под полог.

Зато старик Гумерсиндо заметно сдавал. Когда позволяли силы, он с утра пораньше отправлялся на реку со своими удочками, но силы позволяли все реже, и это его мучило. Ему так хотелось помочь молодым, которые пеклись о нем, кормили его, снабжали табаком, стелили ему чистую постель. Мануэла стирала и чинила его тряпье, ставила все новые пестрые заплаты, и в конце концов никто уже не мог определить, какого цвета были первоначально его рубашка и брюки.

Педро и сам в будни носил латаную одежду, но у него хоть имелся аккуратный, чистый выходной костюм для национального праздника и иных торжественных случаев. У старика осталось лишь то, в чем он ходил. Но он не жаловался. Старый бедняк, который больше не может как следует трудиться, должен быть рад каждому куску, каждой ночи, проведенной под крышей. Но душа болела, стыд его терзал. Поэтому Гумерсиндо чурался всяких праздников. Хватит мочи дотащиться до реки — хорошо, нет — сидит на своей кровати. Услышит, что кто-то идет, скорей забирается под истрепанный полог и делает вид, будто спит.

В один прекрасный день Педро купил себе место на большой грузовой лодке и повез в соседнее селение четыре мешка кукурузы. Вернулся он через несколько дней, и сам помогал толкать шестом лодку против течения, чтобы оплатить перевоз своих свертков. Он истратил все деньги, вырученные за кукурузу, и большую часть сбережений из Ковеньяса, но не выбросил их на ветер.

Мешок соли, мешок комковатого желтого сахара и множество других приобретений, главным образом семена и саженцы. Сахарный тростник, кофейные саженцы, бобы какао, два молодых апельсиновых деревца. Два поросенка, петух, шесть кур. Два рабочих маче-

те, лопата, кирка, топор, два стальных наконечника для копалок. Жестяная керосиновая лампа. Свиное сало для жарки. Материал на платье, ножницы, иголки, две катушки ниток и дешевые бусы из цветного стекла для Мануэлы. Фуражка для Паблито. Не был обойден и Гумерсиндо. Он получил рыболовные крючки, проволочные поводки, леску, сигарный табак, спички и самое главное — рубаху и брюки. Одежда была дешевая, из грубого материала, зато чистая и целая. Совсем новая!

На следующее утро, пока Педро и Мануэла, чувствуя себя богачами, хлопотали по хозяйству и размещали домашних животных, старик побрел к реке удить рыбу. Одет он был, как обычно, в старое тряпье, но удил новой дорогой снастью.

Подошел час обеда, Мануэла приготовила рис и кукурузный кулеш. Поджарить на второе сушеной говядины, которую муж привез вчера? Или, может быть, старик что-нибудь добыл? Да нет, вряд ли, а то бы уже пришел домой.

— Педро! — крикнула она мужу, который укреплял загон для свиней. — Спустился бы к реке, посмотрел, может, твой дядя что-нибудь поймал?

Педро снял на землю оседлавшего старую ступу Паблито, который не расставался с новой фуражкой, и отправился к любимому месту Гумерсиндо. А вот и он сидит в тени под лимой на берегу. Видно, с клевом все в порядке, вон как леска натянулась. Но почему он ее не вытаскивает? Педро поспешил к старику.

Гумерсиндо обмотал конец лесы вокруг дерева и крепко держал ее. У него было какое-то напряженное бледное лицо.

— Тяни-ка ты, племянничек, — сказал он слабым голосом. — Мне с ней не справиться, уж больно велика. Багре пинтадо. Только ты осторожно, чтобы не сорвалась.

Педро Санчес взялся за лесу и начал ее выбирать. Это было не так-то легко, приходилось порой немного отпустить, но в конце концов он все же вытянул на траву здорового полосатого сома и колотил его по голове тупой стороной мачете, пока сом не перестал биться.

— Вот это рыбина! — радостно улыбнулся Педро. — Ну дядя, ну молодчина!

Старик Гумерсиндо приосанился.

— Сколько я помню, такого багре в нашей деревне не видали, — сказал он. — А как с солью, Педро, хватит, чтобы засолить и засушить то, чего сразу не съедим?

— Есть соль, целый мешок. Но что за рыба, клянусь небом! Да она подлиннее вас будет, дядя, и весом не меньше. Ладно, пошли домой, пусть Мануэла зажарит нам к рису чичаррон де багре.

Они просунули палку через жабы великана и поволокли его домой, и вся деревня собралась посмотреть,



когда разделявали сома, и каждый получил по куску на пробу. Альваро Перес, деревенский торговец, мечтал об ухе и предложил за голову бутылку рома из своих запасов.

— Вообще-то я спиртного не потребляю, да и племянник его не жалуется, — ответил Гумерсиндо. — Но для такого случая можно сделать исключение. Неси уж сразу две бутылки, дружище Альваро. За вторую я заплачу деньгами.

Едва Перес ушел, как старик побрел в свою старую лачугу и начал копаться в одном из углов. Через некоторое время он вернулся с небольшим глиняным горшком. Крышка была замазана смолой. Гумерсиндо откупорил горшок и показал свое сокровище. Всевозможные старые монеты, большинство — прошлого века. Тяжелые серебряные полпесо, монетки в два с половиной сентаво времен Новой Гренады, даже один испанский реал. В общем и целом доллара на три, хотя какой-нибудь нумизмат, возможно, дал бы и больше.

Гумерсиндо отсчитал деньги за ром торговцу и отложил их в карман, а остальное протянул Педро.

— Пусть лучше они хранятся у тебя, племянничек, — сказал он. — Это на велорио — мои поминки.

Потом он отделил серебряную испанскую монету и добавил:

— Кроме этой, она самая ценная, мне сам патер сказал. Ее получит Паблито на счастье.

Пришел Альваро Перес с бутылками, старик расплатился с ним, потом спустился к реке, искупался и вернулся, одетый во все новое.

Семья уселась на новой скамье около дома и воздала должное рису и жареному багре, а после праздничного обеда Гумерсиндо поднес Педро и Мануэле рома. Окончив трапезу, старик отправился в свой закуток, чувствуя себя богачом, который может позволить себе и побездельничать. Близилось время ужина, когда Мануэла по-

шла будить старика. Через секунду она вернулась белая, как простыня.

— Пойди сюда, Педро! — позвала она.

Педро посадил на землю Паблито и вошел в дом следом за женой. Гумерсиндо Санчес лежал на кровати совсем неподвижно, в новой рубашке, в новых брюках. Он навсегда расстался со своими старыми лохмотьями.

Жители Тьерра-Санта устроили старику Гумерсиндо достойные поминки. Ведь он сам поймал рыбу и купил ром, было чем потчевать гостей. Возможно, он с этой мыслью и умер, потому что на лице покойного была улыбка. Старика похоронили на горке у реки. Педро сколотил бальсовый крест на могилу. И жизнь в Тьерра-Санта потекла дальше своим чередом.

Наступила засуха, и снова появились лесорубы, но теперь Педро редко с ними работал, он все силы обратил на то, чтобы расчистить еще земли. Он мог себе это позволить, собрав добрый урожай кукурузы и риса и зная, что все остальное, посаженное им, растет на славу. Если и дальше так пойдет, года через два он будет неплохо обеспечен на местную мерку. Будет вдоволь еды для семьи, вдоволь кукурузы и бананов для откорма свиней, возможно, рис на продажу и пастбища для одной-двух коров, чтобы обеспечить молоком детей — Паблито и следующего.

Мануэла с трудом справлялась со всеми своими делами, она ждала второго малыша к концу засухи. Ни она, ни ее муж не разбирались в тонкостях ограничения рождаемости. Они знали только, что священники осуждают это и называют смертным грехом. У большинства колонос семья прибывала каждый год, но до одной трети детей умирало в младенчестве.

В деревне прошел слух, что наконец-то вынесено решение по тяжбе о земле. Один проезжий сказал об этом Альварито Пересу. Дескать, на двери алькальда в ближайшем городе, до которого было полтора ста километров

ров, висело объявление о том, что «всякий, претендующий на какие-либо права в пределах спорного района» должен в такой-то срок явиться в земельный суд, чтобы подтвердить обоснованность своих претензий. Когда об этом узнали жители Тьерра-Санта, срок подачи заявлений давно истек. И теперь богатый асьендадо, дон Антонио Ольмос, считался законным владельцем всех земель на той стороне реки, где помещалась деревня, на три километра вверх и вниз от устья притока.

Поселенцы не придали этому большого значения. Они знали, что есть особое постановление, так называемый закон Лопеса, по которому преимущественное право на землю принадлежало тому, кто ее первым расчистил. И продолжали, как ни в чем не бывало, расширять свои участки.

Педро Санчес был занят соколадой. Начав на краю прошлогодней расчистки, он углублялся в лес. В этом году он задумал сделать упор на рис, заметно выросший в цене за последние месяцы. Кроме того, на одном из старых полей посадит сахарный тростник и смастерит из дерева трапиче — примитивный сахарный пресс. Сироп очень пригодится в хозяйстве: если Педро получит хорошую цену за свиней, выкормленных на кукурузе, он сможет, пожалуй, купить котел и формочки и варить свой желтый сахар.

На этом он немало выиграет. Глядишь, станет производить сахар на продажу, только бы времени на все хватило.

Снова и снова он жалел о том, что у него нет второй пары рук. Один он никак не управлялся со всем, что хотелось сделать. Скорей бы Паблито подрастал. А может, и еще сыновья будут... Вдруг Педро опустил мачете и вслушался. Где-то поблизости, от силы сто шагов, в лесу застучал топор. За ним второй... третий... четвертый... еще и еще, и вот уже по всему лесу гул идет.

Минуты две он прислушивался, определяя, откуда

доносится звук. Потом быстро зашагал в ту сторону. Неужели лесорубы нагрянули? Поселенцы никогда не переходили друг другу дорогу, особенно если сосед загодя отметил новый участок зарубками.

Длинная цепочка рубшиков валила лес на той самой делянке, к которой он собирался приступить, только руки еще не дошли. Цепочка начиналась справа у пастбищ и терялась слева в глубине леса. Ух ты, сколько их, человек пятьдесят, не меньше, на полкилометра с лишком растянулись. Среди них преобладали индейцы племени тучин, коренастые черноволосые парни, добрые лесорубы, которые нередко заключали своего рода коллективный договор на большие расчистки. Были тут и поденщики с асьенды дона Антонио. Все деревья кругом помечены чужими мачете, от его собственных зарубок не осталось и следа. Сам дон Антонио и его управитель, дон Марио Гутьеррес, ходили вдоль цепочки, наблюдая за работой. Глядя на эту картину, Педро крепче сжал рукоятку мачете своей натруженной рукой.

Он тотчас смекнул, что из сего следует. Конец его надеждам расширить свои поля в этом направлении. Рубшики дона Антонио расчищали не для посевов, а для пастбища. Поле может «устать», тогда его на время оставляют, оно зарастает кустарником, превращается в растрохо, и спустя несколько лет поселенец имеет право расчистить делянку заново. А то, что расчищено под пастбище, потеряно для земледелия. Так уж повелось в саванне.

Пока он трудится тут повседневно, незваные гости, скорее всего, не тронут его соколады, но на следующий год ему уже не на что рассчитывать, да и в этом году придется ограничить свой замах половиной того, что наметал. Может быть, еще удастся немного расширить поле, двигаясь влево, в сторону соседских участков, если только его опять не опередят. Но там много не возьмешь. Его обложили. Скоро там, где он сейчас стоит, протянется

колючая проволока, ограждая с одной стороны скот, с другой — земледельцев-бедняков. Педро даже не пытался протестовать. Он знал, что от этого ничего не будет, кроме новых унижений.

Дон Марио заметил его между деревьями и окликнул.

— Что, работы ищешь? — спросил он. — Говорят про тебя, что ты добрый рубщик. Дон Антонио платит одно песо в день, и харч будет, а впрочем, такой работник, как ты, может рассчитывать на песо с четвертью.

Педро покачал головой:

— Я теперь для себя расчищаю. Когда помогаю пильщикам, зарабатываю в день три-четыре песо.

Толстый румяный дон Антонио вмешался в разговор.

— А ты несговорчивый, — улыбнулся он. — Уважаю мужчин, знающих себе цену. Надумаешь продавать свое хозяйство, приходи, о цене сговоримся.

— Потолкуем, когда время придет, дон Антонио, — ответил Педро.

С этими словами он повернулся к асьендадо спиной и зашагал обратно. Надо будет поднажать, чтобы не потерять больше того, что у него уже перехватили. Вообще-то ему полагалось еще с неделю заниматься соколадой, но, что поделаешь, придется валить большие деревья сразу, без предварительной расчистки подлеска.

И на следующий день Педро начал у самого края будущего пастбища, так что только один ряд деревьев разделял его участок и делянку скотовода.

Весь день он не разгибал спины, а вечером обошел соседей, поговорил с ними.

Когда дон Антонио через неделю прислал человека к Карлосу Бенитесу, замыслив купить растрохо у притока, оказалось, что его опередили. Педро Санчес уже взял тремя днями раньше этот участок, вдающийся клином между другими полями, и нанял сыновей Альберто Мехиа, чтобы они начали там расчищать, пока сам Педро продолжает валку леса.

Так повторилось еще раза два. В воздухе запахло грозой. Симпатии деревни были в общем-то на стороне Педро — как-никак свой, — и, если он опережал своего могучего соперника с предложением, участок доставался ему. Потратив все наличные и исчерпав кредит, Педро приобрел достаточно земли, чтобы выдержать первый натиск, а может быть, и второй. Соседи шли ему навстречу. Растрохо вдовы Васкес, заросшее так сильно, что там предстояло поработать топором, досталось Педро Санчесу всего за десять песо и четвертую часть первого урожая.

Для лесорубов и пильщиков год выдался неудачный. Задолго до конца засухи весь стоящий лес был срублен и доставлен к реке. Хочешь взять что-то на расчистках дона Антонио — плати. И ведь еще сколько помучаешься, пока там выберешь хорошие бревна и наладишь распилку. Весь лес срублен подряд, лежит сплошной огромный завал высотой в несколько метров, разбери-ка эти бирюльки...

Многие лесорубы оказались без работы. Кое-кто предпочел наняться к Педро за небольшую плату и харчи, другие пошли в бригаду рубщиков дона Антонио. Чтобы было, чем платить рабочим, Педро запродавал часть будущего урожая риса торговцу Альварито Пересу. Невыгодная сделка, но он не видел другого выхода. Как-то надо отстаивать свою самостоятельность и будущее детей.

Двое соседей в меру сил последовали примеру Педро, понемногу приращивая свои участки. Другие продали права дону Антонио и ушли; покинули деревню и те, которые уступили свое хозяйство Педро. Все чувствовали, что рано или поздно дойдет до решающего поединка, и никто не сомневался в исходе. У кого больше капитала, тот и возьмет верх.

И вот наступил день, когда Педро Санчес должен был закончить валку больших деревьев на своей де-

лянке. Остался лишь клин, упирающийся острием в землю дона Антонио. На острие стояло ключевое дерево, дальше клин расширялся, окаймленный беспорядочными грудями срубленных стволов. Все оставшиеся деревья были подрублены, ключевое тоже подготовлено.

Осторожно углубляя последнюю зарубку, Педро улыбался про себя: вовремя спохватился. Конкуренты явно покушались на его рубежи, об этом говорили следы чужого топора на некоторых пограничных деревьях. Да пришлось им отступить, когда увидели, сколько он уже успел сделать.

Острый топор отсекал от мягкого ствола караколи широкие белые щепки. Могучий ствол вздрогнул, и несколько полузавядших эпифитов, оторвавшись от кроны, медленно опустились на обнаженную бурую лесную почву. Педро Санчес глянул вверх. Вот-вот пойдет. Теперь только посматривай, чтобы вовремя отскочить в сторону. Он стер пот со лба волосатой рукой и снова взмахнул топором. Последнее большое дерево в этом году... Ствол опять вздрогнул, на этот раз сильнее. Взгляд на крону... Пошло? Нет? Два-три быстрых удара топором, дерево била дрожь, еще удар-другой, топор едва не зажал, но Педро вовремя выдернул его и отошел назад.

ТРРРААХ!!

Дерево качнулось, словно могучая башня, почему-то на миг задержалось и наконец устремилось к земле с оглушительным грохотом, сметая все на своем пути. Отступая назад, Педро вдруг слышал, что за его спиной тоже вроде бы что-то трещит. Он удивленно повернул голову, посмотрел вверх и увидел одну вещь, которой не было вчера. Толстая лиана, словно туго натянутый трос, соединяла караколи с высоченным альмендро дель монте... это дерево тоже было подрублено... и теперь тоже падало... прямо на него... серебристый ствол, залитые солнцем разлапистые ветви...

Это было последнее, что он видел.

Когда парни Мехиа нашли его, им пришлось два часа крепко поработать топорами, чтобы добраться до расплющенного тела. На следующий день Педро Санчеса похоронили рядом с Гумерсиндо, и в тот же день, почти за два месяца до срока, Мануэла родила двойню, двух девочек. Петрона и трех недель не прожила, Хуанита оказалась покрепче.

Через два-три дня Мануэла уже полным ходом трудилась по хозяйству. Дел хватало, и надо было со всеми рассчитаться теперь, когда пришел конец замыслам Педро. Каждый получил то, что ему причиталось. А семье остался дом, утварь, домашние животные, участок под бананами, да еще несколько клочков земли, с которыми Мануэла надеялась справиться. Вот и все наследство, доставшееся ей и детям — Паблито и Хуаните.

К счастью, голод им пока не угрожал, вот только с девочкой беда, очень уж болезненная и тощая. Мануэла испробовала всякие травы и настои, а вдова Васкес намазала крохотное тельце Хуаниты куриным жиром и прочла магические формулы, которым ее научила мать, но толку было мало. Хуанита оставалась такой же хилой. В конце концов Мануэла решила съездить в город и посоветоваться с настоящим «медико». Заодно продаст двух жирных свиней и десять гроздей бананов и попросит патера отслужить обедню по Педро и умершей крошке.

Она заплатила Альварито за место в его грузовой лодке и отправилась в путь с детьми, свиньями и бананами. Старушка Васкес обещала присмотреть за домом и курами.

На рынке спор о ценах затянулся надолго, но в конце концов Мануэла продала и свиней, и бананы, после чего пошла к врачу. Это был, собственно, не врач, а фармацевт, который открыл аптеку в городишке, а заодно и практикой занимался: сам прописывал лекарства и сам

же их отпускал. Так уж здесь было заведено, и жители саванны не замечали никакой разницы, тем более что до ближайшего конкурента, настоящего врача, было несколько дней пути.

Мануэла купила «электрического масла», чтобы мазать им свою дочурку, и «укрепляющих капель», которые надлежало добавлять в еду. На лекарства ушло около трети денег, вырученных за свиней, почти все остальное взял патер за то, что окрестил Хуаниту, повесил ей на шею священный кусочек алюминия и обещал отслужить обедню по Педро. Для Петроны он ничего не мог сделать, ведь она умерла некрещеная.

Управившись со всеми делами, Мануэла пошла в лавку, чтобы купить материал на рубаху для Паблито. Парню четвертый год, сколько можно нагишом бегать. Выбрать материю было несложно, и Мануэла уже собралась уходить, когда увидела на полке сухое молоко. Она спросила, сколько стоит банка. Цена оказалась немалой, но, поторговавшись, она все-таки купила молоко и уложила в свой узелок.

— Зря ты взяла это зелье, — сказала ей одна женщина из очереди. — Это же ядовитое молоко, его злые гринго присылают, чтобы нас погубить.

— Вот как, а я и не знала, — ответила Мануэла; в Ковеньясе она часто покупала сухое молоко.

— Точно, — продолжала женщина. — Сюда пришел пароход, привез кучу больших пакетов с надписью «КАРЕ». В них было сухое молоко, сыр, мука и всякая другая протестантская еда. Хорошо, что патер Фелипе и монахини знали, какая это скверна, и спасли нас от отравления. Дон Антонио и другие богачи взяли себе почти все и переправили своим родным в соседнем городе.

— Вот как, — опять сказала Мануэла, — значит, для них сухое молоко и сыр не ядовиты?

— Откуда мне знать. Может быть, они скормили протестантскую еду своим собакам и свиньям. А ты разве не

слышала про бедняг, которые ездили в Ковеньяс и работали там у гринго? Их подбили есть эту пакость, и с тех пор они не могут иметь детей. Смотри, как бы с тобой чего не случилось!

Мануэла поблагодарила за предупреждение, сказала «до свидания» и ушла. Всю долгую дорогу домой она раздумывала об услышанном, но лицо ее ничего не выражало. Оно стало суровее в последнее время, и резче проступили индейские черты.

Когда наступил сезон дождей, в деревне оставалось не больше пяти-шести семейств, но движение по реке делалось все оживленнее. Все больше колонов направлялись вверх по течению туда, где еще были пригодные для расчистки делянки. Тем же курсом двигались лесорубы, а какая-то иностранная компания искала нефть на речной террасе. Тяжелые грузы перевозились по реке на больших пирогах, на них даже начали ставить подвесные моторы — ведь колесных дорог еще не было. А люди предпочитали странствовать посуху, кто пешком, кто верхом, и большинству из них было сподручно ночевать в Тьерра-Санта.

Со временем повелось так, что проезжие останавливались на ночлег в доме Мануэлы. Здесь они могли повесить свои гамаки и поесть. Мануэла держала дом в чистоте и подавала за умеренную плату простые, но сытные блюда. За ней укрепилась добрая слава, и ее лачуга превратилась в постоянный двор. Постояльцев было не так много, чтобы это дело могло прокормить семью, но наличные деньги все-таки подспорье в хозяйстве. Она продолжала работать на своем банановом поле, выращивала маниок и бататы, откармливала кур и свиней.

Деревенские — те немногие, что еще не покинули Тьерра-Санта, — никак не могли взять в толк, почему Мануэла не найдет себе нового мужа. В женихах недостатка не было. Совсем еще молодая женщина, собой

недурна, труженица, каких мало, есть дом, земля, домашние животные. Но ей никто из претендентов не нравился, и, может быть, это даже было к лучшему.

В стране наступила смутная пора. К власти пришла новая партия. Один политический деятель, ставший своего рода народным кумиром, был убит на улице столичного города. Начались бунты и восстания, бои и карательные экспедиции, в горах бесчинствовали бандиты. Жители деревушек саванны не были прямо замешаны в этих кровавых расправах, хотя и ощущали на себе их последствия. Во-первых, они никогда не примыкали ни к каким политическим лагерям, во-вторых, грабителям у них было нечем поживиться. Герилья их не касалась, а разъезжавшие с командировками чиновники политической полиции довольствовались тем, что кормились бесплатно за счет местных жителей. Жизнь текла своим чередом, тихо и мирно, словно большая река. Во всяком случае, с виду. На самом деле в ней, как и в реке, происходили перемены. В краю саванны назревал серьезный переворот.

Процесс этот ускорялся смутой, принудившей многих сельских жителей оставить свои дома из-за политических преследований. Но и без того переворот был неизбежен в связи с приростом населения и расхищением природных ресурсов. Земледелие хирело, скотоводство процветало. Следовательно, требовалось все меньше рабочих рук на единицу площади, а между тем число жителей росло все быстрее. Когда целины не осталось и весь лес до самых гор был срублен, пришло время искать другие источники существования. Безземельные спешили взять от природы последнее, что она еще могла дать; спекулянты следовали по пятам и помогали им в их пагубной деятельности.

На смену лесорубам и колонистам в Тьерра-Санта стали появляться охотники за крокодилами и рыбаки. Охотники не задерживались здесь надолго. Не потому,

что крокодиля кожа упала в цене — напротив, она все время дорожала, — но большие рептилии начали становиться редкостью. Молодняк выбивали на третьем-четвертом году. Выживали лишь старые хитрые бестии, хорошо усвоившие, где и когда человек опасен. Они научились держаться подальше от фонарей и гарпунов, когда появлялся очередной отряд странствующих охотников.

Иное дело рыбаки. Раз в год, обычно в конце ноября, на исходе сезона дождей, из несчетных озер на равнине поднимались вверх по рекам миллионные косяки бокачико. Они настойчиво, упорно шли все вверх и вверх против течения, к прозрачным речушкам предгорий, где оставались на несколько месяцев, до конца апреля или начала мая, когда в горах выпадали первые дожди.

После этого уцелевшие направлялись вниз — слабые, истощенные долгим полуголодным существованием (бокачико питаются водорослями, и в стремительных горных речушках для них мало корма), зато раздувшиеся от икры и созревающей молоки.

Люди с незапамятных времен ловили бокачико, когда она шла в предгорья — «субиенда», и когда возвращалась в озера — «бахада». Стрелами, сетью, острогой и гарпунами добывали они себе толику серебристого клада, брали и хищную рыбу, преследующую бокачико, били питающихся хищной рыбой выдр, кайманов и крокодилов. Пока добыча велась старыми способами, с соблюдением умеренности, все шло хорошо. Одна бокачико выметывает в среднем около восьмидесяти тысяч икринок, и в равнинные озера возвращалось достаточное количество спасшихся от всех опасностей самок и самцов, чтобы продолжать свой род. Но после Второй мировой войны лов стал промыслом, рыбаки обзавелись мелкочейными сетями, а по мере роста армии безземельных пролетариев росло и число рыболовных артелей. Они под-

нимались вверх по реке, ставили себе временки и месяцами ловили и засаливали бокачико и багре. День и ночь стометровые невода скребли дно реки. Мелюзга, не находившая сбыта, кучами гнила на берегу. Грифы и прочие стервятники пировали.

Когда все разумные пределы были превзойдены, улов начал падать, сперва медленно, потом все быстрее. Жизненный цикл бокачико — четыре года, поэтому беда явилась не сразу, но явилась. Еще один природный ресурс оказался под угрозой.

Мануэле рыбаки не приносили большого дохода. Эти бедняки каждый грош считали, не то что беспечные лесорубы. Сети, как правило, принадлежали не артели, а какому-нибудь дельцу или промышленнику, ему и доставалась львиная доля выручки. А труженики едва сводили концы с концами. Одни возили с собой жен, другие сами латали свои лохмотья и стряпали. Кое-кто из них, несомненно, понимал, что в конечном счете делает хуже себе же и своим детям. Но когда голод стучится в дверь — выбирать не приходится.

Тьерра-Санта совсем обезлюдела. Семья за семьей уходила, но Мануэла оставалась на месте и продолжала трудиться. Как могла, обрабатывала землю, стирала для соседей, ловила рыбу на ставные удочки, держала свиней и кур, что-то продавала, что-то покупала. Ее и Паблито нельзя было назвать худыми, и болезнь их не брала. Хуже обстояло дело с Хуанитой. Почти все сбережения Мануэлы уходили на лекарства, а бедняжка никак не поправлялась. Мануэла чуть не поверила бредням патера Фелипе, будто порошковое молоко ядовито, но ведь Паблито тоже пил его, и только с пользой для себя. А другого молока где возьмешь, если дойных коров в Тьерра-Санта не было, а до ближайшей асьенды — больше пяти километров. Потом вспыхнула эпидемия кори, и смерть избавила крошку Хуаниту от всех страданий. На этот раз у Мануэлы не было жирной свиньи, чтобы

заплатить за обедню. Она еще раньше продала последнюю, рассчитываясь за лекарства, остались только маленькие тощие поросята.

Через несколько дней после смерти Хуаниты в Тьерра-Санта прибыл один иностранный натуралист. Жители поречья давно его знали, он много раз сюда наведывался. Говорили, что он слегка помешанный, но человек безобидный, пишет книгу и никак не может ее закончить. Теперь он решил пожить тут некоторое время, и где же остановиться, как не у Мануэлы. Паблито и иностранец хорошо поладили между собой. Умный, сметливый мальчик живо уразумел, что этого странного белого занимают рыбы — всякие рыбы, как съедобные, так и совсем бросовые. Паблито помогал рыбоведу отыскивать ручьи и маленькие озера, где водится мелюзга, какой в большой реке никогда не найдешь. Еще он выполнял всякие мелкие поручения постояльца, и тот исправно платил ему за труды.

Паблито шел уже девятый год, и мать справила ему не только рубашку, но и брюки; правда, отправляясь ловить рыбу, он чаще всего снимал одежонку, чтобы поберечь ее. На шнурке на шее у него болталась потертая испанская монета, наследство после старого Гумерсиндо. Старый серебряный реал привлек внимание чужеземца, и он прочел надпись, имя какого-то испанского короля. На следующий день на шнурке Паблито болтались две монеты, вторую украшало изображение шведского короля Густава Пятого.

А еще гость научил своего маленького помощника различать буквы. Они условились, что, когда белый в следующий раз приедет погостить в Тьерра-Санта, сразу после первых дождей, он привезет с собой азбуку, и тогда Паблито сможет читать по-настоящему. Для Мануэлы стало заветной мечтой увидеть, как ее Паблито сидит и читает взаправдашнюю книгу. Кто знает, может, он со временем станет учителем или еще каким-нибудь важ-

ным человеком, будет получать жалование от департамента, и ему не придется ломать себе голову над тем, как перебиться завтра... Главная трудность заключалась в том, что не было школ поблизости — только в городе, в семидесяти километрах ниже по реке.

Чужеземец уложил свои банки и бутылки с заспиртованными рыбами и уехал. Обещал вернуться через три месяца.

Засуха близилась к концу. В горах пошли дожди. Бокачико спустилась на нерест; правда, косяки были не такие плотные, как несколько лет назад, но все же рыбы еще хватало.

И вот однажды ночью первый ливень разразился над равниной. С каждым годом по мере вырубки леса сезон дождей начинался все позже, зато уж как польет, только держись. Сразу река вздулась, стала мутной и бурной. Под утро небо над Тьерра-Санта прояснилось, но вода продолжала прибывать и несла бурелом. Видно, в горах прошел очень сильный дождь.

Несколько вакеро, которые пригнали к реке табун лошадей, остались на другом берегу, так и не решившись перебираться через поток в Тьерра-Санта.

Под вечер к домику Мануэлы подъехали три всадника: падре Фелипе, дон Антонио Ольмес и один пеон. Патер крайне возмутился, когда увидел, что вакеро и лошади застряли на той стороне. Он прибыл сюда вместе с дон Антонио, чтобы купить верховых коней для родича, которого держал управителем на своей асьенде в районе одного из равнинных озер. Покидая Испанию, падре Фелипе вез с собой потрепанную сутану да две-три книги; теперь он был состоятельный помещик.

Похоже, придется ему ждать до завтра, если не больше, а это патера никак не устраивало. Или коней переправят сегодня же, чтобы он мог взглянуть на них, или сделка вовсе не состоится. Как будто на этих конях свет клином сошелся.

Дон Антонио упросил патера не торопиться. Надо только раздобыть большую грузовую лодку, и все будет в порядке. В Тьерра-Санта как раз есть то, что нужно. Альварито Перес подтвердил, что имеет грузовую лодку, но он послал ее по рыбацким артелям. Правда, у него была другая лодка, поменьше, но он отказался ее одолжить. Альварито пришлось уступить свои земельные права дону Антонио, и он остался этим недоволен, а теперь на него работали четыре рыболовецких артели, он ни от кого не зависел, да к тому же подумывал о том, чтобы перебраться в город.

Нет, нет и нет. Поглядите, что на реке делается, он не намерен рисковать лодкой.

Оставалась только лодка вдовы Васкес. Маленькая, для взрослого мужчины, пожалуй, даже слишком мала, да еще дырявая, как сито. Весло — прибитая к палке доска. Старуха пришла в восторг, когда дон Антонио предложил ей два песо за прокат лодки с веслом и черпаком из тотумы.

Теперь надо было найти желающего переправиться на лодке через реку и передать вакеро приказ, чтобы они поднялись по берегу до лагеря рыбаков. Туда всего час пути, и там, конечно, найдется большая пирога. На ней можно пересечь реку, а кони поплывут рядом на длинном поводу. Дело непростое и опасное, но вакеро были ко всему привычны.

В Тьерра-Санта мужчин было раз, два и обчелся. Те, что покрепче, ушли рыбачить, осталось, не считая Альварито, всего четверо: скрюченный старостью Карлос Бенитес, однорукий Хулио Мехиа, которого покалечило на рубке леса, внук вдовы Васкес, придурковатый Хуан, и Паблито. Но дону Антонио не терпелось добиться своего, и в конце концов он предложил десять песо — четыре дневных заработка — тому, кто отвезет его приказ на ту сторону. Достаточно переправиться туда, а обратно вакеро доставят посланца на большой лодке.

Тут выступил вперед Паблито.

— Отдайте десять песо моей маме, и я поеду, — сказал он, глядя снизу на румяное лицо асьендадо.

Послышались предостерегающие возгласы, но дон Антонио живо сунул Мануэле смятые бумажки, а Паблито подбежал к ветхой лодке, схватил весло и оттолкнулся от берега.

Мануэла метнулась следом, крича что-то. Поздно. Лодка была уже во власти стремнины. Паблито вел лодку наискось, но течение сносило его вниз. Потом он попал в сильный водоворот, и сперва лодку протащило несколько метров в нужном направлении, но стоило мальчику на секунду отложить весло и взяться за черпак, как стремнина развернула ее носом по течению. Паблито налег на весло, заставляя лодку вернуться на правильный курс. Еще дюйм, еще, он греб изо всех сил... Трах!

Гнилая доска с треском переломилась там, где в нее были вбиты гвозди, и Паблито остался с одной палкой в руках. Попробовал грести ею — куда там, слишком тонкая. Лодку медленно, но верно сносило вниз. В эту самую минуту, влекомое вздувшимся потоком, из-за поворота выплыло поваленное ветром дерево. Его несло кроной вперед прямо на лодку. У Мануэлы вырвался крик ужаса, Альварито громко выругался; старик Бенитес со свистом втянул воздух щербатым ртом. Потом все закричали наперебой, но голоса тонули в мощном гуле реки, озаренной багряным закатом.

И все-таки Паблито, похоже, их услышал. Он оглянулся, потом начал с удвоенной энергией грести палкой.

Будь это настоящее весло, он ушел бы от дерева, но... длинный сук зацепил борт, нажал и опрокинул утлую лодчонку. На берегу воцарилась напряженная тишина. Люди, словно окаменев, смотрели на реку... на плывущее по течению дерево... на пустую лодку, которая всплыла на стремнине.

Вдруг дальнотзоркий старик закричал:

— Вот он, парнишка! Вон там, на стволе! Слава Все-вышнему!

Мануэла вздрогнула, как от удара, но лицо ее оставалось каменным. Молча она глядела, как дерево уплывает вдаль под огненно-красным вечерним небом.

Перед следующей излучиной дерево зацепилось ветвями за отмель. На миг остановилось, вздрогнуло, потом перевернулось. И тут же течение увлекло его дальше. Пеон дона Антонио, а также двое из отряда вакеро, ожидавших на той стороне, уже мчались на конях вдогонку за деревом. Пока его можно было различить на фоне темнеющей воды, они скакали следом. Через два часа все трое вернулись, больше ничего нельзя было сделать. Падре Фелипе обратился с молитвой к святым, а дон Антонио назначил вознаграждение — двадцать песо тому, кто найдет Паблито. Сверх того он посулил мадонне толстую восковую свечу, если мальчик будет не вредим.

Неделей позже на коровьей тропе в нескольких километрах ниже Тьерра-Санта появился друг Паблито, натуралист. Под деревом тотума на бугорке он придержал коня, достал бинокль из футляра и принялся изучать берега и отмели. За последние сутки уровень воды понизился, и многие пляжи обнажились. Вдруг движение бинокля остановилось, всадник что-то пристально разглядывал. Ну конечно, там на солнце лежит и греется здоровенный крокодил, старый лиходей. Если пробраться за бугром вон к той ложбинке, оттуда можно будет достать его пулей... Путник привязал за сучья тотумы верхового коня и выючную лошадь, проверил штуцер и начал подкрадываться.

Вот он уже в ложбине... крадется, пригнувшись, дальше... Последние метры он прополз на четвереньках. Потом выглянул из-за кочки. И метрах в восьмидесяти снова увидел крокодила. Не меньше четырех мет-

ров длиной, толстый, шишковатый, уродливый, настоящее чудовище. Прицел и мушка медленно сошлись, и грянул выстрел. Могучий хвост дернулся в одну, в другую сторону, короткие мощные ноги яростно взрыли песок, но зверь не тронулся с места. Пуля раздробила шейный позвонок, смерть была почти молниеносной. Охотник перезарядил ружье и минуты две лежал на месте, держа крокодила на мушке. Зверь по-прежнему не двигался, тогда он встал и направился к нему. Не доходя нескольких шагов, остановился и поднял ружье. Опыт научил его, что с крокодилом шутки плохи, лучше не рисковать. Нет, эта бестия явно обезврежена раз и навсегда. Охотник отложил ружье, подобрал на косе палку покрепче и перевернул тяжеленного зверя на спину. Затем вынул финку из ножен. Для скудного бюджета исследователя такая большая кожа — хорошее подспорье.

Часом позже кожа была снята и свернута. В деревне можно будет засолить ее, а то и сразу продать Альварито Пересу. Желудок сгодится кому-нибудь на барабан — вот и еще несколько песо. Кстати, интересно взглянуть, чем поживился за последнее время старый обжора. Несколько длинных разрезов — и вот уже желудок лежит на песке рядом с тушей. Еще один разрез — и он вскрыт. Камни, некоторые чуть не с гусиное яйцо. Ну это вполне обычная находка. Кости... Охотник насторожился. Теперь он был уже не охотник, а исследователь. И как ни пострадали кости, он тотчас определил, что это не свинья, не капибара, не олень и не собака — ни одно из животных, составляющих обычную добычу крокодила. Он наморщил лоб, повернул ножом одну кость, другую. Что-то блеснуло на фоне слизистой желудочной пленки. Серебряная монета... вторая... Две монеты на шнурке, очищенные от черни желудочной кислотой. Испанский реал. Шведская крона.

На пляже послышался стук некованных копыт. Охот-

ник повернул голову. Альварито Перес. Он подъехал, остановился, окинул всю сцену взглядом.

— Прекрасная кожа, дон Хорхе, — сказал торговец. — Не продадите?

Они поторговались, несколько бумажек переменяли владельца, потом охотник подцепил кончиком ножа шнурок с монетами, ополоснул их в реке и сунул в карман.

— Талисманы Паблито, — глухо сказал он. — С ним что-нибудь случилось?

И тут он услышал рассказ про дерево и опрокинутую лодку. Вместе оба всадника доехали до Тьерра-Санта и остановились у домика Мануэлы. Хозяйка кормила кур на заднем дворе и только на миг подняла голову.

— Буэнос диас, комадре, — поздоровался Альварито. — Боюсь, у нас для тебя плохие новости.

Мануэла повернулась к ним. В глазах ее был невыразимый ужас, усиленный неизвестностью.

— Дон Хорхе застрелил у Ла-вуэльта-дель-Тотумо большого крокодила, — продолжал Перес. — В животе у крокодила был шнурок с двумя монетами и кости. Мы предали кости земле. Вот шнурок с монетами.

Мануэла молча протянула руку, взяла шнурок и так же молча уставилась на стертые королевские профили.

— Граacias, сеньорес, — сказала она наконец, повернулась и ушла в дом.

Альварито Перес сумрачно покачал головой. Хорхе сидел безмолвно, скрестив руки на луке седла. Он думал о красивой новой азбуке, которая лежала в одной из вьючных сум. И о лице, которое словно расплылось в воздухе и пропало, когда женщина отвернулась. Рыбобед не стал задерживаться в Тьерра-Санта, а продолжил путь вдоль реки и остановился у индейцев на одном из притоков. Здесь он провел несколько недель. Когда он вернулся в Тьерра-Санта, то увидел, что дом Мануэлы заброшен, и устроился на ночлег у Альварито.

— Она все продала, — рассказал торговец. — Большая часть мне досталась, она не хотела иметь дела с доном Антонио. Просыпаемся однажды утром, а ее уже нет. Один вакеро видел ее на рассвете, когда она шла по берегу у излучины. Только узел на голове несла, и все.

Шли годы. Тьерра-Санта перестала существовать. В городах и приморье кое-кто начал понимать, что с народной нищетой ничего не сделаешь, пока продолжается расхищение природных ресурсов, а земля принадлежит привилегированному меньшинству. На первых порах это были голоса, вопиющие в пустыне, но постепенно голосов становилось все больше и они звучали все громче. Земельная реформа, надзор над лесным и рыболовным промыслом, учреждение современных исследовательских институтов — таковы были первоочередные, безотлагательные требования. Набрали людей, закипела работа. Нашлось дело и для рыбоведа, который наконец-то дописал свою книгу.

Однажды он проезжал в служебном джипе по одному из городов в нижнем течении реки. Машина остановилась на берегу, исследователь вышел и начал показывать своему молодому помощнику, как собирают образцы речной фауны. Неподалеку какая-то женщина стирала рабочую одежду. Рыбовед присмотрелся к ней. Покатые плечи, в остальном фигура исхудалая, костлявая, седеющие волосы собраны в конский хвост. Женщина подняла голову, их взгляды встретились.

— Буэнос диас, Мануэла.

— Буэнос диас, дон Хорхе.

— Что нового?

— Все то же, дон Хорхе. Все то же. Нищета.

Платье, сшитое из бесчисленных лоскутов, висело мешком на худом теле. На смуглой, уже морщинистой шее поблескивали две серебряные монеты на шнурке. Мануэла заметила, что глаза рыбоведа остановились на монетах, подняла было руку, чтобы закрыть их, но тут же

опустила ее. В темных индейских глазах вспыхнул недобрый огонек.

— Помните, дон Хорхе, для нас, бедняков, самые страшные крокодилы не те, что в реке живут, — сказала Мануэла Санчес.

Она повернулась к нему спиной и снова нагнулась над своим корытом.

КРАЙ БОЛОТНЫХ ОЗЕР

День за днем идет плот вниз по реке. Все дни одинаково солнечные, с калимой в воздухе и яростно-красными закатами. (Калима — смесь саванной пыли и дыма лесных пожаров.) За день несколько десятков километров, не больше. Мимо песчаных отмелей, где несут караул изящные серебристые белые цапли, большие серо-голубые магдаленские и маленькие, пепельные флоридские цапли, через плесы, где стайки черно-белых водорезов проносятся над водой, как бы снимая сливки гротескными красными клювами.

Утром и вечером над рекой пролетают с одного угодья на другое полчища египетских цапель. Они здесь новички, даже, можно сказать, незваные гости. Сорок лет назад их не было на этой стороне Атлантики, они оставались верными своей родине, Африке, и сопровождали странствующие в саванне стада.

Никто не знает точно, как это случилось, но между двумя мировыми войнами появилась первая стая в Венесуэле. Может быть, ее туда занесло бурей. Африканские гости остались, размножились и начали сопровождать пасущийся скот, как тысячелетиями ходили за слонами и буйволами. Теперь их можно встретить от Бразилии до Флориды, и они продолжают распространяться, ведь в Новом Свете у них нет естественных врагов.

Прежде среди коров, хватая испугнутых копытами

кузнечиков и прочих насекомых, вышагивали белые цапли, как большая, так и маленькая, изящная, с черным клювом. Их и сейчас можно увидеть за этим занятием, но в девяти случаях из десяти их место заняли египетские цапли, а белые цапли отступили в болота и на берега рек.

До сих пор по обе стороны реки, сколько хватал глаз, тянулись сплошные пастбища. Теперь ландшафт постепенно меняется. Среди побуревших от засухи лугов, где на десятки километров не осталось ни одного тенистого дерева, можно увидеть первые равнинные озера с камышовыми зарослями и широкими зелено-лиловыми полями водяных гиацинтов.

Все дальше и дальше холмы и горы, обнаженные нещадной вырубкой, со страшными ранами, нанесенными эрозией на голых склонах. Дождевая вода смыла с них почву, оставив навеки бесплодные гектары камня и гравия. Так хищно и бездумно обошлись люди с тем, что высокопарно величают своей родиной. Ради одного-двух скудных урожаев или в погоне за недолговечным пастбищем они обрекали почву на гибель.

Однако кое-где между озерами можно увидеть и зеленые участки — первые поля хлопчатника. Здесь за тысячелетия река отложила на поверхности саванны мощный плодородный слой. Некоторые из земледельцев наконец-то уразумели, что эта наносная земля чересчур хороша для пастбищ, и теперь ее приспособливают под земледелие. Бананы, кокосовые пальмы — добрая почва щедро оплачивает труд, только с ней надо разумно обращаться.

Деревни пошли чаще и выглядят совсем иначе, чем прежде. Стены уже не из каньябравы, обмазанной смесью глины с навозом, меньше крыш из пальмовых листьев, которые боятся огня. Правда, есть то преимущество, что под ними не так жарко. Дома кирпичные или бетонные, крыши из красных или светло-серых плиток,

кое-где поблескивают алюминием водокачки. Вдоль реки тянется шоссе, между деревьями снуют грузовики и автобусы.

Поздно вечером плот проходит мимо сияющего огнями города. Над рекой изогнулся триумфальной аркой изящный стальной мост. Ниже моста начинается аллея из королевских пальм, вздымающих свои могучие кроны к темнеющему небу. Светлячки крохотными метеорами пляшут над закрывшимися на ночь цветками гибискуса и дремлющей бугенвиллеей.

Старик кладет руль влево, и река несет его неуклюжее суденышко к низкой пристани, у которой белеет патрульная лодка рыболовной инспекции. Оставив плот под присмотром молодого инспектора, старик поднимается к ближайшей лавке и пополняет свои запасы провианта и сигарет. Наскоро поужинав в китайском ресторане, он возвращается к плоту.

Ребята из инспекции предлагают ему комнату для ночлега. Услышав в ответ, что он должен плыть дальше, они предлагают послать с ним лодочника или хотя бы немного отбуксировать плот патрульным катером. Их удивляет его улыбка и вежливый отказ. Им невдомек, что теперь он сам распоряжается своим временем и хочет побыть наедине с рекой, с тропической ночью и своей Па-ку-не... Ведь Па-ку-не можно встретить и на спящей реке, не только в лесных дебрях.

Достаточно одного-двух взмахов весла, чтобы плот подчинялся рулю. Тихо, ласково журчит вода, рассекаемая бальсовыми бревнами. С каркающим криком проносится мимо кваква.

Пройдя с десятков километров, старик причаливает к островку и прячется под пологом от комаров, чтобы поспать немного. За два часа до восхода он готов возобновить свое плавание. Завтрак съеден, термос наполнен горячим кофе, костерок на берегу залит водой. Достаточно посильнее оттолкнуться шестом — и снова тече-

ние подхватывает плот. Старик садится поудобнее, зажав под мышкой рулевое весло, раскуривает трубку и ждет зари.

Река несет плот мимо полей хлопчатника и кукурузы, мимо кокосовых пальм, маленькой спящей деревушки. Бурлит вода. Медленно, исподволь на востоке разгорается утренний пожар. Оголенные засухой деревья черными силуэтами вырисовываются на фоне все более яркого дымчато-красного зарева. Над рекой летят утки. Высоко в небе — плотные стаи, ленты, клинья крупных тропических древесных уток видау, писингу и малибу, направляющихся к рисовым полям у озер. Беспокойные стайки маленьких синекрылых чирков совершают короткие рейды с одного берега на другой.

Закрепив наглухо рулевое весло, старик достает спрятанное между узлами ружье и коробку патронов. Давно он не ел утятин, а здесь тысячи уток и можно со спокойной совестью позволить себе подстрелить одну или две. Чирки беспорядочно мечутся из стороны в сторону, спугнутые не то плотом, не то движениями охотника, когда он поднимает ружье. Три выстрела — всего одна птица, зато потом следует успешный дуплет. Старик вылавливает уток из воды. Чистит ружье и принимается потрошить птицу. Он сварит ее в котелке на медленном огне; свежего чирка вполне можно есть два раза в день — на второй завтрак и на обед.

Плот идет дальше, час за часом, и вот уже на реку тяжелым одеялом ложится полуденный зной. Только часам к четырем жара спадает. Снизу тянет ветерком, это дыхание пассата, который пролетел над приморьем и большими озерами, чтобы встретить путника.

Старик задремал было после полдника, теперь он просыпается и определяет, что достиг рубежа озерного края. Хотя бы течение, пересекающее первое озеро, оказалось достаточно сильным, тогда легче будет провести через него плот. Еще километр — и вот открывается ши-

рокое устье. Ура, течение благоприятное! Сильный поток впадает в озеро. Надо думать, не менее сильное течение продолжает реку в другом конце озера. Несколько энергичных движений рулевым веслом — плот вышел в устье, проплывает между низкими заболоченными берегами и наконец оказывается на широком водном просторе с большими плавучими коврами водяных гиацинтов, голубовато-лиловые цветки которых раскрываются в этот час вечерней прохлады.

Отойдя от берега на несколько сот метров, старик бросает якорь под прикрытием камышового островка. Конечно, от бури камыш не защитит, но ведь сейчас засуха, бурь нечего опасаться. Если и подует, то с озера, а тогда можно уйти обратно в устье.

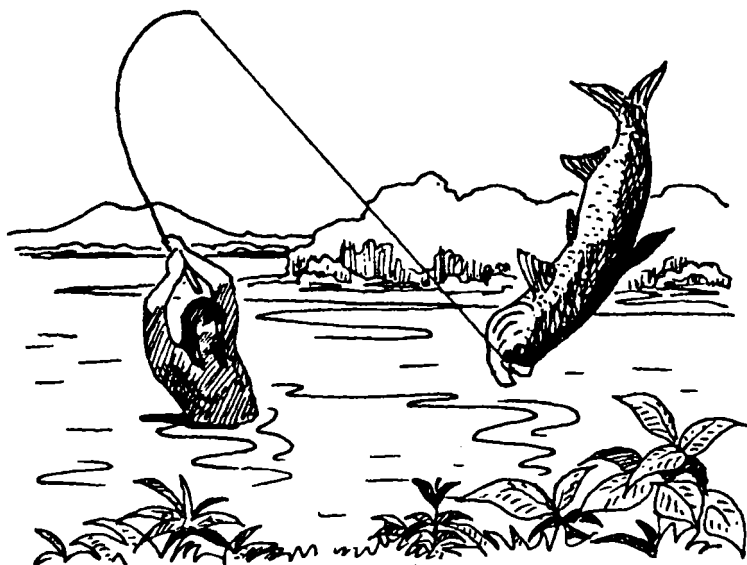
Озеро простерлось на десятки километров. В разгар сезона дождей оно вдвое больше, и сейчас его окаймляет широкая полоса тучного черного ила, образованного сгнившими за тысячелетия гиацинтами. Придет время, когда этот край будет кормить множество людей. Проекты уже готовы, идут предварительные работы по регулированию водного режима. На земле, где сейчас в лучшем случае можно пасти несколько коров и свиней, раскинутся тысячи гектаров рисовых полей, а само озеро опояшет кольцо плотин и валов, прорезанных оросительными каналами. Рис по берегам, рыба и пернатая дичь посередине. Работа для многих тысяч рук, пища для десятков тысяч ртов. Таков план, такова мечта, которая теперь воплощается в жизнь. На оголенных рубкой холмах будут посажены деревья робле костено и голубой эвкалипт, которые, глубоко пронизав землю своими корнями, остановят эрозию. Пока тянутся ввысь быстрорастущие породы, молодые лесничие уже занимают саженцами благородных тека и махагониевого дерева менее плодородные участки. Начало положено. Теперь бы только мир и порядок, деньги, труд и добрая воля, тогда со временем будет всем и работа, и хлеб.

Чашка кофе, трубка... Затем старик достает из длинного свертка спиннинг с большой катушкой и крючки с блесной. Плот достаточно устойчив, вполне можно забрасывать. Блесна уходит под воду на хорошем расстоянии от бревен. Старик подтягивает ее, еще раз два забрасывает без успеха, потом снова садится с трубкой.

Куда ни погляди — птицы, птицы... Десяток разновидностей цапли и выпи, черные ибисы с красным клювом, с зеленоватым клювом, большие трехцветные ибисы, несколько белых. Мимо плота пролетают розовые колпицы — будто ожившие цветы; тучи уток взмывают в воздух, кружат над камышом и снова приводняются.

«Шлеп!» Широкий хвостовой плавник бьет по воде. Старик прячет трубку, блесна рассекает воздух. Со второго раза он чувствует поклевку и осторожно подсекает. Впечатление такое, как будто произошел взрыв. Вода бурлит и пенится, огромная серебристая рыбина взлетает метра на два, на миг зависает и с грохотом шлепается обратно. Катушка визжит, разматываясь. Второй прыжок, третий — великий тарпон делает все, чтобы избавиться от крючка, снова и снова разгоняется и выскакивает из воды. Старик осторожно придерживает его, иногда опускает конец спиннинга, нейтрализуя прыжки, не дает рыбине уйти далеко. Силой тут не возьмешь, тарпон грубости не признает, надо хитрить, изматывать его. Время идет. По лбу и скулам старика струится пот. Нелегкий это труд — тягаться с такой рыбиной. Забыты годы, забыты болезни, он живет полной жизнью! Избегать всяких усилий, сказал врач. Избегать? Уж если прощаться с земным существованием, так лучше всего в бою, пусть даже твой противник всего-навсего рыба.

Трехметровый спиннинг из фибергласа и хитрое, упорное маневрирование делают свое дело. Принято



считать, что девять тарпонов из десяти срываются и уходят. В таком случае, это десятый. Он измотан, можно подтягивать его к плоту. Старик рассматривает красавца. Экземпляр далеко не рекордный, что-нибудь метр с четвертью, ходил один раз на нерест, теперь направляется к морю, чтобы набраться сил для нового нереста.

Тарпон доблестно сражался. Наградой ему будет свобода. Старик достает длинную финку и нагибается, вдруг что-то привлекает его внимание. Два нижних луча анального плавника обхвачены серебряной провололочкой, на ней висит узкая пластмассовая бирка с номером. Вот так штука, один из его собственных тарпонов явился на свидание! Старик улыбается, как будто ему преподнесли роскошный подарок. Потом осторожно извлекает крючок из твердой челюстной кости. Рыба свободна.

С минуту тарпон лежит на боку, отдыхая. Затем бьет

хвостом, окатывает старика водой, уходит под плот и исчезает.

Старик меняет рубашку, посмеиваясь про себя, разбирает спиннинг. И садится обедать: кусок утки, ломоть хлеба, чашечка-другая кофе. Потом набивает свою самую большую пенковую трубку ароматным «кэвендишем», удобно садится на мешок с одеждой и любуется просторной гладью озера, вечерней тягой птиц.

Воспоминания, воспоминания...

МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА, БОЛЬШАЯ РЫБА

I

Среди невысоких приморских гор в лесу извивается речушка; здесь еще остался участок коренного леса. В засуху от этой речушки, как и от многих других, остается всего лишь цепочка мелких луж, разделенных обнажившимся гравием. Но сейчас, во всяком случае по календарю, сезон дождей, и лужи соединяет прозрачный ручей шириной в один-два шага, глубиной в две ладони.

Сидя в прохладной тени между корнями могучего дерева караколи, я гляжу на небольшую заводь, где между камнями снуют серебристые рыбки с оранжевыми плавниками. В руках у меня сеть для лова мелюзги.

Некогда эта речушка была притоком «моей» реки, это я установил по ее рыбам. Но было это очень давно, вероятно, еще в плейстоцене, когда чередование ледниковых эпох изменяло уровень моря и очертания берегов. Теперь она прямо впадает в море, и это сказалось на ее ихтиофауне. Во-первых, в ней водится пресноводная кефаль, которой нет в соседних больших реках, но которую зато можно встретить в быстрых речках, сбегających со склонов Сьерра-Невада-де-Санта-Марта. Во-вторых,

я здесь нашел два вида харацид, судя по всему эндемичных. Другими словами, их не находили нигде, кроме Пехилина (так называется эта речушка).

С одним видом я разобрался. Это *Creagratus*, от других представителей данного рода его отличает, в частности, отчетливая черная полоска в основании хвостового плавника. Есть и другие отличия, более важные и существенные, но это сразу бросается в глаза. К тому же речь идет о карликовой форме, что вполне естественно для эндемичного вида, который развился в такой маленькой речушке.

Второй вид мне представляется более интересным. Он принадлежит подсемейству *Cheirodontinae* из многочисленного семейства харацид, род *Saccoderma*. Несколько напоминая хастату из Магдалены, а также недавно открытую мной робусту из Сину, он, однако, отличается от обоих, в частности своеобразными зубами. Они похожи на маленькие терки, как будто предназначенные для того, чтобы соскабливать или срывать что-то с камней в речушке. Но что именно? Вряд ли водоросли. Многие харациды «слизывают» водоросли с камней, однако хиродонтины, сколько мне известно, все до единой питаются насекомыми. Надо думать, это правило распространяется и на данный вид. Я уже изучил один экземпляр и убедился, что кишечник очень короткий, как положено у насекомоядных.

Зубы, зубы... Они так же специализированы, как скошенные «бритвы» пайраи, или огромные клыки пайяры, или зазубренная мясная сечка дорады.

А что, если эта крохотная рыбка специалист по личинкам хехен?

Разные виды жалящих мошек и гнуса в Колумбии называют хехен, но злее всех маленькие черные чудовища из рода *Simulium*, они способны буквально извести человека. Мало того что они нещадно жалят его от зари до зари, порой собираясь в огромные тучи, хехен еще пере-

носят болезни. Карате, от которой, в частности, идут пятна по коже и которая вызывается спирохетой, паразитально схожей с грозным возбудителем сифилиса *Treponema pallidum*, слоновость — следствие скоплений личинки филарии в лимфатических железах; порождаемая другой личинкой (*Onchocerca volvulus*) страшная «сегуэра гуатемальтека», которая начинается с появления твердых узелков на коже головы и обычно приводит к полной и неизлечимой слепоте, — все эти недуги переносятся *Simulium*.

С личиночными формами малярийного комара можно бороться, они обитают в тихой, стоячей воде. Во всяком случае, южноамериканские виды. Говорят, на Востоке есть виды, не подчиняющиеся этому правилу. Можно найти управу и на комара, переносящего желтую лихорадку. У личинок *Simulium* «детская комната» совсем иного рода. Они закрепляются на камнях между заводами, на перекатах, в насыщенной кислородом воде, где течение не дает ни задуть их нефтяной пленкой, ни отравить контактным ядом. Все попытки истребить их химическими или физическими средствами успеха не принесли.

А вдруг эта рыбешка осуществляет естественный контроль? С того дня, как я прибыл на этот ручей, мне еще не попалась ни одна хехен, и в прилегающем районе я не видел ни одного лица, меченного белыми пятнами карате. Фантазия? Возможно. Но такая фантазия, которая поддается экспериментальной проверке.

Осторожно завертываю в рубаху наиболее хрупкие приборы (в лесу я предпочитаю работать голый по пояс, если мошка не докучает), спускаюсь к журчащему перекату ниже заводи, ложусь на живот и изучаю в лупу омываемые водой камни. На таких камнях в проточной воде обычно сидят личинки и куколки. Рассматриваю камень за камнем те, что на дне, и те, что вровень с поверхностью. Беру их в руки, кручу, верчу, скребу ногтем со всех

сторон. Ничего. Сколько я ни ищу, не могу найти никаких следов потомства *Simulium*. Конечно, это может быть чистая случайность. Возможно, они предпочли следующий пережат. Установить это очень просто: пойти туда и посмотреть.

К концу дня речушка на два километра с лишним исследована мною так, как если бы я искал зарытые сокровища Генри Моргана. Ни одной личинки, ни одной куколки. Род *Simulium* явно не представлен в фауне этого маленького потока.

Смеркается, я подвешиваю между двумя деревьями гамак и полог от комаров, делаю из листьев бихао навес от дождя и варю кофе в жестяной банке. Хорошо, что завтра воскресенье, ведь официально я еще не исследователь, а всего лишь бедный учитель, зарабатывающий уроками не только на хлеб, но и на все, что нужно для исследовательской работы. На следующий день я возвращаюсь под вечер в свою комнатку при школе с большой банкой, в которой плавает около дюжины рыбок нового вида. Они благополучно перенесли путешествие, и я пересаживаю их в самодельный аквариум вместе с кучей личинок, на которых рыбки тотчас устраивают энергичную облаву.

...Снова суббота, и снова я у ручья с тщательно вымытой канистрой из-под бензина и рыболовной снастью. Кроме того, я захватил фонарик и еще кое-какие вещи.

От верховий «моего» ручья ведет тропа через низкую водораздельную гряду к такой же речушке. Она принадлежит совсем другому бассейну, и по ее берегам водятся черные хехен, я убедился в этом на собственной шкуре, когда собирал там рыб несколько месяцев назад. И я знаю, что моего нового вида *Saccoderma* там нет.

День уже гаснет, когда я, отмахав полтора десятка километров с канистрой на спине, наконец выхожу к маленькой заводи на второй речушке. В канистре вода и двадцать живых и прытких экземпляров моей маленькой

рыбки. Здесь все так же, как было в прошлый раз: круглая лужица с гравием на дне и большими камнями посередине, дальше — узкий каменистый проток. Контроль наладить легко, лучшего места не найти для задуманного мной эксперимента.

Рядом с перекатом наполовину зарываю в песок большую эмалированную миску, которую я одолжил на кухне директора школы. Налаживаю водопровод: через резиновые трубки вода из заводи поступает в миску, а из нее выливается в большую жестяную банку, накрытую сеткой. Вылавливаю на перекате два камня и кладу их в миску. Камни совсем мохнатые от личинок *Simulium*. Затем пускаю туда же трех рыбешек из моей коллекции. Вижу, что они чувствуют себя хорошо в миске, и добавляю еще тройку. Теперь остается только разбить лагерь на ночь и ждать до рассвета. От волнения никак не могу уснуть. Что происходит в миске? Включить фонарик и посмотреть я не решаюсь. Свет в белом сосуде может напугать рыбок и сорвать эксперимент.

С первыми лучами солнца я на ногах, ставлю выше и ниже переката мелкоячеистую сеть. Ее цель — служить преградой для подопытных экземпляров. Убедившись, что все лазейки закрыты, выпускаю в воду на перекате остальных четырнадцать рыбешек, потом подготавливаю к работе свой примитивный микроскоп и контролирую ход опыта в миске.

Тоненькие рыбки длиной от силы тридцать миллиметров уже не такие тоненькие, а очень даже упитанные, с раздувшимся брюшком. Вылавливаю одну, несколько минут выдерживаю в спирте и помещаю на предметное стекло микроскопа. Два маленьких надреза скальпелем обнажают пищеварительный тракт. Он набит до предела. Еще надрез, и содержимое вываливается наружу. Как и следовало ожидать: все, поддающееся опознанию, есть не что иное, как личинки и куколки *Simulium*.

Первый шаг сделан, но до полного доказательства еще далеко. Ведь в миске не было больше ничего съедобного. Тихо подкрадываюсь к перекату и ложусь на землю, чтобы проверить, чем заняты маленькие переселенцы. Они заняты едой, сразу видно. Серебряные блески носятся от камня к камню и «пасутся» на них. К сожалению, я не могу проследить, что именно они едят. Рыбки пугливые, стоит мне пошевелиться, как они тотчас прячутся между камнями. Я замираю, тогда они снова выходят, и пир продолжается. Понаблюдав часа два, решаю выловить несколько штук и проверить, что у них в животе. Это легче сказать, чем сделать. Рыбки уже неплохо освоились и развели кучу укромных уголков. За полчаса мне удастся выловить всего три экземпляра. Все трое плотно поели. И вся еще не переваренная пища представляет собой личинки *Simulium*.

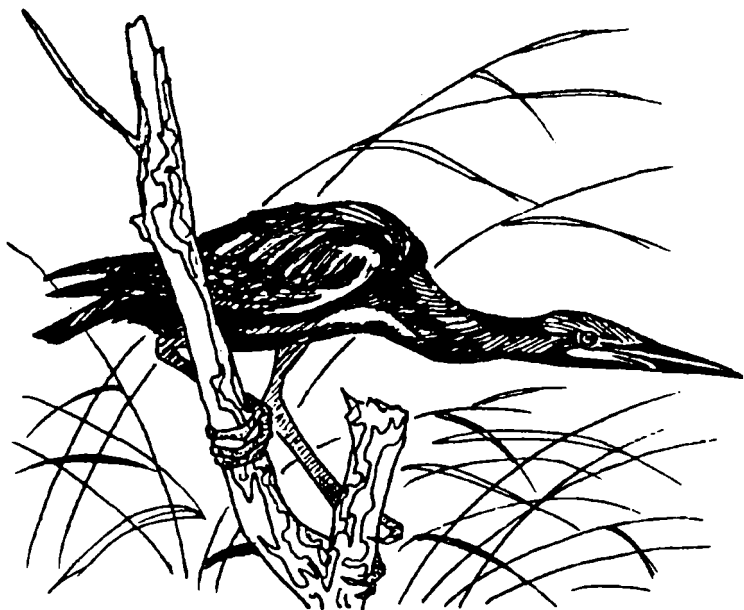
Немалая часть дня уходит на то, чтобы переправить тяжелую канистру обратно через водораздел. Теперь она кроме воды содержит еще и облепленные личинками камни с переката. Время от времени я останавливаюсь и перемешиваю воду прутиком или зачерпываю ее банкой и выливаю обратно: единственный способ обогатить ее кислородом, чтобы личинки не погибли до того, как попадут в естественную среду.

В 15.10 я снова у первой речушки, родины маленькой рыбки. Кладу камни с личинками в проток между двумя заводами. А сам сажусь рядом, чтобы отдышаться и проследить, что получится. В 15.35 новые камни окружены скопищем нетерпеливых *Saccoderma*, пир идет горой. В 17.05 от личинок *Simulium* осталось одно воспоминание. Я прерываю эксперимент и отправляюсь за четыре километра к шоссе, чтобы захватить последний автобус. До города больше двадцати километров, пешком идти далековато.

Неделю за неделей продолжается мой примитивный

опыт, пока засуха не превращает обе речушки в цепочки разрозненных луж. Но за это время мне удастся точно установить, что моя новая рыбка — я окрестил ее *Saccoderma falcata* — всему, чем я только могу ее потчевать, предпочитает личинок и куколок *Simulium*. И что она способна почти полностью, а то и вовсе истребить вредную мошку на определенном участке. Другими словами, обнаружен способ биологической борьбы с насекомыми, переносящими болезни. Правда, слоновость переносят и обычные комары. Но, насколько мне известно, никто не наблюдал, чтобы карате и гватемальскую слепоту распространял кто-либо помимо мошки *Simulium*. Если разводить в зараженных областях *Saccoderma falcata*, рыбки, возможно, заставят болезнь отступить.

Сколько всякой дряни можно стереть с лица земли, если с толком использовать все, что мы знаем.



Июнь. Залив Морроскильо поблескивает в лучах утренней зари. Наша большая морская пирога, тарахтя подвесным мотором, приближается к деревне Толу с севера, от мангровых болот в устье реки Сарагосильи. Мы идем совсем медленно, прочесывая дно волокушей. Время от времени выбираем ее и придирчиво разбираем улов. Разные рачки, малюсенькие крабики, игла-рыба, мальки саргасского бычка и потешные юные еж-рыбы с не отвердевшими еще шипами. Они смахивают на полупустые мешочки из серой кожи, на которых кто-то нарисовал углем по маленькой сердитой рожице. Но никаких следов того, что мы вот уже целый месяц упорно разыскиваем день за днем, — маленьких прозрачных личинок тарпона, так называемых лептоцефалов. Мы не знаем точно, как они выглядят, да этого пока еще никто на свете не знает.

Американский исследователь Харрингтон находил мальков, которые, несомненно, были только что «вылупившимися» тарпончиками со всеми признаками настоящей рыбы. Другой ученый, Герингер, выловил лептоцефала с прозрачным, стекловидным телом длиной двадцать шесть миллиметров, и определил его как личинку тарпона. «Дана» — датское океанографическое судно, в чьем послужном списке много важных открытий — однажды добыло в море одиннадцатимиллиметровую личинку, вероятно принадлежащую тарпону. Некоторые ихтиологи выводили личинок из предположительно тарпоновой икры; правда, личинки через три дня погибали, но перед этим у них наблюдались признаки перехода в стадию лептоцефалов. Вот, пожалуй, и все, что было известно о начальных формах тарпона, когда мы приступили к исследованиям.

Наша работа началась в середине мая. Мы знаем, что в этом районе тарпоны обычно нерестятся в конце ап-

реля и первых числах мая, на песчаных отмелях у самого берега, преимущественно в лунные ночи. Мне самому приходилось видеть, как они кувыркаются в пласте воды толщиной меньше метра, как вспарывают воду широкие хвостовые плавники, как могучие серебристые тела барахтаются под луной в каких-нибудь двадцати — тридцати метрах от черных пальм на берегу. Я видел, как белеет вода, когда самцы опрыскивают молоками сотни тысяч только что выметанных самками икринок, как рыбы-великаны исчезают, словно тени среди других теней, когда гладкую поверхность моря бороздит акулий плавник.

Моя заветнейшая мечта — окончательно разрешить загадку тарпона, поймать его лептоцефалов живыми и невредимыми и проследить в лабораторных аквариумах, как они превращаются в мальков. Научиться разводить тарпона, как разводят сига и лосося. Надо, надо что-то делать, чтобы спасти «серебряного короля», самого крупного представителя сельдевых. Из-за хищнического промысла тарпону у атлантических берегов Колумбии грозит полное истребление. Его здесь глушат динамитом. Каждый день вдоль всего побережья от Санта-Марты до устья Сину и дальше рвутся в воде сотни динамитных патронов, и немалая часть их обращена против нерестящихся тарпонов.

Везде, где можно ожидать появления хотя бы небольшого косяка тарпона, его подстерегают лодки. Крупный тарпон — крупная выручка: жители приморья любят его плотное жирное мясо. Стоит характерному плавнику вспороть поверхность воды поблизости от лодки, и вот уже шипит бикфордов шнур, заряд летит по воздуху, ныряет в море и взрывается, неся смерть и опустошение. Разумеется, динамитчикам удастся выловить далеко не всех тарпонов, убитых или оглушенных взрывом. Многие рыбы идут ко дну, с другими живо расправляются акулы. Надежные подсчеты говорят, что рыбаку достает-

ся в среднем только каждая шестая или седьмая рыба, убитая этим способом. И конечно, сверх того губится тьма другой рыбы, мальки, личинки, рачки и прочая живность. Трудно представить себе более хищнический и дикий способ лова.

Добавьте к этому, что в каждой деревне приморья можно увидеть рыбака, которого преждевременно взорвавшийся заряд лишил руки, а то и обеих рук или обоих глаз. Часто в этом винят акул; на самом деле жертв динамита здесь в двадцать с лишним раз больше, чем укушенных акулой. Тем не менее безобразие продолжается, и до сих пор все попытки властей что-то сделать напоминали бой с тенью.

Великолепному тарпону угрожает еще и другая, не менее серьезная опасность. Взрослые особи чаще всего держатся в море и больших реках, а молодежь предпочитает ручьи, речушки и болота приморья, пока не подрастет настолько, что может подняться вверх по большой реке или выйти в море; мы пока очень мало знаем о далеких странствиях тарпона. Но в последние десятилетия многие речушки и болота пересохли, ведь из-за вырубки леса выпадает все меньше дождей. Другие речки превращаются в сточные канавы растущих поселков и предприятий. Или их отравляют применяемые хлопководами инсектициды. В такой воде никакой малек не выживет. Наконец, некоторые реки оказались отрезанными от моря после непродуманной прокладки дорог, или же их перегородили плотинами, чтобы было чем поить скот на больших асьендах. Огромное количество молоди тарпона погибает потому, что ей негде развиваться.

Иначе говоря, чтобы спасти тарпона для Колумбии, надо научиться его разводить и охранять.

А для этого нужно найти в море личинки тарпона и разработать способ отлавливать и выращивать их в достаточном количестве.

Другого выхода мы пока что не видим.

Бросаем якорь возле устья речушки Пехилин и идем вброд к берегу. В глубине края прошли дожди, речка разбухла и прорвалась сквозь песчаный вал, нанесенный волнами за время засухи. Теперь здесь вливается в море поток пресной воды.

Что удерживает личинок тарпона вблизи побережья? Может быть, следы пресной воды или что-то, приносимое ею и действующее на их органы чувств? Если это так, мы находимся в стратегически важной точке. Сколько таких точек безуспешно обследовано нами за последние дни? Сколько десятков километров прочесано волокушей и планктонной сетью?

Лишь один раз, недели три назад, мы нашли в волокуше нечто похожее на сантиметровую полоску прозрачной мокрой шелковой бумаги, безжалостно смятую и почти перерезанную пополам острой клешней маленького пелагического крабика. Была ли это личинка тарпона? Мы не знаем, и никто не знает. Можно только гадать.

Рамон и Луис Альберто берут наш самодельный «мальковый невод» из синтетического волокна. Следуя за струей пресной воды, они удаляются от берега и там, где вода несколько выше колена, начинают первый обмет. Нижний подбор прижимают одной рукой ко дну, верхний держат у поверхности и двигаются спиной вперед. Я иду за ними в двух-трех шагах, неся банки, пинцеты, лупы.

Они поднимают сеть и держат ее на воздухе между собой. Подхожу и исследую улов: обрывки тонких бурых водорослей с рифа, пучок желтых саргассовых водорослей с причудливыми плавательными пузырьками, клочья красных водорослей, полусгнившие лесные плоды, вынесенные в море речкой, креветка, краб, судорожно бьющиеся мелкие сардинки и маленькая медуза — обычный набор. Но что это шевельнулось там,

среди водорослей? Словно призрак мелькнул и тут же исчез. Нетерпеливо наклоняюсь над сетью, навожу лупу. Вижу! Сперва глаз, потом то, на чем он сидит. Маленькая живая ленточка желе, длиной около двух с половиной сантиметров, шириной миллиметра три, тонкая, как папиросная бумага. И до того прозрачная, что я отчетливо вижу сквозь нее нити нашей снасти. Только глаза пигментированы, только их по-настоящему и видно. Как будто они — единственный материальный элемент этого привидения: два рыбьих глаза, живущих в морской воде обособленно, независимо от других частей тела.

Бережно переносу крохотное стекловидное существо в банку с морской водой. И вот оно плавает там, чуть извиваясь. Лептоцефал, никакого сомнения, но чей? Такие же личинки известны у угря, у американской «боунфиш» (*Albula vulpes*), у макаби (*Elops saurus*). Может быть, в сети остались еще экземпляры? Снова обследуем невод с помощью лупы, и на этот раз мы знаем, чего ищем. Рамон находит одну личинку, Луис Альберто — сразу две. Теперь их в банке четыре, а лов продолжается. И не без успеха. Через два часа у нас уже больше сорока личинок, не считая погибших экземпляров, которые я заспиртовал на предметном стекле, чтобы потом исследовать под микроскопом.

Когда лептоцефал погибает, его тело становится молочно-белым и непрозрачным. У многих добытых нами личинок заметны белые пятнышки: очевидно, мы поранили их, когда ловили. Просто поразительно, до чего они нежные. Вероятно, раненые погибнут в ближайшие несколько часов. Я осторожно переносу их в особую банку, отделяя от неповрежденных экземпляров.

Возвращаемся в лодку, Луис Альберто пускает мотор. Через несколько минут мы уже бросаем якорь около нашего лагеря. Мы с Рамоном идем вброд к берегу, захватив банки, а Луис Альберто, несравненный организатор,

подзывает пять-шесть молодых чернокожих парней, и они помогают ему вытащить на песок лодку, отнести мотор и сети.

Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь когда-нибудь нес старые банки из-под варенья так осторожно, как мы с Рамоном. Ступаем так, словно у нас под ногами битое стекло. Наконец банки водружены на устойчивый рабочий стол в тени, можно облегченно вздохнуть и закутить. Потом мы начинаем наблюдения.

У нас два типа лептоцефалов. Или это просто разные стадии в развитии одного вида? Большинство не отличается от самого первого, но несколько штук заметно длиннее, до трех с половиной сантиметров. У этих один конец пошире, другой поуже, голова относительно меньше, ясно обозначена шея, если можно говорить о шее у малька. Плавая, они извиваются намного энергичнее — этикие миниатюрные копии знаменитого «сельдяного короля». Внимательно понаблюдав живых личинок, перехожу к погибшим. Устанавливаю микроскоп, достаю справочники, смотрю и сопоставляю.

Не знаю, сколько времени я так сижу. Наверно, не один час. Когда я наконец убираю микроскоп в его деревянный футляр и закрываю книги, две вещи мне относительно ясны. Личинки покрупнее, которые так причудливо плавают, почти наверное лептоцефалы макаби или *Elops saurus*, как назвал эту рыбу Линней. Зато личинки поменьше, составляющие около девяноста процентов улова, очень, очень похожи на ту личинку, которую описал доктор Герингер, предполагая, что речь идет о тарпоне.

Если бы только мне удалось сохранить их и увидеть, как они в одном из моих аквариумов превращаются в настоящих тарпонов. Это было бы окончательным доказательством и важным шагом к решению проблемы.

Прошла неделя. Собранные нами в двух случаях ли-

чинки плавают в столитровых аквариумах в институтской лаборатории в Картахене. Все личинки с белыми пятнышками погибли, несколько штук пострадали при перевозке, но большинство неповрежденных экземпляров выжили.

Это уже не лептоцефалы. Началась метаморфоза, и некоторые личинки совсем преобразились. Сперва они съежились, становясь все короче и тоньше и теряя прозрачность. Затем у них обозначился плавательный пузырь, крохотный позвоночник, красноватая точка будущего сердца. Появились плавнички, тут и там наметились пятнышки пигментации. Возник пищеварительный тракт, поначалу как бы подвешенный снаружи к брюшку. И когда длина личинок уменьшилась с двадцати пяти до шестнадцати миллиметров, превращение зашло так далеко, что ясно видно — это мальки, а не мокрые целлофановые ленты с глазами.

Каждый третий день я заспиртовываю несколько штук и рассматриваю через микроскоп. Стоит ли сомневаться? Правда, я еще не могу различить чешую и подсчитать число лучей в плавниках, но зачатки анального плавника обозначаются все отчетливее, и видны слабо пигментированные пятнышки по числу будущих лучей. Их слишком много для *Elops* или *Albula*, зато ровно столько, сколько плавниковых лучей у тарпона.

У других экземпляров просматриваются миомеры, мышечные сегменты, образующие большую часть мускулатуры рыб, от жаберной щели до основания хвостового плавника. У лептоцефалов покрупнее, которых я с самого начала определил как *Elops saurus*, около восьмидесяти сегментов, так и должно быть. А у личинок поменьше, которых у меня гораздо больше и которые на глазах превращаются в «настоящих» рыбок, — пятьдесят девять миомеров, как у тарпона. И подобно тарпону, они чувствуют себя одинаково хорошо и в дождевой воде из бочки, которая стоит у нас в саду, и в чистой морской во-

де, которую мы привозим на моторной лодке, и в мутноватой бурой воде из мангрового болота.

Как только разовьется плавательный пузырь, они должны — это тоже характерно для тарпона — время от времени подниматься наверх за воздухом. Если им помешать, например, натянуть мелкую сетку у самой поверхности воды в аквариуме, они через несколько часов утонут.

Еще неделя, и всем сомнениям конец. Мои мальки, не считая представителей *Elops saurus*, — тарпоны. Доктор Герингер был прав.

Чем питаются молодые тарпоны, когда они миновали шестнадцатимиллиметровую стадию и опять начинают расти? В мировой литературе об этом ни слова. И тут надо самим доискиваться ответа.

С мальками *Elops* никаких проблем. Пройдя метаморфозу, с минимальной длиной девятнадцать миллиметров, они набрасываются на любой живой корм. Если корма не хватает, они рьяно поедают друг друга. Попади к ним по ошибке крохотный тарпончик, и минуты его сочтены. В жизни не видел более прожорливых мальков. В отличие от них юные тарпоны чрезвычайно разборчивы в еде. Первое время, пока идет превращение, они как будто совсем ничего не едят. Очевидно, живут за счет «излишков», которые играют роль запасов. Но съезжившись до минимальной длины, они должны что-то есть, чтобы расти. Чем их кормить? Предлагаем им инфузорий, мелких морских червей, рачков, всякую мелюзгу, какую только можем добыть в море и в речках среди мангровых болот. Тарпончики почти все отвергают, а если иной раз что-нибудь и схватят, мы либо не успеваем проследить, что именно, либо не можем добыть достаточное количество этого корма. Чистая трагедия. Наши малыши недоедают. Они не растут. И постепенно начинают погибать.

Лишь один-единственный экземпляр выживает и

подрастает настолько, что успешно ловит рачков и новорожденных мальков карликовой *Mollienesia saucana*, близкой родственницы хорошо известной аквариумистам *M. sphenops*, которая широко распространена в районе Картахены.

Год заканчивается, он принес нам и радость, и великое разочарование. Что ж, постараемся в следующем году добиться большего, используя то, что нам удалось узнать о нересте и о миграциях молодежи.

...Начинается следующий год, и на первых порах похоже, что сама природа решила подшутить над нами. Морские течения сместились, температура воды понизилась, и зависящие от этих факторов жизненные циклы изменяют свой ход. Морским ежам положено размножаться в январе, а они ждут до апреля. Апрельская миграция тарпона в заливе Морроскильо вообще выпадает. Могучие рыбыны приходят лишь в конце мая и начале июня, да и то это разрозненные, случайные косячки.

Мы надеялись отловить идущих на нерест самца и самку и сделать опыт с искусственным оплодотворением икринок. Какое там! Обычно тарпон достигает половозрелости при длине свыше метра, а такие крупные экземпляры легко прорываются сквозь наши новенькие сети, качество которых, как и надо было думать, не отвечает спецификации. Иногда мы все-таки что-то добываем, но либо у пойманной нами рыбы нет икры, либо нам не удастся одновременно взять самку и самца. Честное слово, можно поседеть, не будь голова давно уже белая.

Но нельзя падать духом, надо трудиться, трудиться день и ночь, брать невезение измором. Тем более что в этом году у меня новый помощник, мой старший сын Лейф. Он тоже ихтиолог, и его молодые глаза порой видят то, чего мои старые уже не в силах рассмотреть.

Вопреки всем неприятностям, у нас еще есть надеж-

да. Когда пойдут дожди и вскроются устья рек, лептоцефалы непременно двинутся к побережью, ведь опресненная вода необходима им для метаморфозы. И уж тогда-то мы их найдем.

Наступает сезон дождей — по календарю, — а дождя нет. Побрызгает немного в саванне, и все. А в приморских горах и на берегу — ни капли. В прошлом году Пехилин прорвался сквозь песчаный вал к морю девятого июня. Сейчас середина июля, а устье все еще перекрыто. В самые последние дни наконец выпали осадки, но слишком мало, чтобы наполнить русла.

Что же будет в этом году с мальками тарпона? Вдоль всего песчаного пляжа в заливе Морроскильо нет ни одной пресноводной лазейки, через которую они могли бы проникнуть в мангровые болота. И что будет с нашими планами? Неужели на пятьдесят километров нет ни одного участка, где сквозь песок просачивалось бы в море хоть немножко пресной воды? Если такое место есть и если верна наша догадка, что личинкам нужна опресненная вода, мы должны найти их там. Это все равно что искать зеленую иглу в гигантском стогу сена. Но ведь не может невезение длиться вечно. Иногда упрямство вознаграждается.

Пятнадцатого июля мы обнаруживаем следы пресной воды и находим личинок. Их немного, и появляются они только в отлив, когда давление моря на песок ослабевает, так что могут пробиться встречные струйки. Все же нам удастся отловить некоторое количество и доставить живьем в лабораторию в Картахене. Здесь эстафету принимает мой сын Лейф. Он специалист по выращиванию мальков, привез из Европы все, что для этого нужно.

Отлов лептоцефалов, хотя и в незначительном объеме, продолжается. Большая часть нашей добычи выживает. Мы разработали более надежный способ перевозки и установили, что мальки с наслаждением едят науплиус

листоногого рачка *Artemia salina*. Вряд ли он составляет их естественный рацион, но от этого корма они растут и поправляются, а затем переходят на мангровых креветок и мальков других рыб. И мы убеждаемся, что в наших аквариумах и прудах молодые тарпончики растут быстрее, чем в мангровых болотах. Должно быть, потому, что корм обильнее.

А как же лептоцефалы в море? Что будет с ними? Во-первых, нерест явно запоздал, во-вторых, дожди никак не начнутся по-настоящему. Если где-то иногда и выпадают осадки, то в других местах держится засуха. Постепенно некоторые речушки пробиваются к морю, но большинство так и остаются перекрытыми.

После каждого дождя Лейф и его помощники обнаруживают в пределах самой Картахены косячки личинок тарпона — они устремляются к выходам сточных вод и загрязненной пресной воды, туда, где их заведомо ждет гибель. Даже в декабре в грязной канаве около «Клуба Картахена» наблюдаются стайки хиреющих с каждым днем, обреченных личинок. Эта канава — сток для клубной кухни и других служб.

Мы спасаем лептоцефалов по мере сил и возможностей и выращиваем их как в картახенской лаборатории, так и на новой опытной станции в Сан-Кристобале. Разумеется, на каждую спасенную личинку погибают тысячи. А с моря изо дня в день доносятся взрывы динамитных патронов. Люди пишут в газетах, жалуются на динамитчиков, но как только встает вопрос о деньгах на эффективный надзор, газеты смолкают. И даже когда на картახенском рынке взрывается спрятанный контрабандистами динамит, отправляя на тот свет около шестидесяти человек, никто не принимает действенных мер.

А в наших аквариумах и прудах живет под строгим наблюдением несколько сот спасенных рыбок. Мы начинаем овладевать искусством разведения тарпона.

Лейф находит на побережье богатые рачком *Artemia salina* соленые водоемы; вот и еще одна проблема решена, ведь до сих пор нам приходилось импортировать науплиусов.

И наконец настает день, когда мы можем выпустить пятьсот молодых тарпонов в два специально отобранных, строго охраняемых озера. Небольшое количество рыбешек остается в лаборатории для контроля за их развитием. Мы надеемся в следующем году развернуть свой эксперимент гораздо шире, вырастить не сотни, а тысячи тарпонов. Насколько известно, тарпон становится половозрелым к пяти годам. Может быть, за эти пять лет мы сумеем заложить основу новой популяции. А одновременно поможем создать организацию, которая обеспечит надзор за промыслом и положит конец безобразиям динамитчиков.

Это одна из многих задач, стоящих перед нами.

ПОСЛЕДНИЕ КИЛОМЕТРЫ

Плот медленно скользит среди камышей, еще окутанных длинными мягкими очесами утреннего тумана. Утиная тяга в разгаре. Кваквы, словно тени, летят с рыбной ловли в свои убежища в манграх.

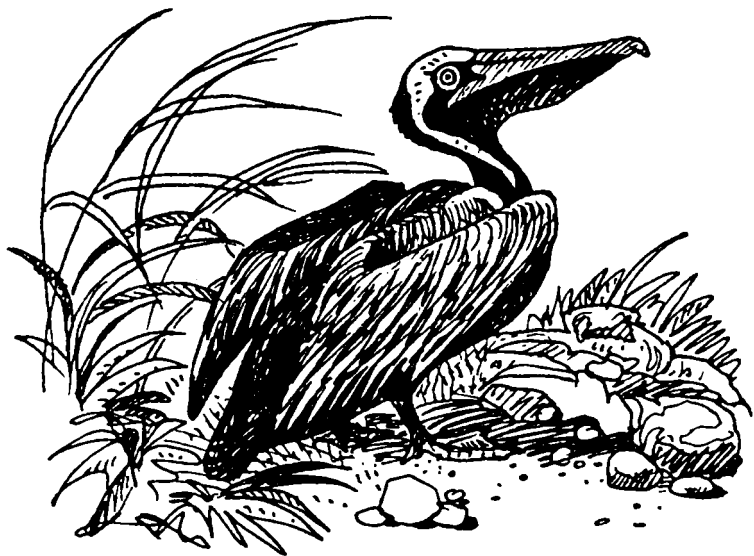
Переход через озеро длился три дня. Старик работал шестом и веслом, использовал попутный ветер в узких протоках среди мангров и камышей. Он избегал широких водных просторов, ведь бальсовый плот, связанный для плавания по реке, непригоден для поединка с волной. Совсем немного осталось до того места, где озеро возвращает воду реке. Течение уже влечет неуклюжее судно.

Впереди проток сужается. Несколько гребков рулевым веслом выравнивают плот. Затем старик берет пальмовый щест, чтобы оттолкнуться от берега, если бу-

дет необходимость. Мягко рыскнув в сторону, плот выходит на стремнину и вместе с ней врывается в стиснутый берегами узкий проход. Два-три раза приходится пускать в дело шест, потом старик берется за рулевое весло.

И снова плот на реке, на широкой неторопливой реке, которая скоро завершит свой бег. Заиленные косы, чисто вымытые последним приливом песчаные отмели, уходящие вдаль заросли белых мангров, чайки, пеликаны... Где повыше — серенькие лачуги рыбаков между изящными кокосовыми пальмами. Восходящее солнце. И в небе за мангровой стеной — два черных креста, два фрегата. Старик расправляет плечи, чувствуя на своем лице первое дыхание соленого ветра.

На берегу одиноко стоит кокосовая пальма. Ее ствол образует ту самую линию, которую нарисовал Хогарт, когда его попросили определить понятие красоты.



Плот медленно огибает последнюю излучину и выходит на простор неглубокого залива. У берега вода бурая, дальше сверкает сине-зеленая гладь.

Старик оборачивается и дарит своей реке последний долгий прощальный взгляд. Потом опять смотрит в море. Он будто сбросил с плеч десятков лет. Уголки рта изогнула улыбка. Уехать «домой», прекратить борьбу, сидеть летом на крыльце, зимой — в комнате, отмеряя годы тысячами страниц? Ни за что, пока есть работа, которую нужно делать, пока есть борьба, в которой надо участвовать, пока в реках, манграх и морских заливах таятся еще нераскрытые тайны. Снова его река исцелила его, снова его море встретило его и возродило в нем силы и волю.

Он привязывает к длинному пальмовому шесту сигнальный флажок и втискивает конец шеста между бревнами. Среди островков начинает кашлять мотор. Длинная индейская лодка, морская пирога с обводами варяжского «дракона», идет к плоту, рассекая форштевнем воду. Вот уже можно узнать людей в лодке — людей, которые из года в год сопровождали его в экспедициях: Рамон и Карлос, Луис Альберто и Дамасо, а на руле сидит его сын.

Пирога пристает к борту плота, смуглые руки принимают его вещи. Затем он сам переходит в лодку. Бальсовый плот относит течением в море, а лодка огибает косу и берет курс на север.

Старик смотрит на голубеющие в лучах восходящего солнца гористые мысы. Плот и река — уже прошлое. Не оглядываться назад, а смотреть вперед, туда, где его ждет труд нового дня.

А где-то там, за бледной сапфировой дымкой над океаном, ждет его Па-ку-не.

Дикие горцы



Georg Dahl DE VILDA VÄGARNA Stockholm, 1969



В ВИЛЬЯВИЧЕНСИО

Разумеется, мы не выехали в поле в намеченный день. Невозможно выдерживать график, когда организуешь экспедицию в восточные льяносы. Тем более если нужно пополнить запасы и снаряжение, да еще при этом войти в контакт с представителями властей, все равно какими: чем меньше начальник, тем больше палок в колеса он ставит.

На сей раз камнем преткновения оказался спирт для консервации. Нам требовалось изрядное количество высокопроцентного алкоголя, лучше всего без примесей, чтобы заспиртовать собираемых рептилий, земноводных и рыб. Конечно, и формалин годится, но после многих лет работы с ним у меня к нему такая аллергия, что я от одного запаха делаюсь неработоспособным: слезы текут градом, я ничего не вижу и надсадно кашляю.

В Колумбии винная монополия — один из твердых источников дохода для местных властей. Соблюдая установленный порядок, мы пошли в соответствующее управление и попросили отпустить нам сто литров 96-процентного спирта. Бумаги наши были в полном порядке, с визами всевозможных столичных инстанций, но это не помогло. Должностное лицо, заведовавшее спиртом, подозрительно обозрело нас и предложило денатурат, к тому же с примесью формалина. Чистый спирт частным лицам? Только с особого разрешения господина интенденте¹. А господин интенденте, к сожалению, в командировке. И никому не известно, когда он вернется.

Разговор затянулся. Чем дальше, тем больше отговорок придумывал чиновник. Наверное, маленький подарок в виде нескольких ассигнаций все мигом бы решил, но ведь начнешь давать взятки — потом так и пойдет. И вообще: что это за безобразие! В конце концов мы ретировались и пошли в ближайшую кантину² выпить чашечку кофе.

Кантина была полна посетителей. Мой товарищ Фред Медем, который немало странствовал в льяносах и приобрел здесь тьму друзей, увидел вдруг знакомое лицо. И вот он уже радушно здоровается с человеком в форменной фуражке. Это был очень славный молодой парень, недавно назначенный сержантом Ресгуардо де Рентас, то есть таможенной службы. Мы пригласили таможенника к своему столу и рассказали ему про свои невзгоды. А он сообщил нам, что господин интенденте недавно вернулся из инспекционной поездки по реке Мета и его, наверно, можно застать в канцелярии.

¹ И н т е н д е н т е (исп.) — государственный чиновник, представитель местной администрации. — *Прим. пер.*

² К а н т и н а (исп.) — погребок, столовая. — *Прим. пер.*

Мы побеседовали еще немного, затем сержант извинился: служба ждет. И ушел, а я и Фред немедленно отправились в канцелярию. Нам повезло. Я узнал в господине интенденте бывшего аспиранта, у которого когда-то принимал экзамены. Видно, он остался доволен экзаменатором, потому что встретил нас очень радушно. Сердечная беседа вылилась в письменное распоряжение негговорчивому Бюрократу отпустить потребное нам количество 96-процентного спирта без каких-либо примесей. Интенденте объяснил, что контрабанда и незаконный сбыт спиртного приняли огромные масштабы в его округе, похоже даже, что в городе есть подпольная винокурня. Оттого, мол, нам и отказали.

У нас на этот счет было свое мнение, но мы, понятно, воздержались от нелестных отзывов о служащих его аппарата, а вместо этого поспешили нанять грузовик, погрузили на него свои алюминиевые бидоны с прочными висячими замками и снова наведались в винную лавку. Заведующий нисколько не обрадовался, увидев приказ начальника, но возражать не посмел: ладно, приезжайте за спиртом послезавтра, в четыре часа.

Фред спокойно справился, не следует ли нам еще раз обратиться к господину интенденте? После этого выяснилось, что спирт можно получить немедленно. Видно, его берегли для какой-нибудь другой цели. Удалось также втолковать продавцу, что когда начальник пишет «литр», он подразумевает именно литр, а не бутылку. Мы расплатились и после небольшой дискуссии даже получили справку о том, что спирт приобретен законным порядком, для таких-то целей.

Полчаса спустя бидоны стояли в комнате, снятой нами в местном пансионате. Фред обнаружил, что в наше отсутствие кто-то пытался вскрыть один из его ящиков, и на всякий случай добавил еще замок.

Подошел час обеда. Нам подали такую дрянь, что мы тут же решили оставить это заведение. Хозяйка потребо-

вала с нас плату за трое суток. Мы попробовали напомнить ей, что провели в пансионате всего одну ночь. И услышали в ответ, что мы жулики и бандиты, задумали ограбить бедную вдову! Но Сан-Кристобаль не даст ее в обиду! Она выразительным жестом указала на гипсовую фигуру святого Христофора и послала служанку за полицией.

Сейчас мы, безбожники, убедимся, что Сан-Кристобаль — ее лучший друг!

Я заметил, как в разгар ее сольного номера Фред мигнул Карлосу Альберто и тот куда-то исчез. Мы закурили еще по сигарете и продолжали слушать монолог хозяйки. Из него мы узнали, в частности, что дивное изображение Сан-Кристобаля принадлежит ее роду не один десяток лет и на его счету немало чудес. И что род у нее почтенный, по праву заслужил благоволение небесных сил. И что... В эту минуту вернулась служанка с полицейским. С первых слов уже по выговору стало ясно, что блюститель порядка — земляк нашей хозяйки. Он приготовился подвергнуть нас строжайшему допросу.

Но вышло иначе. Только полицейский углубился в изучение предъявленных нами бумаг, как вошел Карлос Альберто, а с ним — наш друг из таможенной службы. Сержант учтиво взял под козырек и доложил, что господин интенденте просил передать господам профессорам привет и выяснить, не надо ли нам чем помочь.

Интенденте в восточных льяносах — важная шишка; к примеру, шведский начальник полиции перед ним все равно что домашняя кошечка перед бенгальским тигром. Неудивительно, что полицейский осекся и вся его агрессивность тотчас улетучилась.

Фред спокойно объяснил сержанту ситуацию, прозрачно намекая на шантаж и мошенничество.

Сержант только поддакивал: «Да-да, господин профессор», «Конечно, господин профессор» — и что-то

писал в своей записной книжечке. В заключение он осведомился, есть ли у нас претензии к кому-нибудь. Хозяйка поспешно дала задний ход. Дескать, произошло недоразумение, и все такое прочее. Она клялась, что с этой минуты все пойдет иначе, и Фред решил смириться.

Разыскивая сержанта, Карлос Альберто заодно успел выяснить, где находится хороший ресторанчик, и мы пошли туда обедать. Гладкий цементный пол, чистые клеенки на столах, на голой дощатой стене красным карандашом написано меню: жаркое из мяса пака. Мы заказали три порции жаркого и надлежащее количество бутылок холодного пива.

Хозяин, приветливый старый сантандерец¹, сам нас обслужил. Фред был с ним давно знаком, и завязался увлекательный разговор. Говорили о том, что у пака нежное мясо, и о том, что это животное — превосходный пловец. Если не ошибаюсь, мы пришли к выводу, что эти два качества позволяют считать пака рыбой, во всяком случае по пятницам, следовательно, ее могут есть даже самые ревностные католики. Хозяин перешел к другому столику, а мы принялись за еду. Жаркое и впрямь было чудесным.

В это время отворилась дверь, и в ресторан вошли еще двое посетителей. На них была обычная одежда жителей льяносов: брюки и рубахи из материи защитного цвета, грубые сандалии. Один — кряжистый коротыш с густой черной бородой и живыми карими глазами; несмотря на светлую, как у испанца, кожу, в нем угадывалась примесь индейской крови. Луис Барбудо, великий знаток моторов и здешних рек. Второй был на полголовы выше и лет на двадцать старше, ему уже перевалило за шестой десяток. Прямой, как копье, скуластое смуглое лицо, с которого почти никогда не сходи-

¹ Сантандер — один из департаментов Колумбии. — *Прим. пер.*

ло выражение суровости. Было в нем что-то от неподвластной времени, несокрушимой скалы. Его тонкие губы улыбались редко, глаза — чаще, только надо было уметь это разглядеть. Агапито, предводитель горстки индейцев, представляющих некогда славное племя тинигуа.

Тинигуа никогда никого не обижали. Держались они особняком, возделывая маниок на своих маленьких полях в лесных дебрях между истоками реки Гуаяберо. Долго им удавалось избегать встреч с земельными спекулянтами, контрабандистами, корью, дизентерией, миссионерами и оспой. Это было абсолютно миролюбивое племя, полукочевое, не очень многочисленное, зато свободное и неиспорченное. Лес, река и собственный труд давали им все необходимое, кроме некоторых металлических орудий и соли. И так как они не обладали ничем, что могло бы соблазнить других, никто их не трогал.

Но вот в стране разразилась гражданская война. Началась она в 1948 году¹ с убийства либерального политического деятеля. Дальше — хуже. Властители сменялись, страну опустошали вооруженные банды. И одна такая банда набрела на временный лагерь тинигуа на берегу реки.

Мужчин в лагере не было, они разделились на маленькие отряды и ушли в лес выслеживать тапиров. Женщины и дети купались, удили рыбу, стряпали, отдыхали и наслаждались жизнью. В это время на реке показались лодки. В них сидели чужаки, вооруженные автоматами. Увидев лагерь, они открыли огонь. Люди, по которым они стреляли, были безоружны. Удалось спастись трем женщинам и одному мальчугану.

По счастью, в этом лагере находилось не все племя;

¹С 1948 по 1957 год в Колумбии шла борьба за власть между консервативной и либеральной партиями страны. — *Прим. ред.*

тем не менее массовое избиение подкосило тинигуа. Племя потеряло большинство молодых женщин. Молодые мужчины и юноши ушли искать себе жен в другие племена — к гуаяберо и гуахибо.

Единственный уцелевший сын Агапито женился на женщине гуаяберо.

Несколько лет спустя объединенный отряд индейцев из разных племен подстерег бандитов и расправился с ними. Но трагедия Агапито была необратима.

...Итак, нас стало пятеро за столиком. Луис Барбудо поделился местными новостями. Говорят, под вечер должен прилететь Томми на своем самолете. Он привезет американских туристов, они охотились на границе Макаренских гор. Эти горы недавно объявили заповедником — понятно, там легче подстрелить тапира. Еще говорят, что Томми купил большую лодку, чтобы возить своих североамериканских клиентов, а теперь собирается продать ее. Лодка находится у Кемп-Томпсона, где Томми устроил свою базу. Все это было очень кстати для нас.

Я давно знал Томми. Во время Второй мировой войны он пилотировал бомбардировщик, затем два года оставался в оккупированной Германии, а после демобилизации перебрался в Колумбию, где испробовал разные виды деятельности — от выращивания кофе до контрабанды. Теперь он выступал в роли организатора охотничьих экспедиций, а кроме того, перевозил грузы на своем старом дряхлеющем самолете, который прозвал «Мисси Лу».

Мы попросили Карлоса Альберто перехватить Томми у аэродрома и отбуксировать его в ресторан — самое подходящее место для переговоров, а сами принялись вербовать в нашу экспедицию Луиса Барбудо. Он превосходно разбирался в лодках и моторах, да и по многим другим соображениям был желанным человеком в экс-

педиции. Мы быстро поладили и облегченно вздохнули: сами понимаете, в тысячекилометровом путешествии по реке хороший моторист — не последний человек.

Теперь нам не хватало только проводника, который знал бы каждый приток, каждый галерейный лес, каждое озеро и озерко от предгорий Анд до Ориноко. Или хотя бы до среднего течения Гуавьяре. Конечно, лучше всего было бы, если бы с нами пошел сам Агапито, но об этом мы даже не мечтали. Такая работа не для него. К тому же Агапито чувствовал себя ответственным за уцелевших соплеменников и ни за что не согласился бы оставить их надолго. Но может быть, он нам кого-нибудь предложит?

Агапито выслушал нашу просьбу, кивнул и задумался. Мы терпеливо ждали его ответа: торопить индейца — пустое дело.

Наконец мы услышали ответ, всего одно слово:
— Матеито.

Ну конечно, и как мы сами не додумались! Матеито — самый подходящий человек. Мы с ним уже встречались, видели его в деле, и вот, надо же, выскочил он из головы.

Есть люди, обладающие уникальной способностью сливаться с окружающей средой так, что их не замечаешь. словно сама природа наделила их даром маскировки. Хочется сравнить их с вальдшнепом: поди разгляди его, когда он притаится в ольшанике. Матеито это свойство было присуще в редкой даже для индейцев степени. Порой казалось, что он умеет изменять свои облик, как оборотень из сказки. Оставалось выяснить, согласится ли Матеито поехать с нами. Мы почти не сомневались, что он согласится, иначе Агапито не стал бы его называть.

Луис Барбудо поел и отправился делать закупки, а мы с Фредом продолжали сидеть за столиком. Агапито остался с нами. Я понял, что вождь хочет сказать что-то Фреду с глазу на глаз, и пошел купить сигарет. Когда я вернулся, старого индейца уже не было.

— Чего хотел Агапито? — тихо спросил я по-английски.

— Он узнал, что его сын женился и живет где-то в районе Сан-Хосе-де-Гуавьяре, — так же тихо ответил Фред. — И вот попросил меня сфотографировать сына, его жену и детей, чтобы он мог их увидеть хотя бы на картинке, прежде чем умрет.

— Да он до ста лет доживет, — возразил я. — Любой, кто на него посмотрит, скажет, что ему еще далеко до могилы.

— А вот он думает иначе. Ты ведь знаешь этих старых индейцев. Они как будто заранее чувствуют, когда подходит их срок.

Мне нечего было возразить, и мы продолжали беседовать о том о сем, пока не вернулся Карлос Альберто вместе с Томми. Тот как раз доставил в большой отель своих туристов-охотников и собирался завтра утром лететь в лагерь на Гуаяберо. Заодно он мог подбросить Карлоса Альберто и что-нибудь из наших вещей. А меня, Фреда и Луиса Барбудо Томми заберет послезавтра. Мы договорились о цене и пошли к себе в пансионат отбирать первую партию багажа.

На следующий день с утра все шло как по маслу. Томми чуть свет вылетел в Кемп-Томпсон, захватив большую часть нашего снаряжения; с ним полетели Карлос Альберто и Агапито. Мы с Фредом пошли по лавкам. Вильявиченсио был последним пунктом, где можно было сделать какие-то закупки; в Сан-Хосе в лучшем случае найдешь бензин, соль и сигареты. Если упустим что-то теперь, придется терпеть до возвращения, то есть два, а то и три месяца.

Луис Барбудо занимался мотором и добывал запасные части. Во второй половине дня он доложил, что мотор в полном порядке и собран неплохой комплект запчастей и инструмента.

В пансионате все было тихо и мирно. Мы получили

вполне приличный завтрак; на ленч нам подали по тарелке супу и жареное мясо, которому не мешало бы еще повариться, прежде чем его положили на сковородку. Хозяйка стояла в двери и улыбалась не без злорадства, глядя, как мы сражаемся с мясом. Мы не стали ничего говорить. Что тут поделаешь, если она просто не в состоянии лучше готовить.

К вечеру все закупки были сделаны, и мы решили опять пойти в ресторан.

Ночь мы проспали сном праведников. Томми должен был прилететь около восьми утра, если ничто не мешает. Мы рассчитывали, что будем в Кемп-Томпсоне еще до обеда, а на следующий день начнется наше путешествие по реке.

РЕКА ПРЕКРАСНЫХ ВИДЕНИЙ

На аэродроме Вильявиченсио стоял одномоторный самолет Томми. Помятый фюзеляж и мутные, исцарапанные окна свидетельствовали о беспокойном, волнующем прошлом.

— Самолеты все равно что женщины, — объяснял Томми. — Пока они молоды, с ними можно ладить. Бывают, конечно, капризы, и тогда приходится идти на взаимные уступки. Потом наступает трудный возраст, отношения сильно осложняются. А дальше опять все налаживается, только не ленись поухаживать. Самое главное вовремя списать самолет. Нельзя тянуть до последнего полета, надо уметь заставить себя остановиться после предпоследнего. Именно предпоследнего. Потому что ждать до самого конца — слишком много риска, но и торопиться ни к чему: прогадаешь.

Мы почтительно слушали седого великана с головой льва и глазами мальчишки. Никто из нас не решился спросить, долго ли осталось «Мисси Лу» ждать послед-

него полета. Положившись на заверение Томми, что все важные части на месте, мы втиснулись в кабину среди ящиков, ружей, узлов и прочего движимого имущества. Мотор заработал со второй попытки, и вот уже мы в воздухе. Вскоре впереди и справа показались горы Сьерра-Макарена: на севере — крутые вершины, на юге — бурое плоскогорье с обмелевшими от засухи руслами. К горам примыкала саванна с галерейными лесами вдоль рек; кое-где высился старый дремучий лес. Вильявиченсио остался далеко позади, а тут — ни жилья, ни расчисток...

Самолет обогнул крайний южный отрог Макаренских гор, и внизу засверкала широкая гладь Гуаяберо. Мы сели на берегу возле редких лачуг, стоящих на рубеже леса и каменистой, скудной саванны. Это и был Кемп-Томпсон, откуда начинались охотничьи экспедиции Томми. У посадочной полосы нас ожидал Карлос Альберто вместе с приютившим его помощником Томми, косоглазым Элисео, о котором говорили, что он окосел потому, что слишком много летал со своим хозяином на «Мисси Лу» по извилистым андским ущельям. С ними был еще один рабочий, они прикатили тележку на двух автомобильных колесах. Пока Томми подкручивал расшатавшиеся в полете болты, мы выгрузили багаж и уложили его на тележку. Правда, ружья, бинокли, фотоаппараты и прочие нежные предметы мы предпочли нести сами. Наша предусмотрительность была вознаграждена: на полпути дно тележки провалилось, и багаж посыпался на траву. Пришлось Элисео идти в лес за палками и лианами и заниматься текущим ремонтом, после которого мы без дальнейших злоключений докатили вещи до поселка.

Здесь мы передохнули и выпили кофе, а затем Карлос Альберто доложил, что пришел Матеито. Мы вышли и на скамейке около дома увидели жилистого, коренастого индейца тинигуа. Он учтиво встал и поздоровался.

Меня поразила его внешность. Когда Матеито был еще совсем юным пареньком, у него состоялась небольшая дискуссия с одним ягуаром, который считал индейских детей съедобными. Матеито никак не хотел с этим согласиться.

В пылу спора ягуар настолько забылся, что зацепил оппонента передней лапой. Матеито дал ему сдачи своим мачете, после чего спор оборвался ввиду кончины одного из спорщиков.

Но лапа успела сделать свое дело. Задев лицо молодого индейца, она лишила его одного глаза, щеки и нескольких зубов. От уха осталось что-то смахивающее на ядро грецкого ореха, уголок рта исказила вечная кривая улыбка. Поглядишь на Матеито слева — обыкновенный старый индеец, справа — будто химера с готического собора.

Некоторые пугались, впервые увидев Матеито, пугались беспричинно. В этом была, если хотите, его трагедия, потому что одноглазый тинигуа относился к людям хорошо и обожал детей. Но сознание своего страшного уродства сделало его замкнутым, застенчивым и нелюдимым. Когда у него не было никакого другого дела, он обычно вырезал куколок из бальсы, чтобы порадовать игрушкой какого-нибудь постреленка. В лесах у Гуаяберо с игрушками туго. Матеито был также великолепным резчиком по кости и рогу. Припасет побольше крохотных фигурок, нанижет на шнур и подарит кому-нибудь.

После разговора с Матеито наши планы обрели полную определенность. Было решено, что мы купим у нашего приятеля Томми большую лодку, которая ему все равно не нужна, поставим на ней мотор Фреда и отправимся вверх по Гуаяберо до ее притока Каньо-Лосада. В его устье разобьем лагерь, более или менее постоянный, смотря по тому, что там обнаружим. Луис Барбудо останется в лагере с большой лодкой и основной частью

снаряжения, а мы пойдем на маленькой пироге вверх по притоку, сколько будет можно.

От Каньо-Лосада сплошной лес тянется через водораздел до Яри и сети речушек, чьи воды впадают в Ваупес и вливаются в Амазонку. Следовательно, мы окажемся поблизости от рубежа между бассейнами Ориноко и Амазонки.

В бассейне Амазонки нам нечего делать. Мы будем работать на притоках Ориноко, пока не найдем настоящую большую анаконду *Eunectes murinus gigas*. Или пока не получим новые распоряжения. Если только они до нас дойдут.

Правда, еще было неясно, эндемична ли анаконда в области Ориноко. Может быть, она и в Амазонасе водится? Но это мы выясним после. Сначала будем искать там, где больше надежд на успех.

Естественно, мы попробовали расспросить Матеито, однако наш проводник не был расположен говорить про анаконду. Едва речь зашла о великой змее, как он забыл то небольшое, что знал по-испански, а нам было известно на языке тинигуа всего три-четыре слова. Конечно, Матеито знал, что анаконду в Колумбии называют «гюио», но он вообще избегал ее как-либо называть, а уж если некуда было деться, употреблял слово «супаи», означающее «демон», «злой дух», «дьявол». В конечном счете нам удалось выяснить у него, что на Каньо-Лосада мы наверняка найдем супаи, а ниже по течению Гуаяберо водятся большие, очень большие супаи. Матеито не мог нам сказать, насколько они велики, он слышал только, что они «има има» — большие-пребольшие.

Мы официально наняли Матеито проводником и помощником моториста и начали готовиться к старту.

Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда наша пятерка, захватив большую часть снаряжения, вышла на лодке из Кемп-Томпсона вверх по реке. Лу-

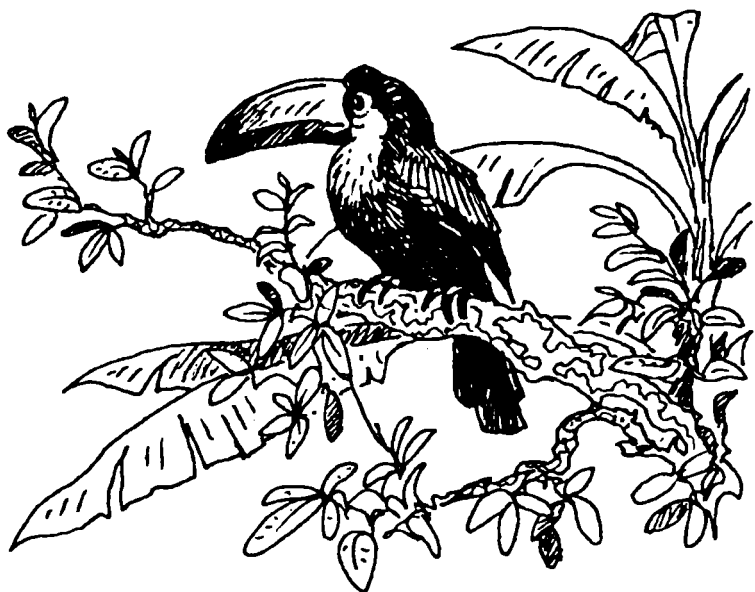
ис Барбудо хорошо знал фарватер, он бывал здесь раньше.

Прозрачные, как всегда в засушливое время года, струи Гуаяберо быстро бежали по ложу из серо-черной метаморфизованной горной породы. Лес во многих местах доходил почти до отметки разлива. Тут и там встречались каменистые пляжи с крупной галькой в верхней и мелким гравием в нижней частях намыва. Пока держится засуха и уровень воды падает, они будут все более обнажаться, и так до конца марта, когда снова польют дожди, пополняя водоемы влагой. Здесь лес еще не свели, как это сделали в густонаселенном крае к западу от гор, где за несколько десятилетий дождевой сезон укоротился на два месяца.

Правее нас находилась южная часть Сьерра-Макарены — крупнейшего заповедника Колумбии. Охрана в заповеднике в то время еще не была налажена, и браконьеры делали свое черное дело. Особенно доставалось оленям и тапирам.

На пути к устью Каньо-Лосада мы одолели несколько несложных перекатов. Было чудесное свежее утро. Цапли изваяниями стояли по берегам, взлетая, когда мы подходили близко. Сине-красно-серебристые зимородки, словно ожившие драгоценности, проносились мимо. Над берегом играли в воздухе вилохвостые коршуны. Высоко в небе кружила скопа. В густых зарослях, свесивших ветви над водой, возились гоацины. Их квакающие крики, неловкие движения при лазании и неуклюжий полет вызывали в уме представление о древних предках птиц той поры, когда даже у самых развитых представителей пернатых клюв уснащали зубы, а вместо короткой гузки, которую кое-кто из моих друзей называет «архиерейским носом», болтался длинный, как у ящерицы, хвост.

Крокодилов и кайманов не было видно. До нас здесь недавно побывали так называемые охотники-спортс-



мены, и они так нещадно отстреливали всех, даже самых маленьких представителей крокодильего племени, что уцелевшие спешили спрятаться при первом звуке мотора.

На всем пути от Кемп-Томпсона до Каньо-Лосада мы не встретили ни одной лодки и не видели на берегу ни одного человека. Правда, в двух местах в галерейном лесу слева зияли прошлогодние вырубki, а один раз даже промелькнул домик колониста. Людская волна начала перехлестывать через горы и проникать сюда.

Но вот впереди слева открылся в лесу широкий просвет. Мы увидели песчаный пляж и за ним — тихий блестящий плес. Розовая колпица взмыла в воздух, когда лодка, послушная руке Луиса Барбудо, описала кривую и вошла в устье притока. На светлом песочке отчетливая цепочка следов оленя переплелась с причудливыми отпечатками трехпалых ног капибары.

Мы прошли с километр по Каньо-Лосада, но дальше тяжело нагруженной лодке путь преградил пережат. Мы пристали к берегу и принялись расчищать площадку для лагеря в зарослях гуаявы, в нескольких десятках метров от воды. Прыгая с камня на камень, Матеито переправился на другой берег и через несколько минут привел маленькую пирогу, которая была у него спрятана под нависающими над плесом ветвями. Именно то, что нам нужно, чтобы продолжать путешествие вверх по притоку. Мы перетасили лодку через пережат к следующему пляжу, затем начали переносить багаж.

Эту работу возглавил Фред, а я вооружился накидной сетью и пошел добыть мелких рыбешек для коллекции и для наживки, чтобы потом поймать что-нибудь покрупнее на обед. Вскоре у меня в банке их набралось больше десятка серий. Особенно много было *Thoracocharax stellatus*, и я наживил ими несколько жерлиц. В месте слияния Каньо-Лосада и Гуаяберо я остановился и забросил удочку.

Клев был хороший, а улова никакого, рыбы воровали наживку, срезая ее с крючка чисто и аккуратно, словно бритвой. Все ясно. Я нарвался на косячок мелкой пирании — она же пиранья, или пескарибе. Ориноко и Амазонка изобилуют пиранией. Известно много родов и видов этих хищных рыб, которые внешне представляют собой нечто среднее между карасем, красноперкой и лещом, только чешуя у нее мельче и плотнее. Большинство пираний по величине не больше ладони, однако некоторые виды, в том числе грозная *Serrasalmus nattereri*, достигают одного-двух килограммов. Есть родственные формы, превосходящие их весом раз в десять, но они не ходят косяками и их нельзя считать настоящими пираниями.

Пиранию отличает ее прикус и обыкновение ходить в косяках, насчитывающих от нескольких десятков до сотен, даже тысяч экземпляров, и все примерно одной ве-

личины; недомерки, видимо, просто не выживают. Зубы у разных родов различаются, но все они заставляют невольно вспомнить слова, сказанные стариком Киплингом при виде живого паука-птицеяда: «Это, вне всякого сомнения, творение самого дьявола».

Возможно, прикус рода *Serrasalmus* уступает другим в живописности, зато эффективностью вряд ли что-нибудь может сравниться с оснащающими челюсти этих рыб миниатюрными бритвенными лезвиями. Некоторые индейские племена в районе Гуаяберо (если не ошибаюсь, пуинаве и пиапоко) в прошлом использовали вставленные в дерево челюсти пирании в качестве перочинных ножей.

Иногда пирании могут быть опасными даже для человека. Конечно, их кровожадность значительно преувеличена любителями сенсаций, миссионерской братией и исследователями-домоседами, которые даже смиренного удава и слепых бродячих муравьев ухитряются изображать страшными чудовищами. А что они говорят и пишут о тех индейцах (юко, добокуби, аука), у которых хватает мужества постоять за своих женщин и защищать свои наследственные поля против вторжения чужеземцев! Один такой автор несколько лет назад заявил в своей книге, что он-де «только на миссионерской станции видел улыбающегося индейского ребенка». Написать такое мог тенденциозный враль или человек, который только на миссионерской станции и видел индейских детей.

Но вернемся к пираниям. Сколько раз мне доводилось наблюдать, как люди спокойно входят в речку, где водятся эти маленькие прожорливые рыбы. Да я и сам так поступал; другое дело, если бы у меня была малейшая ранка: похоже, что запах крови вызывает у пирании агрессивный рефлекс. И уж, начав кусать, эти хищницы не успокоятся, пока от жертвы не останется один скелет, во всяком случае пока косяк не наестся до отвала. Пер-

вое бывает чаще. Впрочем, я своими глазами видел, как подраненная капибара проплыла с полтора километра по реке, кишашей пираньями, и благополучно выбралась на берег, не получив ни одного укуса. Объясните это, кто может!

...Я сменил место, поймал накидкой разную мелюзгу для наживки, отошел еще дальше и снова принялся удить. На этот раз пираний опередила другая рыба — красивый сом из тех, которых на Ориноко обычно называют тихерета, а наука именует *Paulicea liitkeni*. Он весил килограмма три-четыре, и это совсем немного, если учесть, что самые крупные тихереты достигают сорока килограммов.

Пока я вытаскивал из воды сопротивляющегося сома, явились пираньи и конечно же набросились на него. Видно, с их точки зрения, в его поведении было что-то ненормальное. И они успели оборвать ему почти весь хвостовой плавник, прежде чем я извлек его на берег.

Крючки жерлиц оказались аккуратно обчищенными. И тут поработали пираньи. Я наживил крючки заново двумя сомиком и направился к лагерю, откуда незадолго перед тем до меня донеслись три выстрела и рокот подвесного мотора.

Карлос Альберто был занят разделкой маленького оленя, который задумал переправиться через реку поблизости от нашей стоянки, но был сражен из малокалиберной винтовки Фреда. Большую часть мяса мы засолили и закоптили, а остального вместе с моей тихеретой хватило на плотный обед пяти проголодавшимся мужчинам. После еды я сел на бревно у воды, спиной к угающему костру, и долго смотрел, покуривая, как сгущается сумрак над рекой.

Две кваквы пролетели мимо черными тенями на багровом фоне вечернего неба. От всплывающих рыб разбежались серебристые круги на темной поверхности воды ниже ониксовой кромки леса на другом берегу. В небе

загорались звезды. Из чащи доносился крик исполинского козодоя, ему откликалась сова. Слабый металлический стрекот предварял концерт ночных насекомых. Душа моя наполнилась глубоким удовлетворением. Я в лесу... как хорошо!

Странное дело. Двадцать лет странствую по диким дорогам, а первый вечер новой экспедиции, первая ночевка в поле все так же волнуют, так же заманчивы и упоительны. Завтра новый день, и за каждым кустом, за каждой излучиной реки ждет столько неизведанного, что кажется, ни годы, ни усталость не лишат меня способности воспринимать очарование диких дорог...

Давно стемнело, когда я наконец пошел к своему гамаку и забрался под полог. А еще до рассвета мы поднялись и, пока Карлос Альберто жарил оленину и варил кофе, начали готовить к походу пирог. После завтрака мы простились с Луисом Барбудо и пошли на веслах вверх по Каньо-Лосада. Где глубина поменьше, работали шестами. На перекатах местами приходилось вылезать из лодки и перетаскивать ее через камни. А кругом занимался новый день, свежий, омытый росой. Над нами по двое, стаями, шеренгами пролетали попугаи, по большей части зеленые амазонские с ярко-желтым лбом, но были среди них и крикливые яркие ара. На плодовом дереве у реки пировали гротескные туаканы, через реку проносились дикие голуби, в лесной чаще затеяли свой утренний концерт рыжие обезьяны-ревуны.

Против течения мы продвигались не быстро, от силы три километра в час, но все равно это было вдвое-втрое больше того, что мы одолели бы, продираясь сквозь лес с заплечным мешком и с мачете. В лесу и десять километров в день — достижение, а по реке мы могли, не очень себя утруждая, пройти около тридцати километров, да лодка еще несла багаж, которого хватило бы на десять человек, если тащить на себе.

Но конечно, мы отправились в экспедицию не для того, чтобы побивать рекорды скорости, а чтобы найти настоящую большую анаконду. Во время Макаренской экспедиции 1959 года, поднявшись вверх по этой речушке, я обнаружил на песчаном берегу след здоровенной змеи (этот случай описан в моей книге «В краю мангров»). Самой анаконды я не увидел, но, судя по ширине следа — тридцать восемь сантиметров, — змея была немалая! Матеито не слышал о том, чтобы после того в этих краях кто-нибудь убил большую супаи. Так, может быть, она по-прежнему ползает в здешних лесах?! Глядишь, с тех пор еще подросла... Трудно представить себе, чтобы у такой анаконды были естественные враги.

Мы придирчиво осматривали все песчаные пляжи. Следов было предостаточно: олени, капибары, пекари и тапиры. Отпечатки широких лап — ягуар; лапы поменьше — пума. Следы выдры, оцелота, паки, разных птиц. Около самой воды проползали кайманы и черепахи. Но никаких признаков великой змеи.

Солнце поднималось все выше, появились песчаные мухи, попугаи и голуби укрылись в тень под пологом леса. В одном месте над нами пролетела гарпия. С расправленными крыльями, переваривая утренний улов, сидели на поваленных деревьях бакланы и змеешейки.

Около полудня мы высадились на очередном пляже, сварили кофе и передохнули в тени длинных густых ветвей, но песчаные мухи так неистово нас атаковали, что уже через полчаса мы продолжили путь вверх по реке. Снова пережат. Раздавшееся вширь русло здесь было настолько мелким, что нам пришлось вылезать из пироги и идти вброд.

Вода прозрачная, дно выстлано гравием. Значит, электрических угрей можно не опасаться, ведь они — во всяком случае днем — предпочитают глубокие темные заводи. Иное дело хвостоколы. Осторожности ради мы

тыкали в дно палками. И раза два видели, как плоская рыбина отрывается от гравия и скользит прочь, чтобы тут же опять слиться с дном. Шип хвосткола не опасен для жизни, но боль от укола адская, человек на много дней, а то и недель выходит из строя. Мы не могли позволить себе терять столько времени.

До переката оставалось шагов двадцать, когда вода у наших ног вдруг словно закипела. Я пригляделся, увидел маленьких юрких рыб длиной сантиметров пятнадцать — двадцать, и у меня пробежал холодок по спине: это были пираньи. Не выпуская из рук борт пироги, я стал делать все более длинные шаги. Посмотрел на Фреда, на его напряженное лицо. А ну как этим тварям вздумается попробовать, какие мы на вкус? Одна начнет, другие присоединятся. От одной мысли об этом у меня волосы поднялись дыбом.

И тут я услышал веселый смех Матеито. Он показал на воду позади нас.

— Пайяра, — сказал индеец. — Съест пираньи. Пираньи торопятся.

В прозрачной воде мелькали две-три тонкие серебристые рыбы в руку длиной. Они метались туда и обратно, хватая что-то зубами, видимо пираний.

Пайяра (*Raphiodon vulpinus*) — крупная хищная рыба, ее челюсти усеяны большими и малыми зубами, которым не только щука, даже барракуда может позавидовать. И у нее весьма раздражительный нрав. Если вы, ловя рыбу на спиннинг, нечаянно поведете свою жертву, скажем дораду, мимо убежища пайяры, можно биться об заклад, что хищница выскочит и ущипнет беднягу — просто так, из ехидства. Я не знаю, почему она так поступает, только рассказываю о том, что видел своими глазами. Фред уверяет, что мама-пиранья пугает пайярой своих детей, когда они себя скверно ведут. Так или иначе буйный нрав пайяр на сей раз был нам на руку. Лишь бы они держались подальше от наших ног.

Наконец мы выбрались на камни, и нам перестали рисоваться страшные картины. Перетащили пирогу по желобу через пережат, заняли свои места и пошли по глубокому плесу на веслах до следующей быстрины.

Все эти часы мы не видели никаких примет человеческой деятельности. Кругом девственный лес и непуганые птицы. Здесь даже тинигуа бывали не каждый год. На одном из плесов по лопатки в воде стоял тапир. При нашем появлении он неторопливо повернул свою гротескную голову с прищуренными глазами и уставился на нас. Лишь когда мы подошли на расстояние выстрела, тапир лениво побрел к берегу, вскарабкался на уступ и исчез. Эта встреча состоялась среди бела дня, в четыре часа.

Часом позже мы разбили лагерь. Пристали к берегу, зачалили лодку, подвесили между деревьями наши гамаки и положи от комаров, развели костер и приготовили обед: суп из оленины и сушеных овощей. И конечно, сварили кофе, без него лагерь в лесу просто немыслим.

В половине восьмого мы уже спали крепким сном утомленных тружеников. А около десяти нас разбудило громкое фыркание и тяжелый топот. Тапир, ночной бродяга, зашел к нам в лагерь, остановился в двух шагах от моего гамака и несколько минут обнюхивал его, наконец сообразил, что эти чужаки могут оказаться опасными, и удалился. Было слышно, как он топчет хворост на опушке, за лианами.

На другое утро мы встали рано и за день прошли изрядный путь. Завидев очередной пляж, либо Фред, либо я сходили на берег и проверяли следы на песке. В следах недостатка не было. Чем выше по реке, тем больше непуганой дичи. Особенно много встречалось крупных куриных: гокко, не меньше трех видов пенелоп. Немало видели мы и кайманов, преимущественно очковых, но также маленьких, темных гладколобых *Paleosuchus palpebrosus*. Вот только анаконда не показывалась.

В этот день мы не занимались охотой. У нас еще была оленина. Зачем тратить время на стрельбу! И вообще тут рука не поднималась на дичь. Вечером разбили лагерь на длинном пляже, протянувшемся на километр с лишком. Здесь была моя последняя стоянка во время Макаренской экспедиции.

Снова пронизанный солнцем вечер, прозрачный воздух над пляжем и рекой. Снова посеребренная звездами ночь в сельве, причудливые голоса из лесной чаши...

К полуночи, когда поднялась луна, на пляж вышел ягуар. Встал и зарычал, бросая вызов всему миру. Из-за реки отозвался соперник. Может, они потом столкнулись, а может, ограничились предупреждением, напомнили друг другу, что рубеж между охотничьими угодьями проходит по реке. Я лежал и слушал их диалог. Потом Фред захрапел так, что, наверное, все живое кругом в панике бежало.

Несмотря на весь этот шум, я уснул и проснулся уже на рассвете. Молча оделся, выпил чашку-вторую кофе, взял мачете, дробовик и зашагал вдоль пляжа вверх по реке. Оленя съели, пора добыть свежатинки. Заодно посмотрю, что речка сулит нам дальше. Правда, она тут совсем узкая и мелкая, вряд ли такой ручей привлечет хорошую анаконду, хоть и много дичи. А впрочем, откуда нам знать, верны ли наши догадки о вкусах исполинской змеи?

Утро свежее, тихое, песчаные мухи еще не проснулись. Хорошо на душе утром, особенно когда бродишь один по лесу. В конце пляжа я свернул в заросли. Некогда здесь прошел ураган, теперь густой кустарник поднялся над гниющим буреломом. Судя по натопанной тропе, сюда приходили пастись тапиры. Да жаль, эти тропы обычно начинаются вдруг, никуда не ведут и внезапно обрываются. Но в густом подлеске и они подчас могут выручить.

Дальше мне попалось плодовое дерево, которое явно

привлекало крупных, зеленых с черным пенелоп *Pipile sitanensis*, и за каких-нибудь четверть часа я подстрелил четырех птиц. Подвесив добычу на дереве у реки и прикрыв ее от грифов колючими ветвями, прошел еще немного — и вот я во второй раз стою у переката, который в 1959 году положил конец нашему продвижению вверх. Тогда нас было только двое. Смогут ли четверо перетащить лодку через камни и перенести снаряжение? Я в этом сильно сомневался.

Пересохшее русло маленького притока увело меня в лес, потом я повернул влево и снова вышел к реке. Передо мной простирался широкий, задумчивый плес. Похоже, тут глубоко... Самое подходящее место для встречи с каким-нибудь пугливым лесным жителем, если ты встал рано и двигался по лесу без шума. Осторожно переходя от ствола к стволу, иногда останавливаясь на минуту-другую, чтобы посмотреть и послушать, я приблизился к воде.

Плес был большой, особенно глубокий с моей стороны, где лес доходил до самой воды. От берега до берега не один десяток метров, вдвое большее расстояние отделяло меня от переката сверху, несколько ближе было до нижней быстрины. Я тихо сел на плоский камень. Подожду. Я подошел бесшумно, против ветра. Теперь надо только проявить терпение. Не может быть, чтобы этот уголок не облюбовал какой-нибудь редкостный зверь! Скажем, старый крокодил. Или — почему не помечтать — крупная анаконда.

Вот рядом со мной порхает бабочка *Caligo*, крылья величиной с детские ладошки. В воздухе перед пламенным цветком страстоцвета вдруг повисает крохотный, чуть больше шершня, колибри. Он переливается зелеными, серебристыми, сизыми искорками, словно оживший драгоценный камень пульсирует. Да может ли такое существовать на свете! В ту минуту, когда я уже готов поверить своим глазам, колибри вдруг пропадает в каком-то своем, пятом измерении.

Над рекой парит красавица морфо с мерцающими голубыми крылышками. А вот кто-то всплыл пониже верхнего переката. Показалась и исчезла чья-то плоская влажная голова, мелькнула широкая бурая спина. Еще одна, еще... Четыре спины вереницей, одна за другой. Или это изгибы одной и той же спины? Что за тварь такая?

Во всяком случае, не речной дельфин, дельфины не заходят так высоко по маленьким притокам. И не крокодил: за двадцать лет в сельве я ни разу не видел таких крокодилов. Видение исчезает в глубине плеса. Бесшумно перезаряжаю ружье, заменяю птичью дробь оленьей картечью. И снова замираю, глядя на воду. От нижнего переката, слева, доносится всплеск. Повертываю голову, но опять вижу только вереницу широких спин или изгибы одной спины. И снова все исчезает. Правда, теперь это как будто двигается в мою сторону. Если это и впрямь то, о чем я мечтаю, так ведь про такую анаконду можно целую монографию написать! Напряжение становится невыносимым.

Прямо передо мной, метрах в двадцати, из воды появляется голова на длинной толстой шее. Бурая волосатая голова с крохотными ушами. Еще одна, еще, их уже пять штук, и загадка разгадана: это семья бразильских исполинских выдр. От носа до кончика хвоста около двух метров, короткий бурый мех скорее напоминает котика. Впервые в жизни мне представился случай по-настоящему разглядеть «лобо де агуа» — водяного волка, как называют огромную выдру.

Пятерка затеяла игру. Выдры ныряли, всплывали, гонялись друг за другом. Это было похоже на танец в воде, и они двигались так стремительно, так ловко, что подчас непросто уследить за ними взглядом. Сразу было видно, что им вместе весело и хорошо. Они играли совсем как ласковые щенята, или медвежата, или человеческие дети. То кусаются понарошку, то гладят друг

друга передними лапами. Уверен, что они при этом смеялись.

Ружье лежало на моих коленях ненужным грузом. На минуту я пожалел, что у меня нет кинокамеры. Потом пожалел, что я сам не выдра. Но всего сильнее было чувство радости и благодарности, что на мою долю выпало вот так смотреть и наслаждаться, никому не мешая.

Не знаю, сколько длилась эта игра. Когда восприятие так полно, все меры времени теряют смысл. Во всяком случае, когда выдры наконец ушли за верхний пережат и я пошел вниз, чтобы отнести в лагерь подстреленных птиц, солнце уже успело подняться довольно высоко над лесом.

Матеито собирал хворост, Карлос Альберто полным ходом удил рыбу на завтрак, Фред добыл двух гладколобых кайманов и занимался их обработкой. Я забросил накидку и наловил рыбешек для своей коллекции.

Завтра свернем лагерь и уйдем вниз, туда, где ждет с моторной лодкой Луис Барбудо. Каньо-Лосада не вознаградила нас анакондой, но я рад и тому, что получил. В прошлый раз это была молодая пума, теперь — исполинские выдры.

В моей мысленной картотеке Каньо-Лосада всегда будет называться «река прекрасных видений».

СУПАИ

Мы сидели на берегу Каньо-Лосада, в самом конце длинного пляжа, занятые дневкой. Да-да, занятые. Если кто-нибудь при слове «дневка» представляет себе отдых и развлечения, думает, что мы проводили время в праздности, я вынужден возразить: как ни прекрасна эта мысль, она далека от суровой действительности. Дневка в дальнем походе — это такой день, когда надо сделать тысячу дел.

Мы развели три костра, каждый для своей цели. Над одним из них Фред вываривал черепа кайманов, ему мы отвели место с подветренной стороны. Над другим Матеито коптил рыбу в дорогу. Над третьим Карлос Альберто готовил обед: суп и вареная птица с рисом. Что до меня, то я разобрал пойманных рыбешек, поместил каждый вид отдельно с ярлычком в полиэтиленовые мешочки, а мешочки — в бидон со спиртом. Там они пролежат до конца экспедиции, потом попадут в лабораторию и подвергнутся исследованию.

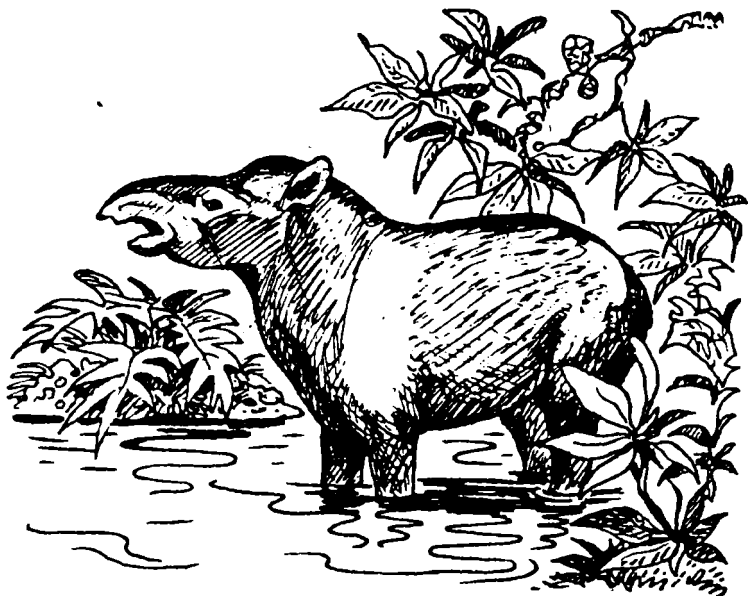
Нам еще надо было наточить крючки, ножи и мачете, проверить лески, осмотреть лодку, прочистить и смазать ружья, постирать и зашить одежду, и так далее, и тому подобное. Словом, управиться со всем тем, до чего не доходят руки в маршевые дни.

Я как раз протер свой штуцер, когда Матеито вдруг издал протяжное шипение и окаменел, обратившись лицом к противоположному берегу. В эту минуту он был похож на пойнера, делающего стойку над выводком рябчиков. Мы проследили направление его взгляда. Напротив нашей площадки от большого камня круто спускалась к воде звериная тропа, окаймленная с двух сторон алым цветом бромелиевых и бихао. От нас до нее было метров семьдесят. И вот по этой тропе сейчас двигался к реке рослый тапир. Он вошел в воду и остановился.

На нашем берегу горели три костра, подле них сидело четыре человека. С утра уже прозвучало семь-восемь выстрелов (я стрелял по птицам, Фред — по кайманам). На часах было около десяти, всю жарило солнце. Возможно ли, чтобы это доисторическое чудело совсем не видело и не чувало нас? Не слышало, как Матеито несколько минут назад рубил хворост? Ну хорошо, песчаные мухи донимают (нам пришлось намазать лицо и руки репудином), и в зарослях к тому же тьма оводов и прочих мучителей, поневоле от них в реку убежишь, пусть даже у тебя

кожа тапира. Но ведь рядом можно было найти сколько угодно не менее удобных мест для купания!

Видно, этот тапир никогда в жизни не сталкивался с людьми. Он просто не понимал, что человек опасен, опаснее самого голодного ягуара. Наше присутствие его несколько не тревожило, ему захотелось искупаться именно здесь, и он исполнил свое желание. Что ж, ему повезло. Ведь он мог нарваться на соскучившихся по свежему мясу колонистов или индейцев, а то и на охотников-туристов, которые стреляют по любой живой мишени, не задумываясь над тем, что они будут делать с добычей. Год назад в саванне такая компания убила с машин больше семидесяти оленей. И взяла только рога, а мясо досталось грифам. Местным жителям, для которых оленина была немало-важным подспорьем, пришлось на несколько лет подтянуть ремешки, ждать, пока стадо восстановится. Если только это вообще возможно после такого избиения.



Тапир всюду наслаждался, стоя в чудесной прохладной воде. Тяжелая туша слегка покачивалась, как будто он переступал с ноги на ногу. Длинные лошадиные уши вертелись в разные стороны. Иногда он поднимал рыло вверх и припихивался. Берег позади него окаймляли саговники, и вся сцена казалась заимствованной из совсем другой эпохи, истекшей миллионы лет назад. Миоцен, чистейший миоцен. А может быть, плиоцен, когда образовался Панамский перешеек и тапиры пришли на юг.

Останутся ли тапиры в Южной Америке через пятьдесят лет? Останутся ли саговники? Сердце сжимается и на душе гадко, как подумаешь о людях, которые все кругом разрушают. Жаль этого зверя, жаль тропических дебрей, обреченных на бессмысленную гибель. И я ничего не могу поделать, чтобы их спасти. Одно ясно. Я должен напугать это доверчивое существо, научить его, что человек опасен, человека надо избегать. Это поможет тапиру подольше прожить. Иначе первая же охотничья экспедиция запросто его уложит. Я осторожно зарядил штуцер тремя патронами. Фред заметил мой маневр, неверно его истолковал, сделал страшные глаза и прошипел:

— Убийца!

Что-то встревожило древнего зверя. Ветер был боковой, но, возможно, над рекой потянуло дымком. Гротескная голова повернулась в одну, в другую сторону, свинные глазки подозрительно уставились на нас. Костер Фреда громко затрещал: толстый сук перегорел посередине и развалился. Этого оказалось достаточно. Тапир развернулся и не торопясь пошел к своей тропе.

Он успел отойти всего на метр от воды, когда первая пуля ударила в камень прямо перед ним. Осколки полетели во все стороны, гость из прошлого чуть не сел от испуга. Потом сделал полный оборот, снова вошел в воду и зашагал вниз по реке. Вторая пуля угодила в бурелом в

двух-трех метрах от тапира. Он метнулся в сторону и пошел через реку в нашу сторону. Подпустив его шагов на десять, мы встали и принялись кричать и размахивать руками. Только теперь он разглядел нас, слегка изменил курс и пробежал метрах в шести от лагеря. Тапир развил немалую скорость, земля гудела под его ногами, когда он галопом пересек пляж и углубился в лес.

Мы молча посмотрели друг на друга, потом вернулись к своим занятиям. Странно, мне почему-то было стыдно своего поступка, хотя я действовал с самыми благими намерениями. Как будто я нечаянно на что-то посягнул, но на что?

На рассвете следующего дня мы погрузили вещи в пирогу и пошли вниз по Каньо-Лосада. До чего приятно после нескольких дней борьбы с течением развернуть нос лодки в другую сторону и подчиниться воле потока. Конечно, надо быть начеку, остерегаться перекатов, подводных камней, водоворотов и «палисadas» — преград из топляка, которые порой достигают немалых размеров. Самые коварные палисadas скрываются обычно под водой, они не одной лодке протаранили днище и явились причиной многих смертей. И конечно, год от года река меняется. После каждого сезона могут образоваться новые пляжи, новые палисadas, берега обрушиваются, быстрины смещаются, и приходится осваивать заново весь фарватер.

До верхнего лагеря на Каньо-Лосада мы добирались два дня, и это стоило нам немалого труда. Обратный путь лодка одолела вдвое быстрее. Мы уложились бы в двенадцать часов, будь уровень воды сантиметров на пятнадцать повыше. А так нам то и дело приходилось вылезать из пироги и перетаскивать ее через пороги. Сумерки застигли нас километрах в пяти от последнего большого переката. Оставшийся отрезок считался слишком опасным, чтобы проходить его в темноте с драгоценным снаряжением, и мы скрепя сердце разбили лагерь на берегу.

Охотиться и заниматься рыбной ловлей было поздно, и тут нам пригодилась рыба, которую накопил Матеито. В тот день мы поднялись утром очень рано, и я едва не уснул в ожидании ужина. Ночью ничто не нарушало наш покой, поэтому мы опять встали пораньше, чтобы пройти порог на рассвете. Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда мы достигли последнего маленького переката и окликнули Луиса Барбудо.

Никто не ответил на наш зов. И ни лагеря, ни лодки не видно. Странно... Матеито молча взял свое древнее ружьишко и нырнул в лес. А мы подвели пирогу к островку и укрылись на нем. Позиция вполне надежная: провиант есть, дрова и вода под рукой, оружия и боеприпасов достаточно.

Через полчаса разведчик показался снова, его сопровождал Луис Барбудо. Они знаком подозвали нас, мы подошли к берегу, и наш моторист рассказал, что произошло. Вчера в лагерь пришли Агапито и несколько человек из его племени, принесли для нас фариньи. Фаринья — грубая мука из корней ядовитого маниока; точнее, ядовит сок, а мука полезна, ею заправляют суп или варят из нее болтушку. Тинигуа выращивают преимущественно ядовитый маниок — юка брава — и делают отличную фаринью — важный продовольственный продукт и предмет торговли к востоку от Анд.

Агапито рассказал Луису, что какой-то чужак, вроде бы испанский священник, поднялся на моторной лодке вверх по Гуаяберо и остановился у колонистов километрах в десяти от нашего лагеря в устье Каньо-Лосада. Этот человек велел сообщить индейцам, что его прислали вести среди них миссионерскую деятельность; следовательно, они обязаны снабжать его курами, яйцами, рыбой, бананами, кукурузой и другими продуктами. Что было дальше, тинигуа точно не знали, но они видели в районе Кемп-Томпсона дым как от пожара. Это встревожило Агапито, и он посоветовал Луису Барбудо спря-

таться в лесу и ждать там, пока мы не вернемся. Индейцы помогли Луису перенести и спрятать наше имущество в чаше. Пирогу Агапито и моторку укрыли в замаскированном кустами устье маленького притока.

Здесь стоит, пожалуй, в нескольких словах объяснить причину такого переполоха.

Вразрез с республиканским законодательством больше половины территории Колумбии считается «миссионерской областью», здесь заправляют церковь и священники. Порядок этот введен будто бы для блага индейцев, на деле же они являются крепостными церковников, их права не защищены никакими законами. Если святым отцам придется не по нраву деятельность того или иного государственного чиновника в пределах «миссионерской области», им ничего не стоит добиться его снятия. Словом, церковь бесконтрольно творит, что хочет. Нередко миссионеры используют по своему произволу полицию, чтобы склонить к покорности местных жителей.

Многие миссионеры (среди них преобладают приезжие испанцы) беззастенчиво обогащаются за счет колонистов и индейцев. Недаром в Колумбии говорят, что еще ни один священник не вернулся неимущим из восточных льяносов. Естественно, такой апостол не рад, когда в облюбованном им районе появляются другие белые. Тем более если это научные работники, врачи и другие представители интеллигенции.

Они, во-первых, могут так или иначе оказаться конкурентами, во-вторых, способны огласить неприятную истину о виденном и слышанном. Случалось, исследователей попросту не допускали в некоторые районы или им навязывали в сопровождающие миссионера и полицейских или солдат. Легко представить себе, насколько такой довесок затрудняет продвижение в сельве, мешает контакту с недоверчивыми индейцами и осложняет планомерную научную работу. Мы выполняли официальное

задание, у нас были чисто зоологические цели, и, казалось бы, можно работать без помех, однако на деле это не всегда выручает.

По запутанным тропкам Луис и Матеито привели нас к Агапито и представили его спутникам: трем мужчинам, двум женщинам и мальчику-подростку. Индейцы были сильно встревожены, они помышляли только о том, чтобы скорее раствориться в лесу.

Как мы думаем: не везет ли священник с собой солдат? Тинигуа вовсе не хотелось, чтобы их наставляли на путь истинный. И это неудивительно, если вспомнить, как с ними обходились так называемые христиане...

Мы взяли у них фаринью, а они получили от нас соль, рыболовные крючки, проволочные поводки, нож и топорик; тинигуа предпочитали деньгам товары. Кроме того, мы преподнесли Агапито мачете в нарядных ножнах, а мужчинам и мальчику досталось по нейлоновой леске. Наши индейские друзья обрадованно улыбались. Затем они попрощались, отошли на три шага и исчезли в лесу.

На следующее утро мы встали затемно и, как только развиднелось, тронулись в путь. Послушный умелым рукам Луиса, мотор работал как часы. Когда до Кемп-Томпсона оставалось четыре-пять километров и впереди показался порог, Матеито вдруг лег ничком на дно лодки и спрятался среди узлов и ящиков. Он сделал рукой знак Луису Барбудо, чтобы тот держал лодку возможно левее. Стоя на коленях на носу, Карлос Альберто отталкивался длинным шестом от камней и палисас. Мы с Фредом взяли ружья: спасем хоть их, если лодка вдруг опрокинется!

Длинная скала делила перекат на два рукава. Вверх мы шли по правому, теперь же свернули в левый, держась подальше от берега, на котором лежал Кемп-Томпсон. Только нас подхватила быстрина, как я увидел на правом берегу три фигуры. Двое, судя по одежде, были

колонисты, и один из них держал в руках ружье. На третьем я разглядел светлую сутану и миссионерский шлем. Они кричали и махали, однако нам в эту минуту было не до них. В узком протоке надо было глядеть в оба, чтобы не разбить лодку о камень. А трое на берегу продолжали кричать и жестикулировать. За гулом порога мы не разбирали слов, но их жесты были достаточно выразительны. Они требовали, чтобы мы немедленно подошли к ним.

Мы с Фредом вопросительно посмотрели на Матеито. На его лице было написано решительное «нет», и, как только мы вышли на плес, рулевой получил соответствующие инструкции. Лодка развернулась носом к течению и остановилась посреди реки; мотор работал на малых оборотах.

Тройка перестала махать руками и быстро спустилась к самой воде. Священник снова окликнул нас. Мы разглядели, что у него на поясе висит револьвер. Сидевший около моториста Фред покачал головой и поднес руку к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Священник продолжал надсаживаться; Фред снова покачал головой и показал рукой вниз по течению: дескать, нам туда. Миссионер тоже перешел на язык жестов. Смысл был очевиден: мы должны немедленно пристать к берегу, чтобы отвезти его со спутниками вверх по реке. Фред повторил свой жест. Почтенный пастырь не на шутку возмутился. Он грозил нам кулаком, топал ногами, потом опять что-то изобразил руками.

Фред презрительно усмехнулся и вполголоса отдал Луису новую команду, предварительно вручив ему свое ружье. Мотор застучал громче, и лодка подошла поближе к берегу. Теперь нас отделяло от миссионера и его свиты метров двадцать пять.

Фред наклонился, поднял мой дробовик и положил себе на колени. Карлос Альберто уже вооружился, я держал в руках штуцер, Матеито все еще лежал между ящи-

ками. Мимический диалог продолжался. Герпетолог сложил из пальцев фигуру, передающую понятие «ехать верхом». Потом приставил большие пальцы к вискам и изобразил ладонями длинные уши, одновременно поводя нижней челюстью так, словно жевал жвачку. И наконец указал на человека в сутане. В переводе на обычный язык это следовало понимать так: «Достань себе осла и поезжай верхом!»

Мы дружно расхохотались, да и колонисты на берегу едва удерживались от смеха. Я поглядел на Матеито и впервые в жизни увидел хохочущего тинигуа.

Священник кричал, бесновался, грозился, хотел даже вырвать ружье из рук колониста, но тот живо отступил на несколько шагов и что-то сказал своему пастырю. Должно быть, обратил его внимание на наше оружие. Праведный отец вспомнил, что провидение обычно на стороне того, кто лучше вооружен, и ограничился страшными проклятиями.

Фред спокойно выслушал его. Потом сложил пальцы в фигуру, на которую в льяносах обычно отвечают ударом ножа. Луис развернул лодку носом вниз по течению и дал полный ход.

Вскоре мы подошли к Кемп-Томпсону. Вернее, к тому месту, где некогда был Кемп-Томпсон. От поселка ничего не осталось, только черные пепелища. Мы опознали обугленные останки тачки; на самом берегу лежали закопченные бочки из-под горючего. Кто-то вышел из кустов на мысу и помахал нам.

— Это Элисео, — сказал Карлос Альберто. — Может, от него узнаем, что произошло.

Мы причалили и услышали грустную историю. Томми на несколько дней отправился в Вильявиченсио и Боготу, очевидно, чтобы организовать очередную охотничью экспедицию. Без него прибыл на алюминиевой лодке с подвесным мотором священник вместе со своим служкой и мотористом. Они пристали к берегу в

Кемп-Томпсоне и потребовали дать им горючего, а платить отказались. Потом пошли дальше вверх по реке, но один из них зловеще посулил, что они еще вернутся.

Элисео не мог дать им отпор и, как только чужаки убрались восвояси, поспешил спрятать в лесу ружья своего хозяина и прочее ценное имущество. Тщательно прикрыл ветвями бензиновые бочки около посадочной площадки. Нагрузил лодку провиантом и другими вещами и отогнал ее в заросли в двух-трех километрах от лагеря.

Меры предосторожности оправдались. Возвращаясь вечером в поселок пешком, Элисео почувствовал запах дыма. Постройки горели ярким пламенем. Спасать их было поздно, и он предпочел отсидеться до утра в лесу. Скорее всего, поселок подожгли колонисты. У них были веские причины недолюбливать охотников, которые почему зря били тапиров, оставляя местных жителей без мяса. Но конечно, без поддержки тех, в ком они видели представителей власти, колонисты не решились бы на такое.

А что же с лодкой священника, почему он требовал, чтобы мы его подвезли? Элисео объяснил, что испанец напоролся на топляк и его алюминиевая лодка пошла ко дну в пяти километрах выше Кемп-Томпсона. Святой отец отправил своих спутников вниз за другой лодкой, а сам решил погостить у колонистов. Попросив нас сообщить о случившемся Томми, Элисео снова ушел в лес. Мы продолжили наше плавание; лишь теперь Матеито наконец отважился сесть.

Вечером, одолев по пути два-три сложных порога, мы разбили лагерь в нескольких десятках километров ниже Кемп-Томпсона. Только сошли на берег, как явился обед в лице стаи больших черных мускусных уток. Они вели себя так, будто никогда не видели людей. Селезень этого вида весит до трех с половиной килограммов; два селезня да горсть фариньи — вот и плотная трапеза на всех пятерых. Еще осталось немного на завтрак.

На следующее утро мы видели на берегах и тапиров, и капибар. Один тапир вздумал пересечь реку, и мы едва не нагнали его на лодке. Выйдя на берег, он остановился, повернул голову, поглядел на нас как бы с упреком, потом затрусил в чашу.

На гравийных пляжах можно было увидеть парочки оринокских гусей. Жители льяносов обычно называют их «пато карретеро», то есть «шоссейными утками», потому что эти птицы любят открытые места. На самом деле это не утки, а именно гуси — *Neochen jubatus*. Они совсем не пугливы, но там, где люди начинают преследовать желанную дичь, быстро привыкают остерегаться человека и становятся такими же сторожками, как и другие дикие гуси.

Под вечер мы облюбовали себе песчаный пляж для стоянки. Карлос Альберто развел костер и принялся варить гусей, Луис занялся рыбной ловлей, а мы с Фредом чистили оружие, подвешивали гамаки и писали в своих дневниках. Матеито взял ружьишко и отправился в лес. Обед еще не был готов, когда он вернулся, шагая чуть быстрее обычного, и остановился перед Фредом. Наконец тот поднял на него взгляд, тогда индеец указал рукой вниз по реке.

— Следы, — тихо произнес он. — Следы супаи. Большой доктор видел следы?

Мы живо встали и пошли за ним в нижний конец пляжа. Здесь побывали капибары, пака оставил на мелком сухом песке отпечатки своих ног, похожие на след барсука. Вдоль опушки леса несколько дней назад прошел ягуар. У самой воды прогулялись черепахи терекай. Мы увидели также следы ящериц, лесных крыс, крабов. И поверх всего тянулся странный отпечаток, словно здесь проехал небольшой грузовик, но с одним только широким колесом. Извилистый след привел нас к опушке леса, здесь он пропал на более твердой почве между кустов и бурелома.

— Супаи, — прошептал Матеито.

Да, никакого сомнения. Только анаконда может оставить такой отпечаток. Мы с Фредом хорошо его знали. Герпетолог присел на корточках, чтобы измерить ширину следа пядью. Его пядь оказалась мала.

— Ничего выдающегося, — сказал он. — Бывают и покрупнее. Метров шесть-семь будет. А вообще-то пригодилась бы для сравнения, если нам еще попадется действительно большая анаконда.

— По Дитмарсу, они больше этого не бывают, — заметил я. — Помнится мне, он обещал тысячу долларов за десятиметровую кожу. Но никто так и не пришел к нему за наградой. И он решительно утверждал, что семь метров — потолок.

— Из того, чего Дитмарс не знает об анакондах, можно составить пухлый том, — сухо отметил Фред. — Думаю мне, самых больших анаконд не так-то просто обнаружить. А найдешь, так еще попробуй поймать.

Возразить было нечего. Мы вернулись в лагерь, наспех перекусили, потом Фред отправился вместе с Карлосом Альберто и Матеито на рекогносцировку, а я укрылся под пологом от полчищ голодных комаров и песчаных мух.

Разведчики вернулись чуть не в полночь, их поиски ничего не дали.

Рано утром мы стали собираться в путь. На одну из жерлиц попался большой плоскоголовый сом *Sorubimichthys planiceps*, совершенно неправдоподобное создание, как, впрочем, и многие другие рыбы бассейна Ориноко. Его нижняя челюсть, не знаю уж почему, похожа на лопаточку и выдается далеко вперед. У родственных этому виду *Sorubim* наоборот — верхняя челюсть лопаточкой выдается над нижней. Часть сома мы съели сразу, часть припасли для второго завтрака, хорошенько прожарив; голову заспиртовали. Сегодня мы собирались двигаться не спеша, высматривая по пути анаконду.

Над рекой носились водорезы, цапли статуями стояли по берегам. Мимо, кувыркаясь, прошли речные дельфины. Только лодка вышла на первый плес, как Матейто повернул голову, указал подбородком на громоздившийся у самого берега топляк и прошептал:

— Супаи!

Приглушив мотор, мы свернули туда.

В самом деле! Толстое бурое тело с круглыми черными пятнами на боках обвивало сухие серые ветви и лоскуты почерневшей коры. Размеры немалые, если подходить с умеренными запросами. Мы видели метров около трех, а сколько скрыто под водой? Голова и полуметровая шея торчали горизонтально из развилки примерно в двух метрах над землей. Когда встречаешь змею в такой обстановке, чрезвычайно трудно определить ее размеры. Догадки, как правило, оказываются ошибочными, и чаще всего ошибаются в сторону преувеличения, до пятидесяти процентов и больше. Только специалисты склонны преуменьшать...

— Ничего анаконда, — отметил Фред. — Хотя крупной ее не назовешь. Вполне возможно, это та самая, чей след мы видели вчера. А ты что это взялся за дробовик?

— Как что? Хочу добыть экземпляр для коллекции.

— Анаконду надо бить из винтовки, тогда не испортишь кожу.

— Из твоей винтовки можно разве что добить ящерицу, которая уже сидит в сачке, — ответил я. — Твоя неизлечимая любовь к этой мухобойке приведет только к тому, что первый же экземпляр уйдет от нас. Ладно, если непременно нужна пуля, я к вашим услугам.

И я поменял двустволку на штуцер.

— Это уж чересчур, — продолжал спорить Фред. — Во всяком случае, не стреляй в голову. Она нужна для коллекции.

— Не бойся, при таком калибре можно и в шею стрелять, — успокоил я его. — Найди-ка веревку покрепче,

Карлос Альберто. Честное слово, обидно будет упустить такого славного ужа.

— Сперва надо причалить и приготовить аркан, — предупредил мой коллега. — Как бы уж не начал отбиваться, когда мы возьмем его в оборот.

Карлос Альберто спрыгнул на берег, держа наготове аркан; Матеито обмотал другой конец веревки вокруг толстого дерева. После этого я прицелился в змею, на две ладони ниже головы, и выстрелил. Надо отдать должное предусмотрительности Фреда. Как только прозвучал выстрел, анаконда чрезвычайно оживилась. Правда, живость ее была весьма беспорядочного свойства, что вполне понятно, ведь пуля перебила ей позвоночник. Голова и шея, можно сказать, уже умерли, тело же бешено билось, ломая толстые сучья и сотрясая всю палисадас. Хорошо, что Карлосу Альберто удалось набросить петлю на шею анаконды, не то роскошный экземпляр мог бы плюхнуться в реку, а тогда ищи-свищи. Напрягая все силы, мы удержали змею и мало-помалу разжали ее кольца. Хвост снова и снова обвивался вокруг бревен, того и гляди, захватит кого-нибудь из нас и стиснет как следует! Разумеется, выстрел убил анаконду, но она такая длинная, что весть об этом далеко не сразу дошла до всех частей мускулистого тела. Мы провозились не меньше часа, прежде чем сумели наконец вытащить змею на берег и растянуть ее для измерения.

— Шесть метров шестнадцать сантиметров, — объявил Фред. — Хвастаться нечем, но как сравнительный материал годится. Ладно, теперь снимем кожу.

Эта работа заняла у нас почти полдня. Голову отделили и тщательно препарировали. Кожу сняли, очистили от жира, натерли солью и повесили в тени сушиться. Потом мы ее свернем мездрой наружу, а в следующем лагере будем сушить дальше. Остаток дня мы решили посвятить сбору рыб для коллекции и пополнению наших запасов провианта. Фред и Карлос Альберто отправились с ружь-

ями в лес, Луис и Матеито пошли удить рыбу. Я несколько раз забросил накидку и выловил изрядное количество мелких рыбешек. *Aphyocharax* с радужной чешуей и кирпично-красными плавниками; самые крупные — в половину моего указательного пальца. *Thoracoscharax* — такие приткие серебряные монетки; они способны пролететь по воздуху полтора метра: это в двадцать раз больше их собственной длины. *Roebooides* — словно лещ в миниатюре, но с зубоподобными бугорками вдоль челюстей снаружи. *Astyanax*, *Monkhausia*, *Tetragnathus* — названия, интересные только ихтиологам и аквариумистам. Для большинства людей это просто набор букв, для знатока — символ упоительной красоты.

Были тут и сомы. Шипоносные, с острыми кинжалами в грудных плавниках, *Pimelodus* и *Pimelodella*. Пухлые панцирные сомики с широкими плавниками веером и тонюсенькие панцирные сомики с длинными острыми плавниками. Паразитический сомик *Vandellia plazzii*, который селится в жабрах своих крупных родичей и сосет из них кровь.

Я еще разбирал свой улов, когда вернулись охотники. Матеито, похожий на узловатую корягу, сел подле дымного костра коптить оленину на завтрашний день, Карлос Альберто принялся готовить ужин. По речной глади рассыпалось отражение звезд прежде, чем мы кончили коптить мясо и завернули его в высушенные над огнем листья бихао. Через редкую ткань комариного полога я смотрел, как тускнеет и умирает костер. Где-то кричала кваква.

ДЕРЕВЬЯ, ДЕЛЬФИНЫ, ДОН ХУСТО И АНГОСТУРА

Утро над рекой, ясное тропическое утро, такое ослепительное, что краски послабее тают в голубой мгле и глаз выделяет только самые буйные цветочные пятна. Гу-

аяберо здесь широкая, от опушки до опушки местами до пятисот метров. Сейчас внимание приковывают не детали, которые надо рассматривать чуть не в упор, не единичные цветки, бабочки и колибри, а крупные элементы пейзажа, то, что отрывается и стоит особняком. Цветущее дерево табебуя на мысу, будто язык золотистого пламени. Мора де монте — огромный букет фуксиновых цветков...



Над нами пролетают два больших попугая. Удивительные создания эти длиннохвостые ара. Желтые, синие, ярко-красные перья; не птицы, а живой фейерверк. В любой другой среде такая пестрота могла бы показаться дешевой, вульгарной. А здесь они естественны, вписываются в окружающее так же органично, как вон та шелковисто-серая исполинская цапля, что стоит на краю пляжа, или парящий в голубом поднебесье большой королевский гриф.

Приближаемся к берегу, так что можно различить огромные листья и тонкие серебристые стволы цекропии, которую в Колумбии называют «ярумо». Странное дело с этой цекропией. В темно-зеленой пучине дремучего леса ее не найдешь. Там ее сразу задушили бы могучие великаны растительного царства, поэтому она, словно бедный родственник, ютится по берегам рек, на самом краю леса. Да и то вид у нее какой-то забитый, ствол обычно кривой, как будто она привыкла кланяться соседям, и украшен всего несколькими жалкими пучками листьев.

Но стоит реке изменить течение и смыть растительность с мыса или создать новый остров, стоит урагану разорить участок сельвы или колонисту забросить свою расчистку, как вместе с первыми дождями здесь появится цекропия. Древесина у нее мягкая, рыхлая, а полая сердцевина — излюбленная обитель маленьких злых муравьев ацтека. Растет цекропия чуть не на глазах, вместе с белой бальсой первой проклевывается из перегноя и затягивает зеленой корочкой рану в шкуре лесного дракона. Человеку от цекропии никакой пользы. Она даже на дрова не годится, вспыхивает быстро и прогорает раньше, чем успеешь принести еще полешко. Прежде некоторые индейские племена применяли ее для добычи огня: воткнув в кусок сухого ярумо твердую палочку и крутят, пока древесина вокруг острия не начнет тлеть, потом раздуют огонек и подожгут им сухую траву, или мох, или волокна черной бальсы — те самые волокна, которыми обертывали задний конец маленьких отравленных стрел, чтобы они плотно входили в полированный канал духовой трубки.

Теперь старые приемы забываются. И вообще свободный лесной индеец теряет свою самобытность, превращаясь в нищего пролетария, живущего в трущобах, где он работает, словно каторжник, на испанских монахов и священников, которые платят ему тем, что унич-

тожают его наследственную культуру, обращают его в христианскую веру, лишают всяких гражданских прав и национального самосознания. Впрочем, многие индейцы до этого не доживают, с ними безжалостно расправляются только потому, что земля их приглянулась той или иной монополии. Лишь за последнее десятилетие так погибло больше ста тысяч индейцев. Но вернемся к деревьям.

Итак, цекропия — пока для нее не нашли применения — считается сорной породой. Маленькие прутики, вырастающие из ее семян, в несколько лет становятся большими деревьями. Но если их не выручат топор или мачете, между серебристыми ярумо со временем поднимутся другие деревца, которые перегонят их, задушат и будут расти дальше, превращаясь в статных лесных великанов с твердой древесиной.

Высокие, как башня, сейбы, удивительно пышные караколи с множеством эпифитов на толстенных ветвях, стройные высокоствольные альмендра де монте, колонноподобные тернструмифлоры, молочный сок которых содержит смертельный яд не-ара, применяемый индейцами энгвера для стрел. И мора де монте, научное название — *Mora excelsa*.

Говорят: лес наступает. Это в полной мере относится к мора. Его семена не летают, как семена цекропии. Крупные и тяжелые, они сыплются прямо вниз. Большинство падают на почву у подножия материнского дерева, где их ждет грустная участь. Прорежутся хилые, бледные ростки, проживут один сезон дождей, затем погибнут под могучей сенью собственных родителей. Но некоторые семена, одно на двадцать тысяч, отскакивают подальше. Стукнется орешек о ветку и отлетит рикошетом в сторону. Или его отнесет на несколько метров порывом ветра. Или обезьяна, повздорив с подругой, запустит в нее орешком. Такое семя даст начало крепкому деревцу, глядишь — вот и сделал лес еще один

шаг. Мора де монте — одна из немногих пород, образующих замкнутые популяции. Эти популяции все равно что бронированные отряды, они продвигаются медленно, но верно. Так и шагает мора, пока путь не преградит море или река. Или пока не явится человек с топором и огнем.

Рокоча мотором, лодка скользит дальше вниз по реке. Пять человек, все такие разные и в то же время такие схожие между собой, идут на ней к порогам Ангостуры.

Речная долина сужается. Скрылись из виду последние отроги Макаренских гор, мы миновали большой левый приток, прошли несколько быстрин, пересекли широкие, тихие плесы. Последние часы наш кругозор был ограничен опушкой леса по берегам, местность была низменная, и стена воладоров и сейбы все заслоняла. Но теперь впереди, и справа, и слева опять голубеют возвышенности. В просвете между ними нас подстерегает цепочка грозных порогов. Если все будет в порядке, мы пройдем их завтра утром, со свежими силами. Форсирование таких порогов на выдолбленном стволе сейбы — занятие не для усталых путешественников. За такое дело надо браться, хорошенько выспавшись, плотно поев, в наилучшей физической и духовной форме. Иначе может случиться беда.

Еще два часа прошло. На реке царит полуденный зной. Тут и там греются на солнце группками черепахи. Это терекай (*Podocnemys unifilis*), у них отличное мясо, но уж очень они сторожкие. Должно быть, их недавно кто-то напугал. А вон сползает в воду большой крокодил. Фред не отказался бы взглянуть на него поближе. Крокодилы бассейна Ориноко принадлежат к эндемичному виду *Crocodylus intermedius*, четко отличаясь от широко распространенного на севере Южной Америки *Crocodylus acutus*. Но сегодня мы вряд ли пополним наши коллекции новым образцом. Крокодилов так нещадно бьют в погоне за кожей, что во многих реках их уже не

осталось. Менее ценные для коммерции кайманы могут пока рассчитывать на отсрочку.

Снова и снова встречаем речных дельфинов. Они кувыркаются, веселясь от души. Жители льяносов рассказывают, будто дельфины спасают утопающих, подталкивая их к берегу. Возможно, такой случай когда-нибудь и был. Дельфины, судя по всему, очень умные и любопытные животные. Может быть, они превзошли бы человека, если бы эволюция наделила их вместо ластов универсальным «инструментом» — руками.

Зной все сильнее по мере того, как солнце приближается к зениту. Толстый пробковый шлем меня выручает. Все птицы укрылись в тени. Совсем не видно черепах и крокодилов, в это время дня они предпочитают уйти под воду или укрыться в норе на обрывистом берегу. Камни и песок пляжей слишком горячи для живота рептилии.

Карлос Альберто достает термос и наливает всем кофе, но влага тотчас выходит из нас испариной. Мы решаем воздержаться от второго завтрака, лучше вечером пораньше устроим привал. Фред сменяет Луиса Барбудо за рулем. Вчера у него сорвало ветром шляпу с головы, и теперь он для защиты от солнца сделал себе чалму из куска красной фланели. Разумеется, Матеито первым замечает человека на опушке. Странно. Луис видит не хуже его, всегда раньше меня замечает уток на плесе или торчащие из воды глаза крокодила, которые ничего не стоит спутать с кусками коры. Вообще, глаза горца зорче в открытой местности. А вот когда нужно различить что-то в лесной чаще, одноглазый тинигуа всех нас превосходит.

Человек на опушке делает несколько шагов и машет рукой. Фред уступает руль Луису, и тот подводит лодку к берегу. Человек направляется к нам. На вид ему лет шестьдесят. Необычно высокий для креола, худой и костистый, узкое лицо, орлиный нос, огромные седые усы,

как льдинки. Между усами и острым, выступающим подбородком провал почти совсем беззубого рта. Лицо изборождено морщинами, но темные глаза глядят весело и проницательно. В руках у старика древнее ружье образца 1873 года, из тех, для которых можно самому лить пули. Музейный экспонат.

— Дон Хусто Рамирес, — шепчет мне Фред. — Один из старых каучеро.

Мы выходим из лодки и здороваемся с ветераном. Я слышан о нем. На самом деле дону Хусто около семидесяти. Его юность пришлась на ту буйную пору, когда в амазонской сельве заготавливали каучук. Это было задолго до того, как каучуковые плантации Малайи и Зондских островов начали поставлять сырье на мировой рынок. Одна перуанская компания — не знаю уж, насколько законно, — проникла в дебри колумбийской части Амазонас; похоже, никто не ограничивал территориальные пределы ее деятельности. Компания нанимала скупщиков каучука, авансировала их снаряжением, и они отправлялись в сельву налаживать сбор того, что тогда называли «черным золотом».

Как всегда, когда природные ресурсы бесконтрольно эксплуатируются частным капиталом, дело приняло скверный оборот. Скупщики были должниками компании, каучеро (сборщики каучука) — должниками скупщиков. Все было построено на долговой кабале. Кто однажды задолжал, потом уже не мог расплатиться, сколько бы ни трудился. Цены на все товары, выдаваемые авансом, были взвинчены до предела, а годовые проценты на долг достигали и ста, и больше. Людей буквально продавали, как рабов, и отправляли в лес. Естественно, всего беззастенчивее эксплуатировали индейцев, и обращение с ними было самое жестокое.

Целые племена вымирали, и не только из-за эпидемических заболеваний, привезенных белым человеком. Миссионеры, эти так называемые защитники индейцев,

получали свою долю прибылей; понятно, их ничуть не волновали бедственное положение коренных жителей и безобразия пришельцев.

В «каучуковой» столице, Манаусе, вырос один из самых роскошных оперных театров в мире, не говоря уже о других величественных зданиях. Но роскошь, как всегда, была уделом не тех, кто своим трудом созидал богатства. На долю труженика доставались слезы, пот, кровь, голод и смерть от непосильного труда. Правда, отдельные каучеро избегали сетей эксплуататоров. Они не брали авансов и не продавались в рабство, работали в лесу самостоятельно, иногда вместе с горсткой помощников. Разумеется, власть имущие их недолюбливали. И старались подчинить себе, пускаясь на всякие уловки. Иногда такие каучеро «пропадали без вести», но в народе поговаривали, что это дело рук убийц, подосланных компанией. Мало кому удавалось сохранить и самостоятельность, и жизнь. Одним из более удачливых был дон Хусто Рамирес из Сантандера.

Он вышел один на маленькой лодке вверх по реке в зеленое море сельвы. И уцелел. В лесу дон Хусто подружился с индейцами племени уитото, женился на индианке, потом начал собирать каучук с помощью своих смуглых родичей. Он честно обращался с ними, слух об этом быстро распространился через лесной телеграф, и родичи стали приводить своих родичей. Может быть, свободные индейцы не так мотали из себя жилы, как рабы перуанских капиталистов, зато они трудились добросовестно. Индейцы вообще не любят мошенничества.

Хусто Рамирес сбывал собранный каучук за наличные, в долг никогда ничего не брал и не давал, своих друзей снабжал товарами не скупясь. Мужчины получали рыболовные крючки, ножи, топоры, мачете и даже ружья, женщины — новые кастрюли и прочую утварь, соль и сахар, побрякушки. И все были довольны.

Утверждают, будто по меньшей мере три племени присылали к уитото ходатаев и просили уступить им дон Хусто. Факт, который сам за себя говорит. Надо ли добавлять, что у власть имущих дон Хусто стоял поперек горла. Миссионеры возмущались тем, какую безнравственную жизнь он ведет, как дурно действует на индейцев: ведь он им даже водки не продавал. Скупщиков не устраивало, что он берет за каучук только наличными. Несколько раз они пытались убрать его с дороги, но дон Хусто всегда был начеку.

Прошли десятилетия, и положение изменилось. Перуанская компания перестала существовать. Плантации на полуострове Малакка и в других районах Юго-Восточной Азии начали приносить урожай, и цена на каучук резко упала: почти в двадцать раз с 1910-го по 1920 год. К середине двадцатых годов азиатские плантации покрывали всю мировую потребность.

Оперный театр в Манаусе закрылся и стал прибежищем летучих мышей и прочей мелкой живности. Европейские примадонны больше не приезжали на гастроли, и потребление шампанского упало до минимума. Так закончился один из эпизодов в истории окрестной сельвы. Его главным итогом была гибель нескольких тысяч индейцев и нескольких миллионов каучуковых деревьев, из которых выкачали весь сок. Частный капитал принялся искать себе другой объект для эксплуатации. Дельцы не жаловались. Богатые стали еще богаче, бедные — еще беднее; финансисты утверждали, что таков нерушимый экономический закон.

Уцелевшие индейцы вернулись к образу жизни предков. Он их вполне устраивал, больше всего они мечтали о том, чтобы их оставили в покое. Ну а каучеро? Им тоже надо было перестраиваться. На какие-либо социальные блага они не могли рассчитывать. Хочешь пере kvalифицироваться — заботься об этом сам. Фактически выбор был невелик: либо ложись и помирай, либо иди

навстречу переменчивой судьбе с тем скудным запасом сил, который оставили малярия и голодовки. Мало кому из каучеро удалось пережить этот кризис. Хусто Рамирес выстоял. Так ведь у него для этого были совсем особые предпосылки: дружба с уитото. Он не оказался в хвосте у времени. Его кормили лес, и реки, и поля родичей, хотя никто больше не покупал огромные черные комья каучука, хранившиеся под пальмовыми листьями на его «складах».

Естественно, в организации дел дон Хусто что-то изменилось. Дальние родственники один за другим возвращались к своим прежним занятиям, но самые близкие продолжали помогать ему со сбором каучука. Разумеется, не в таком масштабе, как прежде: принесут иногда комок, и ладно. Запасы мало-помалу росли. Между тем заморские плантации давали все более высокие урожаи, а там заговорили и о синтетическом каучуке. Даже сами уитото начали склоняться к тому, что есть, пожалуй, зерно истины в словах тех, кто твердит, будто дон Хусто Рамирес слегка помешался.

Но тут разразилась Вторая мировая война. На первых порах она никак не повлияла на жизнь в амазонской и оринокской сельве. Польша, Фландрия — эти названия ничего не говорили жителям льяносов, для них куда более важным событием было появление хорошего косяка рыбы или стада пекари. Однако Перл-Харбор сыграл свою роль. Вступив в войну, японцы заняли английские и голландские колонии в Юго-Восточной Азии, где находились плантации каучука. В тот момент, когда Соединенным Штатам надо было мобилизовать все силы, они остались без каучука.

В Южной Америке в это время полным ходом шло истребление крокодилов; на некоторых реках перебили всех до одного. Но в области уитото настоящие крокодилы не водились, только кайманы, а на их кожи спроса не было. И кое-кто из родичей Хусто задумал отправиться в

бассейн Ориноко, чтобы не упустить случая подзаработать на крокодилах, пока они еще есть. Дон Хусто Рамирес с сомнением относился к этой затее, однако обещал выяснить, насколько это стоящее дело. К тому же пришло время раздобыть соли, пороха, пистонов. И он пошел на лодке в ближайшую торговую факторию. Его сопровождали два индейца.

На фактории помимо разного товара нашлись и газеты. Хусто прочитал самые свежие, двухнедельной давности, и призадумался. Кстати, в этот же поселок пришел катер и привез пассажиров: двух военных из Северной Америки, их переводчика и слуг. И выяснилось, что великой державе на севере нужен для военных целей каучук. Много каучука. Приезжие предлагали большие деньги, о таких ценах тут не слыхали с тех пор, как в Манause гастролировала самая дорогая в мире примадонна.

Хусто Рамиресу удалось войти в контакт с этими людьми. Состоялась долгая беседа, и на следующий день он разбудил своих товарищей задолго до рассвета. Рассказал им про новые роскошные мачете, про неслыханные количества рыболовных крючков, которые только и ждут, чтобы их забрали. Индейцы добродушно улыбнулись и взялись за весла.

Когда американские скупщики после долгой поездки вверх по реке вернулись в факторию практически ни с чем, оказалось, что накануне сюда же прибыл дон Хусто Рамирес во главе целой флотилии лодок, нагруженных прекрасным каучуком. По качеству и цена. Североамериканцы взяли всю партию, рассчитались наличными и заказали еще.

Года два шла оживленная коммерция, потом взорвалась бомба над Хиросимой, и все кончилось. Каучук из леса больше никого не волновал. Но дон Хусто Рамирес предвидел такой оборот и заранее принял меры. Свою выручку он перевел в твердую валюту, приобрел новое ружье с запасными частями, тысячи пистонов, несколь-

ко килограммов пороха в герметичной упаковке, свинец для пуль, станочек для зарядки патронов, отличные ножи, мачете и топоры, рыболовную снасть и прочее. Его жена умерла, младшие дети давно выросли и обзавелись семьями. Ничто не привязывало Хусто Рамиреса к одному месту. И вместе со старшим из братьев жены он пустился в странствия. Они переходили с реки на реку, от одного племени к другому. Учили, как это повелось с незапамятных времен, молодых приемам охоты и рыбной ловли, делились своим опытом, вели долгие беседы с местными знахарями. Их одинаково радушно принимали кофаны на Путумайо, юкуна на Марити-Парана, пуинаве на Гуавьяре в месте ее слияния с Ориноко.

Пожалуй, я не встречал более вольных людей, чем эти двое. Фред хорошо знал обоих, они не раз вместе ходили в походы по амазонской сельве. Понятно, наша встреча вызвала обоюдную радость, решили устроить привал по этому случаю и выпить кофе. У спутника дона Хусто было еще более морщинистое лицо, волосы совсем седые — большая редкость у индейцев. В руках он держал длинное гладкоствольное ружье.

Место было подходящее для лагеря, всего два-три километра отделяло нас от Ангостуры, и мы решили заночевать здесь, тем более что старики вызвались быть проводниками и показать нам лучший путь через пороги. Мы снялись, как только рассвело. Ноши у стариков были небольшие: гамаки, пологи, котелок, соль, фаринья и боеприпасы. Мачете и ружья не в счет, они как бы входили в одежду.

Словом «ангостура» обозначают узкое место на реке, вообще теснину, и этот участок вполне отвечал своему названию. Русло становилось все уже, его стиснули крутые склоны, дальше их сменили отвесные стенки. Скалы были отполированы водой много выше теперешнего уровня реки. Сразу видно, как сильно разливается Гуая-бери, когда в горах идут ливни. Сейчас, в засушливый

сезон, вода была прозрачная, хорошо видно черные камни и палисадас; кое-где целые деревья, принесенные сюда в разгар дождей, застряли в щелях между плитами. Не доходя первого порога, мы пристали к берегу, чтобы осмотреться.

Скальные уступы стискивали пенящийся поток, загоняя его в желоба, где из клочьев пены торчали каменные глыбы, словно зубы дракона. Пороги чередовались с заводами, посмотришь — тишь да гладь, вдруг снизу пропарывает воду серо-черная коряга, делает несколько быстрых оборотов и снова пропадает. Да, такая штука за просто может пробить днище лодки. Я не один десяток тысяч километров прошел по южноамериканским рекам, и были среди них довольно буйные, но мне никогда не доводилось иметь дело с таким монстром, как эта Ангостура.

Мы сразу убедились, что форсировать пороги на лодке нельзя. Придется разгрузить ее, вещи перенести по берегу, а затем попытаться провести пирогу на веревках. К сожалению, не все вещи можно было тащить через здешние камни. Решили бочки с горючим и другие тяжести оставить на борту; наиболее уязвимое и ценное имущество отнесем на себе. Сколько я ни возражал, меня назначили стеречь лодку. Шесть человек пошли с ношами по берегу; через час пятеро вернулись, а спутник дона Хусто остался ниже порогов присмотреть за вещами.

Привязав покрепче груз веревками и лианами, мы повели лодку вниз по бурной стремнине. Хусто Рамирес сбросил свою латаную европейскую одежду и шел босиком, в одной набедренной повязке. Вряд ли нам удалось бы справиться с такой задачей без этого золотого человека. Вот он, поднявшись на скалу, руководит, выбирает единственный проходимый желоб, а вот уже стоит вместе со всеми по пояс в воде, и жилистое стариковское тело изогнулось дугой...

Мы трудились усердно, как бобры. Тянули, толкали, дергали, ташили. На иных участках удавалось продвинуться за час от силы метров на сто. Выбьемся из сил, обвяжем буксирные концы вокруг камней, а сами ложимся на землю и отдыхаем. И как раз в такие минуты непременно что-нибудь случится. Скажем, буксирный конец развяжется или перетрется о камень. Беги скорей к лодке и лови ее, пока не унесло течением и не разбило о подводные камни или о палисадас. Борешься с течением, перед глазами мелькают красные пятна, воздуха не хватает, сердце колотится, силы на исходе. Лодка скачет, виляет, кренится, но руки не выпускают веревки, и ты открываешь в себе еще какие-то запасы энергии, о которых даже не подозревал. А там и Карлос Альберто с Матеито подоспели тебе на помощь, один с рычагом, другой с веревкой. Только перевел дух и по-настоящему осознал, до чего же ты уже успел устать, как опять пора браться за лодку и держать ее, напрягая все силы и мечтая, чтобы эта адская лестница поскорее кончилась или чтобы нашелся по меньшей мере один желоб, который можно пройти по-человечески, действуя шестом и веслами. Какое там, каждый новый порог — хуже предшествующего, а руки и ноги ноют, ноют уже так долго, что начинают неметь. Пот заливают глаза, ноги подкашиваются... Впереди торчит высокая скала. Какая каверза прячется за ней?

Я стоял по грудь в воде, судорожно сжимая борт долбленки окровавленными ладонями. Течение здесь было не такое стремительное. Я напрягся, приготовившись толкать лодку дальше. Кто-то взял меня за кисти.

— В лодку, профессор, — донесся откуда-то издалека голос дона Хусто. — Ниже порогов можно и на пираний наскочить.

Фред буквально выдернул меня из реки. Я сел на дно пироги, машинально взял черпак и принялся вычерпывать воду. Луис, Матеито и Карлос Альберто гребли.

Лодка обогнула скалу — и открылся вид на широкий плес. Яркое солнце, речной простор, и никаких порогов. Никаких порогов! Пляжи, галерейные леса, ни одной скалы. Цапли стоят на берегах, в воздухе летают утки. А вон и индеец дожидается. Мы подошли к берегу, установили мотор, Луис дернул стартерный шнур. Мотор подавился кашлем, потом родился ровный рокот. Мы слушали его, как любитель музыки слушает Бетховена. Этот звук был словно бы окончательным, неопровержимым доказательством того, что пороги Ангостуры остались позади, мы вышли на просторы Гуавьяре. Да, это уже другая река.

Погрузив вещи, мы взяли курс на ближайший пляж, развели там костер, сварили кофе и повалились на песок отдыхать. Хосе и Матеито поймали на опушке леса кузнечиков и занялись рыбной ловлей. Они быстро извлекли из воды трех чудесных дорад *Salminus hilarii*, так похожих на красавиц рубиа из Магдалены и Сину (в реках к западу от Анд дорадой называют совсем другую рыбу — *Salminus affinus*). И вот уже разносится заманчивый запах жареной рыбы, а Фред отыскал банку с галетами. Подзакусив, мы нашли в себе силы натянуть гамаки и сетки от комаров, развесить для сушки мокрую одежду. Потом опять сели есть и пить кофе. В тот вечер беседа у костра не затянулась.

Едва ли не самый приятный момент в таком походе — это когда можешь себе сказать, что труднее уже не будет, дальше все пойдет легче. Сейчас мы всю наслаждались этим моментом.

ПОСЛЕДНЯЯ ДЕРЕВНЯ

Дон Хусто и его родич расстались с нами сразу за Ангостурой. Раньше они собирались идти до ближайшего селения, чтобы купить там соль и спички. Но мы им да-

ли все необходимое. Не в подарок — это могло бы выглядеть как милостыня. И не за то, что они помогли нам справиться с Ангостурой. Фред заикнулся было о вознаграждении, но вовремя увидел, как сверкнули глаза старого креола, и ограничился словами благодарности.

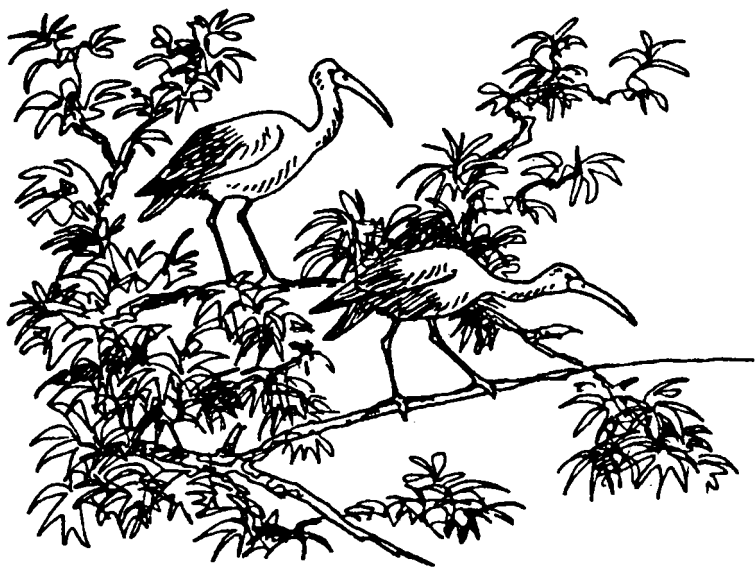
Все было сделано достойно, мы произвели обмен, приобрели у них шкуру исполинской выдры и ожерелье из зубов и когтей. Причем один коготь заставил нас, натуралистов, вытаращить глаза: он принадлежал исполинскому броненосцу, который, как утверждают все источники, встречается только по ту сторону Амазонки. Мы попытались выяснить, откуда этот коготь, но спутник дона Хусто, Хосе, не мог нам сказать ничего определенного. Он выменял его у индейца из племени тукуна, что обитает в районе Летисии. А вообще, он слышал от людей, что исполинский броненосец, хотя и очень редко, встречается по эту сторону великой реки.

За шкуру выдры старики получили вдоволь соли, спичек и рыболовных крючков, а за ожерелье они взяли нож, зажигалку с запасными кремнями и бензин в плотно закупоренной бутылочке. Обе стороны остались довольны, и два странника направились по неведомым лесным тропам через водораздел обратно, в область индейцев карихона и кубео, где реки текут в Амазонку.

Напоследок дон Хусто снабдил нас добрыми пожеланиями и советами; сказал, в частности, где есть смысл поискать супаи има има.

Дон Хусто и Хосе попрощались с нами и ушли, а мы, пятеро в одной лодке, продолжили наше плавание вниз по реке. Теперь нас увлекал за собой не стремительный поток Гуаяберо, а тихие воды широкой Гуавьяре. Просторное русло, низкие берега, длинные пляжи с гравием и песком. Иногда попадется крутой песчаный яр, но и они чем дальше, тем ниже. Болота кишели птицами,

больше всего было цапель. Потом я увидел первую стаю красных ибисов, они парили на светло-зеленом фоне болота, словно ожившие цветы. Верный знак того, что мы приближались к Ориноко.



В тот же день нам встретилась артель рыбаков. Около десяти человек работали с длинным неводом. Огородили им с лодки глубокую заводь, затем начали медленно подтягивать его к пляжу. Бальсовые поплавки качались на воде, приближаясь к берегу, рыбы выскакивали на воздух, некоторые даже перепрыгивали через невод и уходили. Мы причалили к берегу поблизости и стали наблюдать.

Рыбаки были из племени гуаяберо — мужчины и юноши, смуглые, жилистые крепыши, только уж какие-то очень унылые на вид. Лоб не украшен цветной лентой, губы не улыбаются. Ни ярких набедренных повязок, ни ожерелий из пестрых семян, обезьяньих зубов или зве-

риных фигурок, вырезанных из черного ореха. На голой груди болтаются тусклые алюминиевые амулеты. Одежда, сложенная на пляже, -дешевые, много раз латанные рубахи и штаны.

Невод, который они тянули, принадлежит не им, а деревенскому лавочнику. Свободные индейские земледельцы превратились в поденщиков. Кто теперь хозяин их земель? Какой-нибудь асьендадо. Другие присматривают за его огромными стадами, а сам он живет в Боготе. Если не в Майами или в Париже. Или, может быть, здесь заправляет деревенский священник, он же помещик?.. Так или иначе, перед нами не вольные и веселые «дикари», а «цивилизованные христиане». Они мрачно смотрят на нас из-под чуба. Ничего похожего на широкую дружелюбную улыбку, которой нас встречали в других племенах. Она умерла, как умерла надежда, когда гуаяберо убедились, что человек с другой кожей — враг, которого не переделают никакое радушие, никакая доброта. Когда они, как и многие другие племена до них, научились брать деньги со странника за еду и ночлег.

Невод подведен к берегу, рыбаки осторожно тянут нижний подбор. Несколько человек вооружились гарпунами. Сети кишат рыбой. Усатые головы, растопыренные плавники, трепещущие хвосты... Преобладают сомы: багре и багре бланко, кучаро, тихерета, кахаро, огромный, длиннее человеческого роста, валентон, дородный торуно. Или по-латыни: *Pseudoplatystoma fasciatum*, *Sorubim lima*, *Sorubimichthys planiceps*, *Paulicea liitkeni*, *Phractocephalus hemiliopterus*, *Brachyplatystoma vaillantii*, *Zungaro zungaro*.

Индейцы вытаскивают на берег здоровенных рыб, и вот замелькали ножи. Улов надо чистить, солить, вялить, чтобы получился товар для сбыта в районах нагорья. В Боготе, Кали, Медельине во время поста принято есть сушеного багре. Прежде его поставляла Магдалена, но там хищнический промысел извел чуть ли не всю рыбу.

Примерно такое же положение, если не хуже, на реке Сину, где водился только багре бланкј. Остается последний резерв — льяносы к востоку от Анд. И пусть ловят, только бы и здесь не пошли по тому же пути: хищнический промысел, полное истребление популяций. А то ведь кончится тем, что следующему поколению нечего будет есть.

Молодой парень подвешивает сушить очищенную и посоленную рыбу. Берет следующую. Это карахо. Пожилой индеец поднимает голову и негромко что-то говорит, но так, что вся артель слышит. Я гляжу на Матеито, он напряженно вслушивается. Похоже, что парень с карахо оправдывается. Его старший товарищ отвечает ему. До спора не доходит, но в голосах угадывается недовольство. И вот уже снова кипит работа.

Матеито замечает мой вопросительный взгляд и объясняет:

— Хозяин велел им засаливать карахо вместе с другой рыбой. Белолицый лучше знает, что годится для белолицых.

Здесь не едят карахо. И не из суеверия, просто у этой рыбы неприятный запах и вкус. Прежде из карахо иногда вываривали жир, который использовали как слабительное или как смазочное вещество. Но хозяин невода решил продавать ее заодно с другой рыбой. Потребитель живет далеко, он не узнает, кто повинен в том, что попался плохой кусок. Что ж, это дело самих белых, считают индейцы. Но я уловил слово, которого Матеито не перевел: самуро — «стервятник».

Рыба очищена, невод собран, рыбаки выходят на лодке для нового замета. Рядом с развешенной рыбой лежит на земле куча больших голов. После работы артель сварит себе уху. Голов карахо в этой куче нет, они выброшены в реку. Пираньи съедят.

Мы идем дальше. Мало-помалу вид берегов меняется. Сама природа та же, но тут потрудились человек. Видим расчистки, дома колонистов. Раны, нанесенные лесу топором и огнем. Срубив деревья, их сжигают, потом

сеют в золу. Индейцы тысячи лет возделывали землю этим способом. Расчищали участки с хорошей почвой, но никогда не трогали лес по берегам рек, не трогали крутые склоны, берегли самые полезные лесные породы и те деревья, которые, по их поверьям, пользовались покровительством высших сил. Разумеется, они тоже преобразовали природу, но осмотрительно. К тому же индейцев было не так много. Говорят. Да только кто может это знать точно? Кто считал индейцев до того, как почти пятьсот лет назад началось их истребление? Которое продолжается по сей день...

Пришли незваные гости, не умеющие жить в ладу с лесом, враждующие с ним, боящиеся его. Эти люди не расчищали, они уничтожали. Не охотились на дичь и не ловили рыбу, а истребляли и то и другое. Начисто сводили лес на берегах рек и холмах. Вот и тут мы видим оголенные берега. Сперва небольшие участки, несколько десятков метров, но таких просветов становится все больше, они сливаются. Чаше попадаются лачуги, причаленные к берегу лодки.

Вдруг лес совсем обрывается. Дальше не только леса нет, не видно домов, плодовых деревьев, посадок маниока. Только река, пляжи да пастбища. Сколько хватает глаз, трава, сплошная трава. И скот. Тощий скот, тучный скот, преимущественно зебу. Земледельцы ушли отсюда, вытесненные большими асьендами. Возможно, поднялись выше по реке, делают там черную работу, а через два-три года и туда дотянутся щупальца асьенды.

Скоро подойдем к селению — единственному крупному селению на десятки километров вокруг. Автомобильных дорог нет, сюда можно попасть только по реке. Власти Вильявиченсио снабдили нас рекомендательным письмом к местному алькальду¹.

¹А л ь к а л ь д (исп.) — государственный чиновник, возглавляющий сельскую администрацию. — *Прим. пер.*

Вот и дома показались: деревянные постройки, ма-занки с крышей из пальмовых листьев. Такая же деревня, как сотни подобных в Колумбии, Бразилии, Венесуэле. Мы причаливаем рядом с другими лодками. Здесь приходится запирать свою пирогу цепью с замком, и груз мы уносим в надежное место. Цивилизация. Или, как тут принято говорить, «форпост цивилизации». Десяток домов под железом, церковь, тюрьма, пыльная площадь. И около сотни лачуг, половина которых грозит не сегодня-завтра развалиться окончательно. Четыре лавки, полдюжины кабаков, полицейский участок и бордель. А дорог не проложено, и водопровода нет: к чему они, когда река рядом? Правда, вода в Гуавьяре мутноватая, но жители к этому привычны, никто не жалуется. Электричество? У двух торговцев есть свои генераторы, дающие ток для нескольких лампочек и холодильника. Еще один такой же генератор освещает церкви. И у полицейских есть электрическая машина, но она почему-то не работает.

Уборных нет. За чистотой на улицах следят два-три десятка черных свиней да несколько сот грифов, дежурящих на крышах. Отбросы сваливают в реку, ту самую реку, из которой берут питьевую воду и в которой моются — изредка. В-сезон дождей очистка улиц происходит, так сказать, автоматически. Свиньи пользуются случаем вырыть глубокие ямы, чтобы потом валяться в лужах. Года два назад в такой луже утонул ребенок. Не первый и не последний...

Врача в деревне нет. Приезжал сюда один молодой лекарь, чтобы пройти обязательную деревенскую практику. Но священник его невзлюбил, ведь он был «дарвинист», а для патера это то же, что «коммунист». И вместо года лекарь проработал здесь всего четыре месяца. Правда, в лавках можно купить лекарства. При этом лавочники сами устанавливают дозу. И цену, разумеется. Не поможет — ступай к священнику, купи у него свечи и

закажи молитву. За известную мзду наличными. Если и молитва не спасет, священник отслужит заупокойную мессу. Тоже за наличные.

Школы нет, ведь селение входит в сферу влияния миссии. Мы находим приют у одного из лавочников. Вещи вносим в его склад, и Матеито остается их сторожить. Остальные решают прогуляться по селению. Прогулка не затягивается, ведь селение ничем не отличается от сотен ему подобных.

Вечером сидим в пивнущке. Вдруг входит деревенский священник — эль сеньор кура парроко — и садится за столик. Небрежно приветствует нас, мы так же небрежно отвечаем. Патер беседует с хозяином. Они говорят вполголоса, говорят о нас, я улавливаю слова: «докторес», «натуралистас», «Рио-Гуаяберо».

Но вот хозяин вынужден отлучиться в лавку. Патер, откормленный господин лет сорока, изучает нас взглядом, потом обращается ко мне:

— Мистер, Гонсалес говорит, что вы сюда прибыли с Гуаяберо.

— Мистер, — отвечаю я, — вас правильно проинформировали.

Священник багровеет. В Колумбии обращение «мистер» выражает пренебрежение, да я к тому же постарался скопировать его высокомерную интонацию. Однако он тут же берет себя в руки и спрашивает, не повстречался ли нам падре Фелипе. Святой отец отправился вверх по реке проповедовать среди этих ужасных тинигуа. Фред отвечает, что мы видели какого-то человека в сутане, в сопровождении двух колонистов. Да только вряд ли патер сумеет наладить контакт с индейцами. Они побаиваются чужаков. Патер заржал. Вот и видно, как плохо мы осведомлены об этом крае и его людях. Мало того, что свирепые и коварные тинигуа — идолопоклонники, они к тому же людоеды!

Мы удивленно переглянулись. В прошлом было при-

нято объявлять каннибалами племена, которых намеревались так или иначе эксплуатировать. Это вроде бы оправдывало применение насилия против них. Испанские завоеватели изображали многих индейцев кровожадными людоедами. Но когда в современной Колумбии кто-то называл индейцев каннибалами, тотчас приходят на ум пресловутые басни Гитлера и его пособников о «неполноценных» народах. Словом, мы удивились. Возможно, даже улыбнулись. Все-таки Фред больше десяти лет бродил по лесам этой страны, а я и того дольше, нам ли не знать, как обстоит дело...

СУПАИ ИМА

Розыск большой анаконды идет полным ходом. Мы давно оставили деревню и вот уже третий день прочесываем местность, после того как Матеито в десяти минутах хода от нашего лагеря обнаружил след супаи има. Сколько проходит анаконда за ночь? В какой мере она привязана к определенной территории? Мы знаем, что она ведет преимущественно водный образ жизни, но как далеко и на какой срок удаляется она от своего водоема? Может быть, у нее несколько «своих» водоемов? Трудно перечислить все то, чего мы не знаем о самой крупной в мире водяной змее.

Найденный нами след, попетляв в лесу, привел к речушке и здесь оборвался: анаконда ушла в воду. Мы прошли вдоль притока три километра вверх по течению, до того места, где русло перегораживают сложные пороги, но других следов обнаружить не удалось. Разумеется, это было все равно, что искать иголку, да не в одном, а в нескольких стогах сена. Даже зоркий тинигуа не сыскал никаких признаков того, что супаи има вышла обратно на берег. Может быть, анаконда притаилась в самой речушке? Забралась в нору и лежит там.

Конечно, такой змее нужна немаленькая нора, но ведь убежища, которые отрывает себе в берегах крокодил, достаточно велики! Да она могла просто нырнуть и лечь на дно. Сколько часов проводит анаконда под водой? У рептилий жизненные процессы протекают куда медленнее, чем у теплокровных, особенно когда они отдыхают. Даже Фред, кое-что знающий о змеях, не берется сказать тут что-нибудь определенное. Нам остается только гадать и строить различные гипотезы по поводу того, что может и чего не может анаконда. И искать. Искать.

Вечерами мы обсуждаем волнующий нас вопрос: в самом ли деле исполинская анаконда (если правомерно говорить о таком подвиде) настолько редка? Или нам просто не везет? Почему нам вовсе не попадаются молодые анаконды? Может, пока они не вырастут, у них есть в природе свой враг — какой это враг? Может, они в этом возрасте ведут скрытный образ жизни? А может, мы еще не нашли настоящего биотопа анаконды?

Утром третьего дня Фред вместе с нашими тремя спутниками опять уходит вверх по реке. Они решили подняться еще на два-три километра к северу. Фред и Карлос Альберто обследуют один берег, Луис Барбудо и Матеито — другой. Изнуренный странствиями и поисками, я остаюсь сторожить лагерь. Идти с ними нет смысла, я буду только обременять их.

Проводив друзей, достаю мелкочешуйную сеть и принимаюсь за сбор образцов ихтиофауны. Никто еще не изучал мелких рыб этой речушки. Вообще о рыбах бассейна Ориноко известно поразительно мало. Хорошо, если ученые успеют открыть и описать все виды, раньше чем они будут истреблены. А такая опасность есть, если вспомнить, как поступает со средой человек, не вооружившись надлежащими биологическими знаниями, не уяснив себе природных взаимосвязей.

Может быть, в конечном счете удастся разумно ре-

шить гигантскую проблему продовольственного снабжения быстро растущего населения Южной Америки. Мне же пока остается только брать образцы в этой и других речушках и заспиртовывать их для последующего определения.

Да, приходится убивать мелких рыбок. Конечно, куда приятнее было бы заняться, скажем, этологией. Молодой наукой Конрада Лоренца и Нико Тинбергена¹, которая исследует поведение животных и его причины. Быть может, она позволит нам лучше понять самих себя, ведь наше родство с животными предками несомненно. Смотришь, преуспев в новой науке, мы научимся не столь зверски обращаться друг с другом и с прочей фауной.

Но пока наши познания в систематике страдают зияющими пробелами (о птицах в этом смысле мы знаем почти все, зато сколько еще не известно о рептилиях, рыбах и других классах), даже обыкновенный коллектор, вооруженный сетью и ружьем, может принести пользу в плохо изученных тропических районах. Систематика в науке так же необходима, как азбука в создании и сохранении литературы.

Я закидываю свою сеть. Сам вязал ее несколько месяцев, ячея такая мелкая, что упитанная муха не пролезет. Извлекаю улов на песок. Малюсенькие карпики, представители пяти, а то и больше видов. Цихлида, похожая на окунька. Пухлый панцирный сомик с широкими пятнистыми плавниками. «Крысохвост» с анальным отверстием на шее и длинным колышущимся плавником вдоль всей нижней части тела. Далекий хлипкий родич электрического угря.

Отправляю всю компанию в банки со спиртом и перехожу к соседней заводи. Она неглубокая, от силы пол-

¹ См. книги: Конрад Лоренц. Кольцо царя Соломона; Нико Тинберген. Осы, птицы, люди. — *Прим. пер.*

тора метра. А на большей глубине моя накидка и не даст надлежащего эффекта. Пока она ляжет на дно, самые быстрые рыбки уйдут.

Дергаю повод и чувствую, что есть улов. Но какой? Странно как-то отбивается моя добыча, не как обычная рыба. Во всяком случае, это не коряга, коряги не шевелятся. Осторожно, соблюдая все правила — не первую тысячу раз закидываю! — подвожу сеть к берегу. Бывает, конечно, какой-нибудь особенно прыткий житель вод спасается бегством. Но этому бежать не удастся. Вот уже сеть на берегу, и я вижу, как в ней корчится диковинное существо.

Так и есть, то, что я думал, — черепаха. Но не простая! Во-первых, она гораздо более плоская, чем обычные черепахи, словно приплюснутая сверху. И на спине у нее три зубчатых кия, разделенных глубокими вырезами. Голова на длинной шее тоже как бы сплюснутая и почти треугольная. Много кожистых лоскутов на голове и на шее, а на конце морды торчит нечто вроде короткого хоботка. Хвост такой куций, что о нем и говорить-то смешно; рядом с ним тоже висят резные кожные лоскуты. Окраска панциря сверху каштановая, снизу грязновато-зеленая, на некоторых щитках есть более темные или более светлые пятна. Как будто черепаха надела маскировочный халат.

Пойманную мной водяную рептилию называют матамата или бахромчатая черепаха — *Chelys fimbriatus*. Длина панциря сантиметров двадцать, но матамата бывает и вдвое больше, выше полуметра, считая шею и голову. Этот вид довольно обычен в притоках Гуавьяре и других водоемах восточных льяносов. Предпочитает медленные илистые потоки и стоячие лужи, питается мелкой рыбешкой, улитками (*Ampullaria*) и другой подобной живностью, иногда водными растениями. Матамата малоподвижна, любит зарываться в ил. Потревоженная черепаха втягивает голову и ноги и ждет, по-

ка ее оставят в покое. Я никогда не слышал, чтобы матамата кого-нибудь атаковала. И люди, как правило, ее не трогают. У нее неприятный запах и малоаппетитный вид. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь ее мясо. Если кто и пробовал, то ни с кем не делился своими впечатлениями.

Полагая, что это диковинное создание может заинтересовать Фреда, помещаю черепаху в пластмассовое корыто, наливаю в него воды и кладу плоский камень, чтобы она могла выбраться на воздух и подышать. Затем продолжаю лов. Мне попадаются еще матамата, потом опять идут рыбешки. Перехожу к более глубокой заводи. И снова в накидке бьется что-то крупное. Но это не черепаха, я сразу чувствую разницу. Подвожу сеть к берегу, и вдруг меня ударяет током. Да еще как!

Когда ловишь рыбу в притоках Ориноко, надо быть готовым ко всяким сюрпризам. Электрический угорь, ясное дело. Симпатичная добыча, куда там. Ну, ничего, сейчас я его... Я приметил, в каком из ящиков Луис Барбудо держит свой инструмент, и вот уже у меня в руках клещи с длинными изолированными рукоятками. Теперь можно спокойно браться за сеть. Наконец угорь извлечен из воды. Небольшой экземпляр, от силы три четверти метра. Можно считать, мне повезло, учитывая, что переутомленное сердце последнее время все чаще пошаливает.

После этой закидки удача мне изменяет. Сеть рвется, я сажусь ее чинить, осаждаемый песчаными мухами. Не один час уходит на починку, затем я развешиваю сеть на ветках, чтобы просохла. Снимаю очки и протираю их, поглядываю на реку. Вдруг на другом берегу раздается крик выпи *Tigrisoma*. Ну и голосок, словно корова промычала. Снялась с ветки и перебралась повыше. Похоже, заметила в воде что-то опасное.

Секундой позже и я вижу: из-за лодки вниз по течению выплывает длинное тело. Невероятно длинное.

Моя первая мысль — это сомы *Pygidium migrans*. Сейчас как раз то время, когда они идут на нерест вверх по Гуа-яберо, идут колоннами шириной с полметра и длиной в несколько метров. Но ведь эта штука плывет вниз по течению, а *Pygidium* себя так не ведут. К тому же глаза меня не обманули, я на самом деле вижу сплошное извивающееся тело. Над водой поднимается голова — и всем сомнениям конец. Это змеиная голова. Самая большая змеиная голова, какую я когда-либо видел. Анаконда. Она проплывает с поднятой головой метра три-четыре, потом снова уходит под воду. Миновав лодку, длинное тело быстро плывет мимо моего пляжа, ближе к другому берегу, где глубина побольше.

В двадцати метрах ниже по течению к речушке с обеих сторон вплотную подступает лес. Берусь за ружье, но это чисто рефлекторное движение: стоит пальцам ощутить сталь, как торжествует рассудок. Такую анаконду дробью с одного, даже самого меткого, выстрела не убьешь. Кстати, не так-то просто попасть по движущейся мишени, когда она вся под водой. Подранишь змею — уйдет и спрячется. Но допустим даже, я уложу ее на месте. К чему это приведет? Анаконда утонет. А в ней весу килограммов триста, если не больше. До возвращения моих товарищей я никак не смогу ее вытащить на берег, а пираньи зевать не станут. Убийство такого экземпляра оправдано лишь в том случае, если можно его спасти для науки. Если бы я мог выманить ее на берег и заставить атаковать меня. Может быть, тогда и удалось бы парализовать ее выстрелом. Но она не обращает на меня никакого внимания. Возможно, она вообще не ест людей, хотя при желании вполне могла бы расправиться с человеком. Возможно, я ей не приглянулся. Проследить за ней, посмотреть, куда она денется? Все равно из этого ничего не выйдет. Лучше всего не пугать ее, оставить в покое. Дождусь товарищей, а там Фред что-нибудь придумает.

Анаконда исчезает вдаль под нависшими над рекой ветвями. Я не сомневаюсь, что это та самая, чей след нашел Матеито. Фред предполагал, что в ней метров восемь. По-моему, она будет побольше, но неспециалисту недолго и ошибиться.

Часа через два в лагерь возвращаются четверо охотников за змеями, основательно утомленные тщетными десятичасовыми поисками. Я докладываю о происшедшем. Фред выражается не совсем академично, но все же оправдывает мои действия. В данных обстоятельствах я в общем поступил более или менее правильно, да и что спрашивать с какого-то сортировщика мелкой рыбы.

Вместе с Матеито он идет вниз на рекогносцировку. Перед самым наступлением темноты они возвращаются ни с чем. Карлос Альберто уже приготовил обед, мы садимся есть, потом пьем кофе и совещаемся. Решаем завтра утром свернуть лагерь и спускаться вниз по реке. Нам известно, в какую сторону ушла анаконда. Пройдем пятнадцать — двадцать километров и, если не найдем ее, попробуем придумать что-нибудь другое.

...Пирога скользит будто через туннель. Берега круто обрываются в воду, и кроны высоченных деревьев смыкаются у нас над головой. В туннеле полумрак. С каркающими криками разлетаются спугнутые нами серые кваквы. Мотор сегодня отдыхает, мы работаем веслами и шестами, стараясь не шуметь. Конечно, змеи глухи, но не исключено, что они воспринимают вибрацию от мотора. Лучше не рисковать.

Русло становится глубже, берега — выше, зато они теперь не такие крутые. То и дело над нами открываются просветы, и сверху свисают лианы с пурпурными или огненно-красными цветками. Серебристо-сизые зимородки, проносясь мимо, щебечут на пределе звукового спектра свои солнечные песенки.

Естественно, первым замечает супаи има Матеито.

Вон она лежит на береговом откосе, часть тела на суше, часть под водой. Толстая, даже бесформенная. Не иначе, ночью заглотала крупную добычу. Речка тут широкая и прямая. Странно, что змея выбрала для отдыха место, где ее видно со всех сторон. А впрочем, при таких размерах кого из лесных обитателей ей бояться? Осторожно причаливаем к берегу по соседству. Матеито и Карлос Альберто прыгают на сушу и углубляются в лес, совершая обходный маневр. Первый несет несколько саженей каната из лиан, второй взял наши самые толстые веревки. Выждав немного, Луис Барбудо медленно, осторожно подводит лодку ближе к змее.

Фред, изменив своему любимому малокалиберному оружию, заряжает оленьей картечью ружье двенадцатого калибра. Но он мыслит вполне здраво. Когда я проверяю свой штуцер, мой друг шипит мне:

— Что бы ни произошло, не стреляй в голову!

— Только в самом крайнем случае, — шепчу я в ответ, чтобы подразнить его. — Все-таки наша жизнь дороже.

Герпетолог качает головой, точно я его не убедил.

Осталось метров двадцать. Анаконда кажется еще больше, чем прежде. А вон на берегу и наш десант; змея их не видит. Они уже обвязали свои веревки одним концом за толстые стволы, на другом конце сделали петлю-удавки. Собираются набросить арканы на шею анаконды раньше, чем мы откроем огонь. Работа не для слабонервных. А без арканов змея может уйти в реку, и поминай как звали. Это было бы чистой катастрофой после стольких недель поисков.

Луис разворачивает пирог так, чтобы нам с Фредом было удобнее стрелять, если анаконда примется слишком бурно возражать против наших посягательств на ее личную свободу.

Вот Матеито крадется вперед, держа аркан наготове. Его движения напоминают замедленное кино. Что-то у него получится? Кажется, ровным счетом ничего. Пока



голова анаконды прижата к земле, невозможно накинуть ей веревку на шею. Надо как-то заставить змею сдвинуться с места. Луис машет веслом, пытаясь привлечь ее внимание. Какое там... Анаконда остается недвижима. Дремлет, переваривая пищу. Или что-то задумала, готовит сюрприз нарушителям спокойствия? На берегу качается ветка: это Карлос Альберто «пугает» змею. По телу анаконды — во всяком случае, по первым двум-трем метрам — как будто пробегает трепет. Но голова по-прежнему лежит на земле. Поднимаю штуцер, прицеливаюсь. Фред знаком велит мне подождать. Что ж, ему лучше знать. Вдруг Карлос Альберто кидает палку прямо в морду чудовищу. Терпению змеи приходит конец, она с поразительной быстротой поворачивается к воде и буквально стекает вниз по откосу, отрывая при этом голову от земли ладони на две. Большого и не надо. Матеито бросает свой аркан и рывком затягивает петлю. Несколько секунд — и на шею анаконды накинута вторая веревка.

Дальше события развиваются так быстро, что трудно уследить. Огромная, ленивая, разморенная рептилия внезапно оживает. Представьте себе взбесившийся пожарный рукав полуметровой толщины! Змея устремляется к воде, но веревки ее останавливают, и она взмывает вверх метра на два. Фред стреляет раз, другой. Я стараюсь поймать на мушку середину бешено извивающегося змеиного тела, чтобы поразить позвоночник подальше от веревок. Но анаконда так мечется, что мне остается только ждать.

А змея уже изменила тактику, она идет в атаку. Голова, как наконечник копья, летит вверх, и Карлос с Матеито прячутся за деревья. Атака тут же прекращается, анаконда опять отступает к реке. Одна веревка натягивается до отказа и рвется. Теперь только канат из лианы удерживает змею.

Вдруг Фред выпрыгивает из лодки на берег. Этот поразительный человек подбегает к беснующейся анаконде, хватает брошенную ему индейцем веревку и ловко накидывает ее на шею змеи. Карлос Альберто живо обматывает другой конец веревки вокруг дерева. Змея делает выпад, но Фред отскакивает, и анаконда промахивается. Наконец-то мне удастся прицелиться. Я нажимаю спуск, перезаряжаю, целюсь опять. Но второй выстрел явно не нужен. Голова и полтора метра длинного тела безвольно упали на землю, хотя все остальное тело продолжает корчиться. Обе веревки натянуты, как скрипичные струны. Проходит не одна минута, прежде чем движения змеи становятся настолько вялыми, что можно планировать следующий ход.

Отвратительно?.. Да, конечно, теперь есть время подумать и об этой стороне дела. Убивать всегда отвратительно, тем более когда смерть не мгновенна... И мы ровным счетом ничего не можем сделать, чтобы ускорить события, положить конец этим конвульсиям. Хребет перебит, анаконда мертва, как мертва курица с от-

рубленной головой. Можно выпустить в нее еще пять пуль, и ничего не изменится. Все дело в том, что у рептилии, и особенно у змеи, процесс умирания протекает не так, как у теплокровных. Но мне от этой мысли ничуть не легче.

Причаливаем лодку и впятером беремся за обе веревки, чтобы вытащить на берег всю нашу добычу. С таким же успехом мы могли бы тянуть вросшее в землю дерево. Анаконда обвила хвостом какую-то корягу под водой, и все наши усилия впустую.

— Этот червь-переросток мертв, никакого сомнения, — говорит наконец Фред, вытирая лоб. — Только он сам еще этого не уразумел. Предлагаю разбить здесь лагерь и подождать, пока червь как следует не осознает, что случилось.

Никто не возражает. Гляжу на часы. Десять минут десятого по среднеколумбийскому времени. Но лишь после двух часов дня сопротивление змеи ослабевает настолько, что нам удастся вытащить наш роскошный экземпляр под деревья и приступить к обработке. Фред решил взять не только кожу, но и скелет. Чтобы потом не было споров о размерах нашей анаконды. Естественно, мы первым делом растягиваем змею и тщательно замеряем рулеткой.

— Восемь метров сорок три сантиметра, — объявляет герпетолог с довольной улыбкой. — Не так уж плохо. Во всяком случае, побольше максимума, о котором писал Дитмарс. Но и рекордом это не назовешь. Есть экземпляры покрупнее. Намного крупнее...

В его голосе звучит что-то вроде тоски. Опять недоволен? Надо же.

Мы беремся за ножи. Не просто снять кожу с такого чудовища. Голову наскоро очищаем и засаливаем вместе с кожей. До чего же маленький мозг у анаконды! Нам не удастся извлечь его целиком, но приблизительно вес определить можно. От силы тридцать граммов. На каждый

грамм не меньше десяти килограммов тела. Невольно вспоминаются драконы юры и мела. Они тоже не отличались высоким интеллектом. Конечно, и внутренности представляют интерес, однако всего заспиртовать мы не можем, поэтому отправляем их в реку, но сперва исследуем содержимое желудка. Очковый кайман (*Saiman sclerops*) длиной около ста восьмидесяти сантиметров... Грудная клетка раздавлена, позвоночник переломан. Змея, способная целиком проглотить такого каймана, пожалуй, и с человеком справится. Неудивительно, что анаконда сперва была вялая: вон как живот набила. Возможно, нам только потому и удалось ее добыть. Более философски настроенный автор, вероятно, предложил бы тут читателю несколько нравоучительных суждений о вреде обжорства.

Естественно, мы не управились с препарированием в один вечер. Оставалось лишь надеяться, что завтра утром останки змеи не будут пахнуть слишком скверно. Я сочувствовал Карлосу Альберто, которому предстояло довести до конца эту работу, когда мы вернемся в Институт естествознания... И вообще я был вполне доволен своей специальностью сортировщика мелкой рыбы.

С каким наслаждением мы искупались в тот вечер... Осторожности ради — на берегу, поливая друг друга из черпака. Меня отнюдь не манило нырнуть в речку, где пираньи и прочие аборигены, наверное, вошли в раж, отведав того, что мы выбросили. Интересно: они не тронули убитую анаконду, когда мы ее вытаскивали из воды. Может быть, им ее запах не нравится? В одном из притоков Магдалены я пробовал удить на крокодилье мясо. Никто не клюнул. Но ведь я сам однажды видел, как раненый крокодил спасается на берег от пираний... Вот и разберись тут, что к чему.

С рассветом опять приступаем к работе. Трудимся не один час. Наконец скелет анаконды можно засаливать. Но ведь надо все упаковать, чтобы везти с собой.

Придется провести еще одну ночь на этом берегу. И уж лучше перенести гамаки подальше. Больно тяжелый запах там, где мы работали. И деревья облеплены грифами.

...Новый день. Все интересующее нас уложено в лодку. Остальное — грифам. Пускаем мотор и идем по приходу вниз к большой реке. Собранный нами материал сложен на носу, накрыт брезентом и пальмовыми листьями. Он уже занимает немало места. Позади меня сидит Матеито. Я оборачиваюсь, предлагаю ему сигарету. Немного погодя показываю на наш багаж и говорю чуть ли не единственные слова, которые знаю на его языке:

— Супаи има-има.

Индеец отвечает не сразу:

— Супаи има-има — нет. — Он качает головой, смотрит на наши свертки и объясняет: — Супаи има.

Снова пауза, наконец сигареты выкурены, тогда Матеито указывает подбородком вперед и говорит:

— Супаи има-има!

Он считает, что мы не нашли настоящую большую анаконду, встреча с ней еще предстоит.

Вот так.

СУПАИ ИМА-ИМА

Фред и Карлос Альберто вернулись. Они побывали в Боготе, отвезли в столицу собранный нами материал. Заодно Карлос Альберто залечил укусы, полученные от одной из двух молодых анаконд, пойманных нами на Гуавьяре. Попав в клетку, она вознамерилась съесть свою подругу по несчастью, препаратор вмешался и был награжден двумя укусами.

Мы пополнили свое снаряжение, я прочёл самые важные письма и свежие газеты, отведал «цивилизованной» пищи, выпил стопочку разбавленного виски. Кро-

ме того, мы подобрали в условленном месте Матеито, отдали Геронимо обещанные фотоснимки (на них — его отец, он сам, его жена и дети), и теперь снова идем вниз по реке, выслеживая настоящую большую анаконду. Время поджимает. Пока что нам везло с погодой, но сезон дождей уже на подходе, а тогда конец всем работам здесь до следующего года. Вообще-то нам удалось в этот заход добыть еще один экземпляр, но в нем нет и шести метров. Подросток для данного вида, вернее, подвида. Неужели мы не получим веского доказательства, что здешняя анаконда вполне заслуживает приставки *gigas* (гигантская)?

Сегодня мы должны подойти к тому месту, где в реку вливаются воды из обширных болотных озер. Эти озера не показаны ни на одной из известных мне карт. Матеито узнал о них от тестя Геронимо. Старик рассказал про большое озеро, на котором он держит лодку, хотя сам редко туда навевывается, потому что там собираются злые бесы.

Вот и рукав, соединяющий реку с болотами. Первым его обнаруживает всевидящий Матеито. Нелегко отыскать ворота «озера духов», устье притока совсем закрыто кустами. Правда, в это время года прибрежный лес обычно не такой зеленый, но непосвященный человек может и не заметить этого. Или отнести за счет близости реки. Во всяком случае, Матеито оказывается правым, как и следовало ожидать.

Разбиваем лагерь на песчаном берегу. Фред, Луис Барбудо и Матеито отправляются вдоль рукава на разведку. Хорошо бы подняться на пироге возможно выше: надежно укроем ее от чужих глаз, пока будем обследовать озеро, и не так далеко тащить на себе снаряжение. Там, где живут только некрещенные индейцы, краж бояться нечего. Но здесь, у большой реки, слоняется всякий народ. Вспоминаю, что мне однажды сказал мой незабвенный друг Хаи-намби, когда мы еще

были молодыми и ходили на медведя в предгорьях Западных Анд:

— Понимаешь, старший брат, из наших людей никогда не выйдут настоящие христиане, мы не умеем ни врать, ни воровать.

За два часа до заката разведчики возвращаются. Усталые и голодные, зато с добрыми новостями. Километра три можно пройти на лодке, дальше путь преграждает бурелом. Мы стоим на пляже и совещаемся, в это время до нас доносится рокот мощного мотора. Матеито молча забирает свой узелок и ружье и удаляется в лес.

Через несколько минут из-за поворота появляется большая лодка, полная людей. Она пристает к берегу рядом с нашей долбленкой. Пассажиры выходят. Патер из ближайшего селения и его служка, румяный дородный полицейский чин, капрал, восемь жандармов и два рыбака: проводники и чернорабочие. Миссионерская экспедиция за душами индейцев. Чин подходит к нам и спрашивается, кто мы. Предъявляем ему наши документы и рекомендательное письмо губернатора. Прочтя письмо, он становится малость вежливее. Просит показать разрешение на оружие. Ему явно приглянулся мой штуцер, но бумаги в полном порядке, не придерешься. Затем он осведомляется, не встречались ли нам индейцы. Услышав отрицательный ответ, говорит:

— Если встретите, стреляйте! Это опасный и коварный народ.

Я смотрю на патера, он ухмыляется и кивает. Н-да, вот так обращают в праведную веру индейцев в шестидесятых годах нашего века... Невольно вспоминается миссионерский гимн, который я слышал в молодости. В этом гимне говорилось, что путешественник странствует под защитой охранных грамот и винтовок, а вот миссионер идет впереди него тихо и скромно, имея только топор и ложку. Я ни разу не видел миссионера, работаю-

щего топором. Зато частенько наблюдал, как они орудуют ложкой. В чужих котлах.

Великолепная компания отправляется дальше. Гул мотора смолкает вдали, после этого мы переносим лагерь на скрытый кустами рукав подальше от греха. Выходит Матеито. Он стоял за деревом в десяти шагах от нас и, наверное, все слышал. Что ж, ему это полезно.

Рано утром следующего дня, пройдя на лодке половину пути до озера, делим между собой ноши, остальное прячем в лесу. Товарищи настаивают на том, чтобы я шел впереди с ружьем, они возьмут снаряжение. Я понимаю, что это просто уловка с их стороны: они берегут меня. Но не спору: никуда не денешься, мои силы уже не те, что прежде.

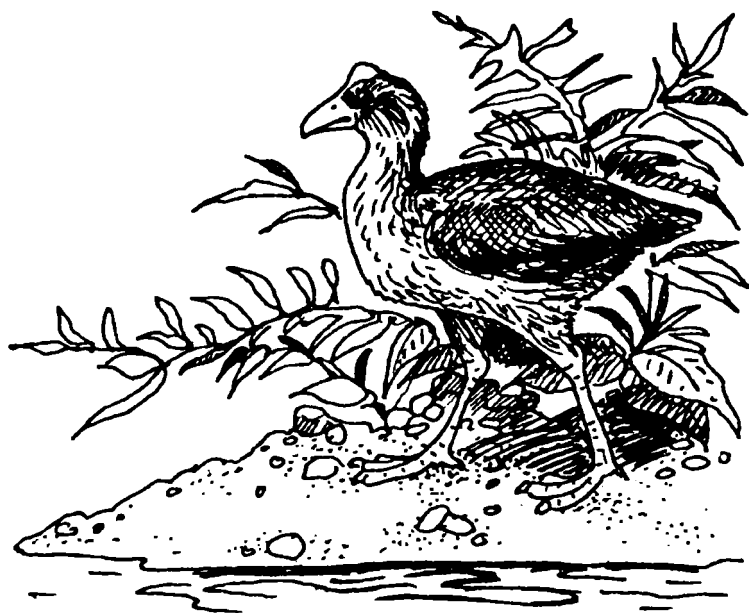
Три километра. Казалось бы, недалеко. А вы попробуйте одолеть их в тридцатиградусную жару, пробиваясь сквозь тропические заросли с ношей за плечами. Правда, я расчищаю путь мачете, но все равно моим товарищам приходится не сладко.

Вот и берег озера. Мы принимаемся искать лодку старика. Конечно, ее находит Матеито. Она тщательно замаскирована сухими пальмовыми листьями. Должно быть, целый отряд индейцев оттащил ее волоком на катках подальше от воды, чтобы спрятать в укромном месте. Мы тоже делаем катки и спускаем лодку к воде.

Широкое озеро со всех сторон окаймлено дремучим лесом. Блестящие водные зеркала чередуются с полями водных гиацинтов *Eichhornia*. Цветки — словно лиловые облачка над плавучим ковром из листьев и корней. Тут и там торчат темно-зеленые кочки камышей, на плоских мысочках и островках стоят деревья. И птицы, птицы, куда ни посмотри: черные ибисы, красные ибисы, зеленые ибисы, красноклювые аисты магуари, огромные белые аисты ябиру с черной головой и красным воротничком. Бакланы, змеешейки, султанки, утки, поганки,

яканы. Цапли, не меньше десяти видов, даже не хочется их определять, а только упиваться великолепием форм и красок. Вижу поблизости на воде что-то вроде кусочков коры. Глаза и конец морды небольшого крокодила. Похоже, он понял, что обнаружен. Стоило мне протянуть руку за ружьем, на пробу: вдруг в этой глуши рептилии не успели еще узнать, что такое человек, — как он ушел вглубь и исчез. Беру вместо штуцера спиннинг. Моя блесна соблазняет красивую муэзуду — это один из местных видов Вгусоп. Славная рыбка, килограмм потянет. За первой следуют еще две, но дальше клева конец, хотя я вижу рябь на воде от проходящих косячков и забрасываю туда блесну.

Луис Барбудо устраивает из листьев навес над нашими гамаками. Карлос Альберто, сидя на корточках, нарезает мясо капибары для копчения. Фред и Матеито ушли искать анаконду. Возвращаются и докладывают, что



обнаружили только следы. Завтра начнем систематические поиски.

...Раннее утро. Туман над озером, легкая, нереальная мгла, пронизанная лунным светом, полная птичьих голосов. С другого конца болота доносится доисторический рев. Буйный, свирепый и в то же время какой-то тусклый звук. Наверно, так вызывали друг друга на бой древние ящеры в ту пору, когда предки человека еще не успели стать полуобезьянами: сидели на деревьях эти-кие волосатые насекомоядные и дрожали, глядя, как внизу режут и дерутся драконы. Теперь потомкам ящеров приходит конец. И потомки насекомоядных должны что-то сделать, чтобы спасти их, ведь крокодилы нужны для естественного баланса в больших тропических водоемах.

Небо над лесом на востоке оранжевое, а выше — бледно-зеленое. Желтое зарево медленно оттесняет зелень к зениту. Кваквы возвращаются к своим гнездам. Вижу их силуэты в небе, пока мы готовим лодку. Рассвело, можно отчаливать. Лодка типа гуанахибо, узкая-узкая. Сел и сиди, уже не поменяешься местами, даже размяться нельзя, если ноги затекут.

Матеито рулит. Карлос Альберто и Луис гребут. Мы с Фредом сидим спина к спине, потому что в этой лодке не развернешься, и можно стрелять только влево. Берег с левого борта, за эту сторону отвечает Фред. Я слежу за островками и водной гладью. Проходит час за часом, мы видим и слышим всевозможных животных, большинство из них красивые, и все — интересные. Солнце начинает припекать. Туман улетучился, птицы укрываются в тень. Но никаких признаков анаконды. Высаживаемся на островки и мысочки, пересекаем поля водных растений, прочесываем камыши и кустарники. Никакого результата. Пусто. Около полудня разводим на мысу костер, варим кофе, разминаем ноги. Потом снова занимаем места в лодке и идем дальше.

Три часа пополудни. Обследовано больше половины озера. Воздух неподвижен, жарища — хоть хлеб пеки. Несмотря на пробковый шлем, у меня голова раскаляется от боли, поташнивает. Не иначе, старая малярия напоминает о себе. А может быть, новую подцепил. Как бы то ни было, самочувствие отвратительное. Сейчас бы лежать в гамаке...

— Все равно сегодня все озеро не осмотрим, — не выдерживаю я в конце концов. — Супаи с ним, пошли обратно в лагерь. Пойдем мимо того островка, сократим путь.

Никто не возражает. Легким движением кисти Матеито заставляет наш «стручок» развернуться вправо.

Встреча происходит посреди озера, возле гиацинтового поля. Вдруг Матеито с шипением втягивает в себя воздух. Это сигнал тревоги и в то же время знак крайнего удивления. Потом он показывает подбородком. Я поворачиваю голову и вижу. Ее. Супаи има-има. Никакого сомнения. Она плывет в противоположном направлении. Нас не разделяет и десять метров, но анаконда даже не глядит в нашу сторону. Она слишком велика, ей некого остерегаться. Исключая человека... Никто из нас не видел еще такой огромной анаконды. Она длиннее лодки, а в лодке десять с половиной метров. Толщина соответствующая. Плывет под водой, извиваясь, будто уж. Только голова время от времени приподнимается над поверхностью. И я вижу холодный глаз. Он кажется слепым, как это нередко бывает со змеиными глазами при определенном освещении.

Анаконда идет справа от лодки. Моя сторона. Приклад к плечу. Двустволка заряжена оленьей картечью, надо целиться в основание головы. Сижу наготове. Как только голова снова покажется над водой... Вот она. Прицеливаюсь. Но что-то заслоняет от меня мушку. Смуглая рука Матеито легла на ствол ружья. Легкий всплеск, анаконда исчезает и уже больше не показывает-

ся. Вижу, как по гиацинтовому ковру пробегает извилистая волна. Дальше начинаются густые, непроходимые камыши.

Удивленно смотрю на индейца. Что он — с ума сошел? Столько месяцев искали, наконец нашли гигантскую змею, и вдруг Матеито не дает мне стрелять! В его ответном взгляде угадывается улыбка. Он берет утиные потроха, припасенные нами для наживки, и бросает в воду. В тот же миг со всех сторон слетаются темные силуэты. Мелькают желтые бока с темными крапинками, короткие челюсти рвут кровавую добычу. Пирании. Притом не маленькие, обычные, а *Serrasalmus nattereri* величиной с леща, весом один-два килограмма. Убей я здесь большую анаконду, пирании несомненно разорвали бы ее в клочья. А что случилось бы с нами, если бы змея — вполне вероятный случай — конвульсивным движением опрокинула лодку и вывалила нас в гущу прожорливых хищниц?

Разумеется, Матеито правильно поступил. Но до чего трудно это признать.

— Ладно, — говорит Фред, — во всяком случае мы знаем, что она здесь. Будем продолжать поиск, пока не найдем ее в надлежащем месте, при надлежащих обстоятельствах. Это великое счастье, о сортировщик мелкой рыбы, что ты не выстрелил. Вот было бы досадно, если бы такая редкость досталась проклятым пираниям.

Фред тоже прав. Но разочарование так велико, что мне трудно его перенести. К тому же я чувствую себя ужасно. Как только мы возвращаемся в лагерь, бреду к своему гамаку. Фред вливает в меня лекарство и виски, Луис помогает мне разуться, потом я несколько часов в бреду сражаюсь с воображаемыми крокодилами и драконами. На следующее утро я похож на выжатую тряпку, и все, что ни возьму в рот, на вкус такое же горькое, как вчерашний хинин. Заурядная малярия. Уговариваю своих товарищей отправиться на поиски анаконды, а

сам остаюсь в лагере и питаюсь маленькими белыми таблетками. Вскоре после полудня они возвращаются ни с чем, если не считать подстреленного недалеко от лагеря оленя.

Еще один день, и температура спадает. Правда, самочувствие мерзкое, я гожусь только на корм стервятникам, но на душе уже веселее. Остальные опять идут на разведку, а я сажусь читать стихи Карлфельдта — самого мужского поэта из всех поэтов-мужчин.



В полдень небо словно чаша из бронзы. Я уже приметил, что бронза с каждым днем все темнее и каждый закат — багровее и мрачнее предыдущего. Резкий, короткий звук разрывает гнетущую тишину. Выстрел из штутцера. Поднимаю голову и прислушиваюсь. Еще выстрел. Через несколько секунд — третий, почти одновременно с ним звучит голос дробовика. И снова тишина. Мертвая тишина. Но я знаю, что в пальмовых зарослях в другом конце озера произошло что-то важное. Без веской причины Фред не выпустит подряд три пули. Либо им наконец попалась большая анаконда, либо пришлось от кого-то обороняться. Ведь мяса у нас достаточно.

Проходят часы. Дело к вечеру, тени совсем длинные. Стою на поваленном стволе и всматриваюсь в даль. Вот и лодка. Наконец! Она огибает мыс. Раз, два, три, четыре — все на месте, значит, ничего страшного не случилось. Между рулевым и гребцами лежит большущий сверток. Утром его не было. Одновременно я замечаю еще одну вещь. В небе далеко на северо-западе пухнет грозное многоэтажное облако. Несмотря на расстояние, ошибиться невозможно. Сезон дождей на пороге. Не сегодня-завтра польет. Лодка подошла к берегу, спускаюсь навстречу товарищам.

— Добыли еще одну анаконду, — сообщает Фред. — Правда, не рекорд. Чуть больше восьми метров. Точнее, восемь метров двадцать четыре сантиметра. Она лежала среди бурелома, я не мог ее как следует разглядеть, и она мне показалась длиннее.

— И хорошо; что не пренебрег, — отвечаю я. — Если эта туча не обман зрения, нам здесь лучше не задерживаться. Сдается мне, нашей охоте пришел конец.

Воздух тяжелый, безжизненный. Фред обращается к Матеито:

— Как ты думаешь, ночью будет дождь?

Индеец кивает. И неожиданно произносит целую речь:

— Может быть настоящая буря. Лучше уходить. Здесь много деревьев.

И вот уже мы работаем полным ходом, спешим погрузить все в лодку, пока не стемнело. Звезд не видно, и мы тщательно накрываем все вещи брезентом и прорезиненной тканью. Можно отчаливать. Матеито правит, Карлос и Луис гребут, мы с Фредом освещаем путь фонариками. Ветер все пронзительнее завывает в кронах. Падают сухие листья и ветки. Нынче ночью в свете фонарей не вспыхивают звериные глаза. Ни кайманов, ни крокодилов, ни броненосцев, ни паки, ни выдры. Они чувствуют, что надвигается, и укрылись в своих норах. Ветер

ревет. Где-то позади рушится могучее дерево, сбивая в падении другие. Гул заставляет нас втянуть голову в плечи, но гребцы не перестают работать веслами.

Прямо над нами раздается громкий треск. Толстый сук длиной в два человеческих роста шлепается в воду перед самой лодкой. Матеито успевает свернуть в сторону. Яркая молния озаряет темную ленту воды и лес по берегам. Матеито и Луис меняются местами, мотор прокашливается, потом рождается мерный рокот, и мы мчимся сквозь ночь, огибая бурелом.

Молнии сверкают все чаще. Видно просвет впереди, мы подходим к большой реке. Что нас там ожидает?

Последняя завеса из кустарника, и мы выскакиваем на широкую Гуавьяре. Молнии освещают изрытую ветром поверхность реки. Волны захлестывают пирогу. Луис ведет ее к песчаному пляжу, причаливает подальше от высоких деревьев и выключает мотор. Мы ждем.

Ждать приходится недолго. Прямо на нас бежит на тысячах белых ножек серая стена. Ливень. Мы пригибаемся, держась за борта. Первые струи хлещут, как плетью, но стена дождя быстро глушит ветер. Молнии и гром не прекращаются, а мы как будто отгорожены от всего ревушей серой громадой. Словно в атмосфере нет места ни для чего, кроме этого невероятного, невысказанного дождя. Льет как из ведра, струи воды сбегает по одежде, плещутся у наших ног. Мы безостановочно вычерпываем воду из пироги калексами, ведерками, котелками.

Река разливается на глазах. Она подступает к лодке, снова и снова заставляя нас выпрыгивать в воду и, ухватившись за борта, тащить вверх отяжелевшее суденышко. И черпать с удвоенной энергией, чтобы пирога не застряла в песке.

У нас было два плаща и одно прорезиненное пончо. Мы завернули в них мотор, едва начался дождь. Что бы ни случилось, мотор нужно сберечь. Сейчас с Гуавьяре

шутки плохи, веслом не сладишь. Время идет, но мы его не замечаем, время перестало существовать, на свете есть только дождь, беснующаяся вода и мрак. Ветер словно захлебнулся, во всяком случае, мы его не ощущаем.

Но вот мрак, похоже, начинает рассеиваться. И дождь уже льет не подряд, а с перерывами, мы поспеваем вычерпывать из лодки почти всю воду. Над рекой занимается мгlistый свинцовый день. Гуавьяре раздалась вширь так, что никаких пляжей не видно. За ночь уровень поднялся почти на метр, и вода продолжает прибывать. Мутный поток несет ветки, сучья, целые деревья. Большая ежегодная уборка началась.

Хочешь не хочешь, надо трогаться с места. Луис Барбудо снимает с мотора плащи, долго возится с ним и наконец запускает. Мы идем вверх по реке. Сидим озябшие, мокрые, в отвратительном настроении и смотрим на скользящие мимо берега. Рулевой внимательно следит за тем, чтобы пирога не столкнулась с плавником. Время от времени тучи нещадно поливают нас дождем. Мы непрерывно вычерпываем воду из лодки; иногда приходится приставать к берегу и общими силами перевертывать ее. Две ночи проводим в лесу под наскоро сооружаемыми навесами. Один раз ночуем в лачуге поселенцев из Толимы. Делимся с хозяевами остатками провианта, даем им лекарство от малярии и дизентерии. Они рассказывают нам, что большая лодка с патером и жандармами еще не возвращалась, поэтому они прячут свинью и кур в сарае в лесу.

Наконец впереди показывается селение. Моя малярия, похоже, совсем меня отпустила, зато донимает астма и сердце шалит. Я вынужден сидеть сложа руки и смотреть, как работают мои товарищи. Мы прощаемся с Матеито. Он получает условленное вознаграждение и, кроме того, подарки, в том числе мою финку.

Луис провожает его до опушки, дальше индеец сам доберется.

Приходит самолет из Боготы. Поддержанный могучей рукой Фреда, карабкаюсь в кабину. Гляжу в окошко на исчезающие вдаль льяносы с пеленой дождевых туч. Впереди длинным голубым облаком высятся Анды.

Так и не удалось нам взять самую большую анаконду, — говорит Фред. — Ничего, хороший материал собрали. И ведь будут, как говорится, еще поезда...

Может быть, — отвечаю я. Хотя знаю в душе, что мне-то уже не бывать на болотных озерах у реки Гуавьяре.



ЭПИЛОГ

Не один год прошел с тех пор, как мы выслеживали на Гуавьяре гигантскую анаконду и нашли ее, да не смогли увезти с собой. Наша компания распалась. Фред, как и раньше, профессор университета, и Карлос Альберто, если не ошибаюсь, по-прежнему помогает ему. Может быть, им уже удалось взять большую анаконду, но я об этом пока не слышал. Не сомневаюсь, однако, что в один прекрасный день они ее добудут. Луис несколько лет работал мотористом в Северной Колумбии. Потом уволился и вернулся в льяносы. Больше мне о нем ничего не известно. Агапито, последний вождь тинигуа, решил в конце концов отправиться в Боготу, чтобы просить президента республики помочь вымирающему племени. Томми посадил его на свой старый самолет. В пути Агапито умер от паралича сердца. Томми ничем не

мог ему помочь. Матеито умер, как жил, — в лесу, вольным человеком. Подробностей не знаю. Из всего племени тинигуа осталось лишь шесть человек. Четверо мужчин и две женщины, давно уже не способные рожать. Бесследно исчез целый народ вместе со своей культурой и языком.

Это были гордые люди. Они не дали себя поработить, не пожелали стать «христианами». Поэтому за ними не признавали человеческих прав. Поэтому миссионеры вкупе с полицией и солдатами охотились на них, как на диких зверей. Поэтому им пришлось умереть. Поэтому память о них стерта с лица земли. Такое же истребление грозит другим племенам: карихона, куива, юко, кубео.

Что до меня, то астма и слабое сердце навсегда закрыли мне дикие дороги. Но они не могут лишить меня моих воспоминаний. Некоторое время я еще могу сидеть под деревом и рассказывать тем, кто меня пожелает слушать. Если кто-нибудь не пожалеет дерева для старика.

Спасибо за все, что мне выпало увидеть, услышать и пережить. Спасибо, жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

В КРАЮ МАНГРОВ	5
Искристая ночь	7
Старая испанская пушка	20
Утро на болоте	36
Шупальца	45
Ночь в манграх	53
Сказания под пальмами	64
Отверженный	76
Сказание о сыне Солнца	92
Дальний остров	101
Призыв	119
Воды текут в Ориноко	134
Нуси	157
 ПОСЛЕДНЯЯ РЕКА	 173
«Дзизора уанья до-намаэрре пуза-ин»	175
До-хиви	180
Строим плот	205
Лесные ночи	209
Интермедия	230
Сев	236
Строительство завершается	250
Голод	253
Вниз по реке	262
Высокая сельва	267
Рубеж саванны	282
Паблито	288
Край болотных озер	321
Маленькая рыбка, большая рыба	328
Последние километры	346

ДИКИЕ ДОРОГИ	349
В Вильявиченсио	351
Река прекрасных видений	360
Суpai	376
Деревья, дельфины, дон Хусто и Ангостура	391
Последняя деревня	405
Суpai има	413
Суpai има-има	425
Эпилог	438

Литературно-художественное издание

Зеленая серия

Георг Даль

Дикие дороги

В краю мангров

Последняя река

Дикие дороги

Ведущий редактор *М. Л. Жданова*

Технический редактор *Э. С. Соболевская*

Корректор *А. А. Князева*

Компьютерная верстка *Н. С. Гуровой*

ООО «Издательство АСТ»

368560, Республика Дагестан, Каякентский район,
сел. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

ООО «Издательство Астрель»

143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

Наши электронные адреса: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

E-mail редакции: novikov@astrel.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
«Самарский Дом печати»

443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.

**Издательство «Астрель»
представляет серию
«Звездный бульвар»**

**Бульвар — это место неспешных прогулок и
уединенных размышлений,
но «ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР» —
нечто особенное!**

**Здесь можно встретить демонов
и инопланетян, чародеев
и косморазведчиков. Над аллеями
«ЗВЕЗДНОГО БУЛЬВАРА»
не голуби летают,
а парят драконы и барражируют звездолеты.
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР» — это путь
в иные миры — миры жестокие
и причудливые, иногда — добрые,
а порой и смешные...**

**Твердая НФ, фэнтези, киберпанк,
альтернативная история, и все это
в исполнении лучших отечественных
авторов в серии
«ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР»!**

**Издательство «Астрель»
представляет серию
«Ты и твой тип»**

Люди не понимают самих себя.
Люди не понимают других людей.
Люди не понимают друг друга.

Кажется, что из этого порочного круга нет выхода...
Традиционная психология и модный психоанализ
предлагают свои рецепты, но доводилось ли вам
пробовать блюда, приготовленные
по этим рецептам?

Теперь у вас появилась возможность разобраться не
только в самих себе,
но и в окружающих, не вторгаясь при этом в темную
сферу бессознательного.
Ведь СОЦИОНИКА — это наука общения,
открытости
и взаимопонимания.

В книгах серии «ТЫ И ТВОЙ ТИП»
вы найдете свое место в соционе, сумеете
определить, к какому
из шестнадцати социотипов относитесь вы, ваши
родные, друзья
и коллеги, и научитесь выстраивать свои отношения
с ними не причиняя боли
и не нанося обид.
Овладев азами соционики вы откроете для самих
себя древнюю истину,
что нет плохих людей, а есть люди
не понятые.

**Издательство «Астрель»
представляет:
«Зеленая серия»**

В детстве многие мечтают побывать в Африке,
Австралии, Южной Америке или Арктике,
совершить восхождение на высочайшие горные вершины,
исследовать глубины океана,
бродить по джунглям в поисках диковинного зверя,
но жизнь складывается по-разному
и нередко мечты так и остаются мечтами...

И все же у вас есть возможность совершать увлекательные
путешествия в компании сильных, отважных, мудрых людей —
авторов новой «ЗЕЛеной СЕРИИ».

Вашими проводниками станут:
Джеральд Даррелл, Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал,
Фарли Моуэт, Джой Адамсон, Ян Линдبلاد и др.

Читайте книги «ЗЕЛеной СЕРИИ» если хотите, чтобы
ваши детские мечты стали реальностью!



**Издательство «АСТРЕЛЬ» представляет
новую серию
художественной исторической прозы:**

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

Во все времена наиболее трагичными
для государств и народов были события, связанные
с внутренними политическими конфликтами.

Не была исключением и Гражданская война
в России 1917—1922 гг.

Авторы книг новой исторической серии пытаются
с позиции сегодняшнего дня ответить на вопросы:
какими были лидеры «Белого движения», во что они
верили, за что боролись и почему в конечном итоге
потерпели поражение.

Состав серии:

КОЛУЧАК	В.Поволлев	ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
ДЕНЮЖИЧ	А.Марченко	ЗА РОССИЮ – ДО КОНЦА
ЮДЕНИЧ	А.Шашов	ГЕНЕРАЛ ЮДЕНИЧ
ВРАНГЕЛЬ	С.Карпенко	ПОСЛЕДНИЙ ГЛАВКОМ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ в 2-х томах		



**Издательство «АСТРЕЛЬ»
представляет серию исторической
художественной прозы:**

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Героями и авантюристами, предателями и спасителями Отечества полна история России конца XVI — начала XVII вв.

Кто только не правил тогда страной, пока не прошел по ней очистительный пожар национально-освободительной войны, вознесший на престол новую династию.

В книгах серии «Смутное время» читателям откроется одна из самых драматических страниц истории Государства Российского

МАРИНА МЮШЕК

ЛЕОДМИТРИЙ I

ЛЕОДМИТРИЙ II

БОРИС ГОДУНОВ

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ

СЕМИБОЯРЩИНА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ



Издательская группа АСТ

Издательская группа АСТ, включающая в себя около 50 издательств и редакционно-издательских объединений, предлагает вашему вниманию более 10 000 названий книг самых разных видов и жанров. Мы выпускаем классические произведения и книги современных авторов. В наших каталогах — интеллектуальная проза, детективы, фантастика, любовные романы, книги для детей и подростков, учебники, справочники, энциклопедии, альбомы по искусству, научно-познавательные и прикладные издания, а также широкий выбор канцтоваров.

В числе наших авторов мировые знаменитости Сидни Шелдон, Стивен Кинг, Даниэла Стил, Джудит Макнот, Бертрис Смолл, Джоанна Линдсей, Сандра Браун, создатели российских бестселлеров Борис Акунин, братья Вайнеры, Андрей Воронин, Полина Дашкова, Сергей Лукьяненко, Фридрих Незнанский, братья Стругацкие, Виктор Суворов, Виктория Токарева, Эдуард Тополь, Владимир Шитов, Марина Юденич, а также любимые детские писатели Самуил Маршак, Сергей Михалков, Григорий Остер, Владимир Сутеев, Корней Чуковский.

Книги издательской группы АСТ вы сможете заказать и получить по почте в любом уголке России. Пишите:

107140, Москва, а/я 140

ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

Вы также сможете приобрести книги группы АСТ по низким издательским ценам в наших фирменных магазинах:

Москва

- ♦ м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, тел. 306-18-91, 306-18-97
- ♦ м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр. 1, тел. 232-19-05
- ♦ м. «Павелецкая», ул. Татарская, д. 14, тел. 959-20-95
- ♦ м. «Маяковская», ул. Каретный ряд, д. 5/10, тел. 209-66-01, 299-65-84
- ♦ м. «Царицыно», ул. Лутанская, д. 7, корп. 1, тел. 322-28-22
- ♦ м. «Таганская», м. «Марксистская», Б. Факельный пер., д. 3, стр. 2, тел. 911-21-07
- ♦ м. «Кузьминки», Волгоградский пр., д. 132, тел. 172-18-97
- ♦ ТК Крокус-Сити, 65-66 км МКАД, тел. 754-94-25
- ♦ м. «Сокольники», м. Преображенская площадь, ул. Стромынка, д. 14/1, тел. 268-14-55
- ♦ м. «Варшавская», Чонгарский б-р, д. 18а, тел. 119-90-89
- ♦ Зеленоград, кор. 360, 3 мкрн, тел. 536-16-46
- ♦ ТК «Твой дом», 24 км. Каширского шоссе «Книги на Каширке»

Регионы

- ♦ г. Архангельск, 103 квартал, ул. Садовая, д. 18, тел. (8182)-65-44-26
- ♦ г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 132а, тел. (0722) 31-48-39
- ♦ г. Калининград, пл. Калинина, д. 17-21, тел. (0112)-44-10-95
- ♦ г. Краснодар, ул. Красная, д. 29
- ♦ Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 1, Волжская наб., д. 107
- ♦ г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 23, тел. (3532) 41-18-05
- ♦ г. Череповец, Советский пр-т, д. 88А, тел. (8202) 53-61-22
- ♦ г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 1/61, тел. (8312) 33-79-80
- ♦ г. Воронеж, ул. Лизюкова, д. 38А, тел. (0732) 13-02-44
- ♦ г. Самара, пр. Кирова, д. 301, тел. (8462) 56-49-92
- ♦ г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 15, тел. (8-86-32) 35-99-00
- ♦ г. Новороссийск, сквер Чайковского
- ♦ г. Орел, Московское ш., д. 17
- ♦ г. Тула, Центральный р-н, ул. Ленина, д. 18

Издательская группа АСТ

129085, Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1, 7 этаж. Тел. (095) 215-01-01, факс 215-51-10
E-mail: astpub@aha.ru <http://www.ast.ru>

Зеленая
серия

ISBN 5-17-016426-2



9 785170 164264

Георг Даль

Дикие дороги

